90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 1/1990

А. КУРЧАТКИН. Записки экстремиста. Фантастическая повесть

Джон СТЕЙНБЕК. Русский дневник

Я. ГОЛОВАНОВ. Катастрофа (Из хроники «Королёв»)

Стихи
А. КУШНЕРА, И. РАТУШИНСКОЙ

Мемуары. Архивы. Свидетельства
А. АГРАНОВСКИЙ. Апрель в Праге 1968

Критика
С. ЧУПРИНИН. Ситуация

С. ВОЛКОВ. Симфония Ростроповича

ISSN 0130-1616. Знамя. 1989. № 12. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Декабрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

12

ДЕКАБРЬ 1989

Содержание

Москва
Издательство «Правда»

Александр Башлачев

(1960—1988)

ИМЯ ИМЕН

●

Имя имен
    в первом вопле признаешь ли ты, повитуха?
Имя имен...
    Так чего ж мы, смешав языки, мутим воду в речах?
Врём испокон —
    вродь за мелким ершом не ловилось ни брюха, ни духа!
Век да не вечер,
    хотя Лихом в омут глядит битый век на мечах.
Битый век на мечах.

Вроде ни зги... Да только с легкой дуги в небе синем
    опять, и опять, и опять запевает звезда.
Бой с головой затевает еще один витязь,
    в упор не признавший своей головы.
Выше шаги! Велика ты, Россия, да наступать некуда.
Имя Имен ищут сбитые с толку волхвы.

Шаг из межи...
    Вкривь да врозь обретается верная стежка-дорожка.
Сено в стогу.
    Вольный ветер на красных углях ворожит Рождество.
Кровь на снегу —
    земляника в январском лукошке.
Имя Имен... Сам Господь верит только в него.

А на печи разгулялся пожар-самовар да заварена каша.
Луч—не лучина на белый пуховый платок.
Небо в поклон
    до земли обратим тебе, юная девица Маша!
Перекрести нас из проруби да в кипяток.

Имя Имен
    не кроить пополам, не тащить по котлам, не стемнить по углам.
Имя Имен
    не урвешь, не заманишь, не съешь, не ухватишь в охапку.
Имя Имен
    взято ветром и предано колоколам.
И куполам
    не накинуть на Имя Имен золотую горящую шапку.

Имя Имен
    Да не отмоешься, если вся кровь да как с гуся беда.
        И разбито корыто.

Вместо икон
станут Страшным судом — по себе — нас судить зеркала.
Имя Имен
вырвет с корнем все то, что до срока зарыто.
В сито времен
бросит боль да былинку, чтоб истиной к сроку взошла.

Ива да клен
Ох, гляди, красно солнышко врежет по почкам!
Имя Имен
запрягает, да не торопясь, не спеша.
Имя Имен
А возьмет да продраит с песочком!
Разом поймем,
как болела живая душа.

Имя Имен
Эх, налететь бы слепыми грачами на теплую пашню.
Эх, потекло по усам! Шире рот! Да вдруг не хватит
На бедный мой век!

Имя Имен прозвенит золотыми ключами...
Шабаш! Всей гурьбою на башню!
Пала роса.
Пала роса.
Да сходил бы ты по воду, мил человек!

Черные дыры

Хочется пить,
Но в колодцах замерзла вода.
Черные-черные дыры.
Из них не напиться.
Мы вязли в песке,
Потом скользнули по лезвию льда.
Потом потеряли сознание и рукавицы.

Мы строили замок, а выстроили сортир.
Ошибка в проекте, но нам, как всегда, видней.
Пускай эта ночь сошьет мне
лиловый мундир.
Я стану
хранителем Времени Сбора Камней.

Я вижу черные дыры.
Холодный свет.
Черные дыры...
Смотри, от нас остались черные дыры.
Нас больше нет.
Есть только черные дыры.

Хорошие парни, но с ними не по пути.
Нет смысла идти, если главное — не упасть.
Я знаю, что я никогда не смогу найти
Все то, что, наверное, можно легко украсть.

Но я с малых лет не умею стоять в строю.
Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг.
И мне надоело протягивать вам свою
открытую руку,
Чтоб снова пожать кулак.

Я вижу черные дыры.
Холодный свет.
Черные дыры...
Смотри, от нас остались черные дыры.
Нас больше нет.
Есть только черные дыры.

Я снова смотрю, как сгорает дуга моста.
Последние волки бегут от меня в Тамбов.
Я новые краски хотел сберечь для холста,
А выкрасил ими ряды пограничных столбов.

Чужие шаги, стук копыт или скрип колес —
Ничто не смутит территорию тишины.
Отныне любой обращенный ко мне вопрос
Я буду расценивать, как объявленье войны.

Я вижу черные дыры.
Холодный свет.
Черные дыры...
Смотри, от нас остались черные дыры.
Нас больше нет.
Есть только черные дыры.

Хозяйка

Сегодня ночью — дьявольский мороз.
Открой, хозяйка, бывшему солдату,
Пусти погреться, я совсем замерз.
Враги сожгли мою родную хату.

Перекрестившись истинным крестом,
Ты молча мне подвинешь табуретку,
И самовар ты выставишь на стол
На чистую крахмальную салфетку.

И калачи достанешь из печи,
С ухватом длинным управляясь ловко.
Пойдешь в чулан, забрякают ключи.
Вернешься со своей заветной поллитровкой.

Я поиграю на твоей гармони.
Рвану твою трехрядку от души.
— Чего сидишь, как будто на иконе?
А ну, давай, пляши, пляши, пляши...

Когда закружит мои мысли хмель,
И «День Победы» я не доиграю,
Тогда уложишь ты меня в постель,
Потом сама тихонько ляжешь с краю.

А через час я отвернусь к стене.
Пробормочу с ухмылкой виноватой:
— Я не солдат... Зачем ты веришь мне?
Я все наврал. Цела родная хата.

И в ней есть все — часы и пылесос.
И в ней вполне достаточно уюта.
Я обманул тебя. Я вовсе не замерз.
Да тут ходьбы всего на три минуты.

Известна цель визита моего —
Чтоб переспать с соседкою-вдовою.
А ты ответишь: — Это ничего...
И тихо покачаешь головою.

И вот тогда я кой-чего пойму,
И кой-о-чем серьезно пожалею.
И я тебя покрепче обниму
И буду греть тебя пока не отогрею.

Да, я тебя покрепче обниму
И стану сыном, мужем, сватом, братом.
Ведь человеку трудно одному,
Когда враги сожгли родную хату.

В чистом поле—дожди

В чистом поле — дожди косые.
Эй, нищета — за душой ни копья!
Я не знал, где я, где Россия,
И куда же я без нея?

Только время знобит, колотит.
Кто за всех, если дух — на двух?
В третьей роте без крайней плоти
Безымянный поет петух.

Не умею ковать железо я —
Ох, до носу мне черный дым!
На второй мировой поэзии
Признан годным и рядовым.

В чистом поле — дожди косые,
Да нет ни пропасти, ни коня.
Я не знал, как любить Россию,
А куда ж она без меня?

И можно песенку прожить иначе,
Можно ниточку оборвать.
Только вырастет новый мальчик
За меня, гада, воевать.

Так слушай, как же нам всем не стыдно?
Эй, оп — спасите ваши души!
Знаешь, стыдно, когда не видно,
Что услышал ты то, что слушал.

Стань живым — доживешь до смерти.
Гляди в омут и верь судьбе,
Как записке в пустом конверте,
Адресованной сам-себе.

Там, где ночь разотрет тревога,
Там, где станет невмоготу —
Вот туда тебе и дорога,
Наверстаешь свою версту.

В черных пятнах родимой злости
Грех обиженным дуракам.
А деньги — что ж, это те же гвозди
И так же тянутся к нашим рукам.

Но я разгадан своей тетрадкой —
Топором меня в рот рубите!
Эх, вот так вот прижмет рогаткой —
И любить или не любить!

А тех, кто знает, жалеть не надо.
А кровь — она ох, красна на миру!
Пожалейте сестру, как брата —
Я прошу вас, а то помру.

А с любовью — да Бог с ней, с милой...
Потому, как виновен я.
Ты пойми — не скули, помилуй,
Плачь по всем, плачь, аллилуйя!

На фронтах мировой поэзии
Люди честные — все святы.
Я не знал, где искать Россию,
А Россия есть росс и ты.

И я готов на любую дыбу.
Подними меня, милая, ох!
Я за все говорю — спасибо.
Ох, спаси меня, спаси, Бог!

В чистом поле — дожди косые.
Да мне не нужно ни щита, ни копья.
Я увидел тебя, Россия.
А теперь посмотри, где я.

Анатолий Марченко

ЖИВИ КАК ВСЕ

Значительная часть жизни Анатолия Тихоновича Марченко (1938—1986) прошла в тюрьмах, лагерях и ссылках. В первый раз он попал в лагерь случайно, без вины: его сделали «зачинщиком драки» в общежитии стройки Карагандинской ГЭС в 1959 году. Постановление о досрочном освобождении со снятием судимости пришло, когда Марченко бежал из лагеря. После года беспаспортного скитания по Сибири он решился на переход границы, был схвачен и в марте 1964 года приговорен к шести годам заключения «за измену родине». Отбыв этот срок, А. Марченко написал «Мои показания» (1967), первую книгу о лагерях 60-х годов—она разошлась в самиздатских списках.

В 1968 году А. Марченко направляет в различные организации открытые письма о положении политзаключенных в СССР и — 22 июля — о своем отношении к ситуации в Чехословакии. 21 августа 1968 года он осужден на год лишения свободы — «за нарушение паспортного режима»; в 1969 году получает еще два года исправительно-трудовых работ в лагерях строгого режима («клевета на советский общественный и государственный строй»). С 1972 по 1975 год Марченко живет в Тарусе: там он пишет книгу «От Тарусы до Чуны» (1975) и задумывает повесть «Живи как все» о своей жизни с 1966 по 1969 год — «повесть... не о лагере вовсе, а о нонконформисте и его трагической судьбе».

А. Марченко отказывается признавать режим милицейского надзора над собой, и в 1975 году суд приговаривает его к четырем годам ссылки. Он пишет открытые письма: об отмене смертной казни, о высылке в Горький академика Сахарова и т. д. В последний раз Анатолий Марченко был осужден на десять лет лишения свободы и пять лет ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Он умер 8 декабря 1986 года в чистопольской тюрьме, объявив бессрочную голодовку с требованием освободить всех узников совести — политзаключенных. Повесть «Живи как все» осталась незаконченной...

В 1988 году Анатолий Марченко (посмертно) и Нельсон Мандела стали первыми лауреатами учрежденной Европейским парламентом «Премии Сахарова за свободу мысли».

«Живи как все» — эти слова, ставшие заглавием книги, говорили автору на протяжении всей его жизни — одни с заботой и беспокойством, другие — с обывательским осуждением или насмешкой, третьи — с угрозой и ненавистью.

Таким людям, как он — кристальной внутренней честности, с готовностью пойти ради защиты своих принципов на любые жертвы,— выпадает на долю трагическая и счастливая судьба! Перебирая мысленно страницы жизни Толи — то, что мне известно,— я неизменно вижу рядом с ним его жену Лару, не разделяя их ни в чем.

О чем же книга? Хронологически — о периоде, лежащем между тем, что описано в «Моих показаниях», и тем, что произошло в 70-х и 80-х годах и лишь частично отражено в его хронике «От Тарусы до Чуны». В то же время это в какой-то мере итоговая книга (хотя и не вполне законченная и «отшлифованная» автором), содержащая больше оценок и размышлений, чем обе названные.

Журнальный вариант.

В книге описаны первые месяцы пребывания на воле после освобождения, мытарства бывшего (и будущего) заключенного, поездка к родителям. Живые и внешне бесхитростные описания, но проникнутые болью и горечью, приоткрывают перед читателями мир, в котором живут миллионы людей «там, где кончается асфальт» (так называлась то ли повесть, то ли кинолента о Южной Америке). Вторая часть новой книги Марченко — история того, как были написаны «Мои показания», история творческих мук автора и борьбы с то неявным, то вполне откровенным сопротивлением врагов будущей книги.

«Мои показания» — первая книга о послесталинских лагерях и тюрьмах, первое развернутое свидетельство об этой позорной изнанке нашего общества. Она сыграла огромную роль в нравственном формировании движения за права человека в СССР и во всем мире. Власти никогда не могли простить Марченко его подвига. Ему был вынесен приговор. Двадцать лет последующих мучений и гибель в чистопольской тюрьме — это и было замедленное приведение в исполнение этого приговора.

Третья часть — игры кошки (КГБ) с мышкой, суд и опять лагерь. Вновь лагерная жизнь изнутри, множество деталей, дополняющих «Мои показания» (в большей степени, чем там, отраженных в событиях, происходивших с автором). Кончается книга описанием фарса лагерного суда по статье 190-1. То был один из первых процессов по этой статье; в нем отражены многие трагикомические (а по существу, просто трагические) черты последующих ритуальных инсценировок этого рода.

Открыв последнюю книгу Анатолия Марченко, читатель вновь прикоснется к судьбе и душе одного из замечательных людей нашего времени.

Андрей САХАРОВ

23 января 1987 г.

ОТ АВТОРА

Под этим названием я начал было писать повесть, наброски которой у меня столько раз отбирали на обысках [1], что я ее пока отложил. А когда я стал писать эти воспоминания, то понял, что слова «живи как все» как раз ко мне и относятся. Эту присказку я слышу всю мою жизнь. Пришлось украсть у самого себя это название для нового произведения.

«Живи как все», как и «Мои показания» и «От Тарусы до Чуны»,— произведение документальное. По хронологии оно должно встать между ними.

Те, кто знаком с двумя первыми книгами, без труда обнаружат отличия третьей.

Во-первых, в этой книге больше, чем в первых двух, таких элементов, как рассуждения, попытки осмыслить прошлое и настоящее, попытки, так сказать, увидеть и завтрашний день — и свой собственный, и своей страны, и мира. Поэтому книга «Живи как все», хотя и построена тоже на конкретных фактах, на авторской биографии, более субъективна.

Во-вторых, в этой книге почти нет имен. На это я пошел умышленно. И вот почему. Мне не хочется оказаться виновником неприятностей для хороших людей. Я согласен с принципом: «Страна должна знать своих стукачей». И таких всегда готов назвать. Ну а как быть с

---

[1] В открытом ПИСЬМЕ В ГАЗЕТУ (май 1977) А. Марченко и Л. Богораз сообщают, что за 9 лет у них было 11 обысков.

людьми честными и порядочными, с теми, кто, рискуя не меньше меня, помогали мне? Да и не только мне одному. Тем более невозможно рассказать о тех, кто делал полезное и нужное сам по себе, делал, не афишируя свою причастность или даже скрывая свои занятия от властей. Даже то, что сегодня не считается криминалом, завтра вполне может оказаться таковым.

Я не всегда решаюсь назвать и тех, кто, сделав много доброго и нужного, потом вынужден был покинуть страну и эмигрировать. Вроде бы они уже в безопасности, и можно было бы выразить им свою признательность или восхищение. Но, учитывая особенности нашего исторического развития и наши «национальные традиции», я не могу позволить себе и этого. У нас ведь «никто не забыт и ничто не забыто». Может случиться, что кто-то из эмигрантов пожелает вернуться на Родину или навестить родных; назови я их — и вот для властей повод шантажировать этих людей (к сожалению, такую перспективу сейчас принято не учитывать).

По этой же причине я не могу в этой книге рассказать о некоторых фактах и случаях, хотя они, по-моему, достойны упоминания. Они настолько конкретны, что угадать причастных или участвующих лиц ничего не стоит. Предположим, сотрудник КГБ или должностное лицо с глазу на глаз выражает мне сочувствие или даже предлагает помощь. Кто он: провокатор или искренний доброжелатель? Я не знаю. Во всяком случае, я не вправе поставить его под удар, конкретно рассказав о таком эпизоде. А жаль, что такие факты должны остаться неизвестными.

Я стремился к тому, чтобы за измененными инициалами, за анонимными действующими лицами и в зашифрованных эпизодах читатель увидел и ощутил людей — тех, благодаря которым написаны мои книги и относительно благополучно (в отечественном понимании!) сложилась моя судьба. Тех людей, благодаря которым еще как-то возможно жить и дышать в нашей стране.

Шесть полных лет я провел в политлагерях и тюрьмах. Но никто, никогда, нигде не упоминал о наличии в Советском Союзе политических заключенных. Мир был встревожен и обеспокоен положением политзаключенных в ЮАР и Португалии, франкистской Испании и Южном Вьетнаме, но только не в СССР. Нас просто не существовало. И от этой несправедливости мы готовы были лезть на стенку.

Это было отчаяние обреченных на забвение. Меня тоже возмущало позорное молчание мировой и отечественной общественности по отношению к советским политзаключенным.

Но меня возмущало и наше собственное поведение: мы сами должны хотя бы заявить о себе во весь голос.

Сколько людей вышло при мне на волю! Украинские, литовские, латышские националисты, проклинавшие «тюрьму народов» — СССР; люди, сидевшие «за войну»; такие, кто сел уже в послесталинские времена. Среди них были люди думающие и даже пишущие. И каждый из них, пока был за колючей проволокой, вместе со всеми возмущался и негодовал, обвиняя весь мир в соучастии с Хрущевым, а потом с Брежневым. А как выйдет — он уже вольный, и ему нет дела до страданий тех, кто там остался. Неужели все объясняется обыкновенной человеческой слабостью — трусостью?

Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сегодня, что среди освободившихся было немало умных, порядочных людей. Но и сейчас, когда я пишу об этом, встает передо мной давний вопрос: почему?

Конечно, каждый может правдиво и искренне ответить: я не писатель. К тому же мало просто написать, нужно обеспечить гласность написанного.

Были у меня в заключении друзья, с которыми я мог откровенно делиться мыслями и планами. Сколько раз мы обсуждали этот вопрос! Там, за колючей проволокой, под сторожевыми вышками, мы не видели никакой другой возможности дать о себе знать, кроме как прорваться за границу, найти там журналиста, который этим заинтересуется, и рассказать ему все, что знаешь.

Лучше всего, считали мы, было бы сделать это дело, не покидая страны: важно, чтобы это был голос изнутри. Никто из нас не сомневался, что судьба того, кто выполнит эту задачу «дома», решится мгновенно и бесповоротно — его либо сгноят в тюрьме, либо прикончат втихую. У меня накопилось столько злости за себя и за других, что я готов был бы пойти на это; но я чувствовал, что мне самому не справиться с «писаниной» и с передачей.

Под конец моего срока в нашей печати проскользнуло сообщение о Тарсисе. Мы также внимательно читали все газетные статьи о Синявском и Даниэле, и я обратил внимание на такую деталь, как передача ими на Запад своих рукописей. Но я мог только позавидовать их способности писать плюс возможностям и связям. Никакие мои «связи» не давали мне и слабой надежды найти хотя бы щелку в свободный мир. Итак, оставался только первый вариант, и я решил попытаться его осуществить.

Вообще зэки в лагере нередко сочиняют всякие авантюрные проекты, кто во что горазд: от плана побега из зоны через подкоп или на воздушном шаре до вооруженного прорыва на волю. А люди деятельные и кидаются в авантюру, не считаясь с риском. Как ни удивительно, некоторые попытки удаются, хотя и крайне редко; большей же частью они кончались трагически. Но об удачах рассказывали легенды. Ходили слухи, что кому-то еще в сталинские времена удалось сбежать из лагеря — и за границу! и там он опубликовал книжку.

Прорваться через границу? — задуманное дело, на мой взгляд, стоило риска.

В день освобождения, когда я прощался с друзьями, у меня не хватило духу заверять их в том, что наши разговоры не останутся обычным лагерным трепом. И я, стыдясь громких слов, не обмолвился, не намекнул даже, что окончательно решился осуществить нашу мечту — открыть систему политлагерей для всеобщего обозрения.

Я не собирался после лагеря оседать где-нибудь на постоянное жительство: я считал, что имею лишь короткий отпуск, данный мне для подготовки к переходу границы. Но, хоть и временно, надо было где-нибудь, все равно где, прицепиться, найти жилье и прописаться, а затем хорошенько осмотреться на свободе. И еще мне хотелось в последний раз побывать в родных местах, повидаться с родственниками.

В Москву я ехал всего на день-два: у меня было несколько поручений от зэков к их родственникам.

Но этот визит в столицу затянулся и оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не отказался от задуманного в лагере. Я лишь изменил план осуществления.

С первой же встречи в Москве, с первого дня появления там я увидел и почувствовал внимание и доброжелательность к себе как к человеку «оттуда». Теплота и сочувствие были искренними и откровенными. и мне становилось неудобно, что получаю их ни с того ни

с сего, не за какие-то мои заслуги или качества, а просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну и, конечно, благодаря рекомендациям.

В нашей стране судимостью никого не удивишь, в Москве особенно: трудно в Москве найти семью из интеллигенции, которая не была бы затронута сталинским террором. Благодаря Хрущеву поток реабилитированных «врагов народа» захлестнул Москву. Эта небывалая для советской власти практическая гуманность создала на какое-то время впечатление, что больше нет в советской стране ни политических процессов, ни лагерей и тюрем с политическими заключенными.

В Москве меня с большим интересом расспрашивали о положении в нынешних политлагерях, и я видел, что это не просто любопытство, что мои слушатели готовы что-то сделать, чем-то помочь тем, кто сидит. Вот, например, одна из знакомых, А., сразу же начала писать моему другу В., который сидел уже 8 лет — а впереди у него было еще 7. Она посылала ему книги (тогда еще книжные бандероли были разрешены в любых количествах), писала о московских выставках и спектаклях, отправляла новогодние подарки его детям, съездила к его матери. А. и В. остались друзьями и после его освобождения из лагеря.

Если бы где-нибудь велась статистика корреспонденции в лагерь, то с 66—67 года она показала бы резкий скачок вверх: потоком пошли книги, репродукции. Особенно важно, что отправляли их не родственники, а совершенно незнакомые люди. Оказалось, что изоляция политзаключенных объясняется отсутствием информации о них, а не безразличием общества. И теперь власти вынуждены изобретать искусственные преграды, чтобы нарушить связь воли с зоной.

Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками; для всех рабочих железной дороги было одно название: мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались.

В нашем двухэтажном деревянном доме было 24 жилые комнаты и жили 24 рабочие семьи: в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Нас, слава Богу, было в семье всего четверо. Но семьи-то разные бывают! На таких же шестнадцати квадратных метрах жило и по семь-восемь человек.

Вот отец возвращается из поездки домой. Иногда у нас в это время кто-нибудь посторонний: соседка или родственники из деревни. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться, мать берет в руки одеяло с постели и, встав около отца, загораживает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Только если переодевалась женщина-мазутница, гости-мужчины обычно выходили.

От своих родителей мы слышали одно напутствие: не хочешь быть, как отец, всю жизнь мазутником — учись! Жизнь и профессия родителей объявлялись детям проклятыми. Жить — мучиться, работать — ишачить. Другой философии своего существования наши родители не знали.

В пример для подражания нам ставились немногие в нашем городке люди «чистых» профессий: учителя, врачи, начальник депо, директор хлебозавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие даже хуже нас, но зато их работа считалась чистой

и легкой. Остальные перечисленные мной в глазах всех были вершиной благополучия и довольства.

В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат, в общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром.

А уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками: «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». Обладать такой приставкой, казалось нам, все равно что обладать волшебной палочкой. Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей (в нашем городке таких и не было), а труд — не только легким и приятным, но и гарантирующим удобную и роскошную квартиру, автомобиль и прочие блага, о которых наши родители и не мечтали.

И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем, и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным: писатель — писака — брешет, как собака! ученый — каких-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой же стороны, все преклонялись перед их всеведением и всемогуществом (но только не в отношении обыденной жизни: всем известно, что никакой писатель «нашу жизнь» не понимает и что никакой академик не сумеет вылечить даже чирей, а одна только тетя Мотя).

Вообще людей интеллигентных профессий объединяли с властью, с «начальством»,— а уж начальство за что ж любить? Это хозяева, которые норовят взять с тебя побольше, а дать меньше. Учитель же, врач, инженер, а тем более судья, прокурор, писатель — у них на службе. К тому же обычно начальство и интеллигенция (и их дети) в провинции ведут знакомство между собой, а не с простыми мазутниками.

И в то же время власть натравливала простых людей на интеллигенцию: то инженеры-вредители, то врачи-убийцы, то вообще «враги народа». И «народ» охотно поддерживал эту безопасную для себя травлю.

Никто не скрывал зависти к материальным благам, о которых и знали-то понаслышке и дополняли собственным воображением на свой вкус и лад (как когда-то про царя говорили: «Сало с салом ест и по колено в дегте стоит»).

Полоса отчуждения между интеллигенцией и основной частью населения не исчезла у нас и по сей день.

Среди политзаключенных было предостаточно людей интеллигентных профессий, но я не сходился с ними настолько, чтобы мое сложившееся с детства представление претерпело значительные изменения. Однако поразмыслив, я стал разделять понятия «интеллигентность» как культуру и образованность человека — и так называемую интеллигентную (то есть не физическую, не мазутную) работу. И к людям интеллигентным в первом смысле у меня возникло уважение, так как обычно это свойство сочеталось с порядочностью, с нравственными принципами, которые особенно начинаешь ценить в жестоких лагерных условиях. Я близко сошелся с молодым заключенным Валерием Румянцевым — бывшим офицером КГБ. Несмотря на поганую прежнюю службу, Валерий, по-моему, был по-настоящему интеллигентным человеком, и я ему многим в себе обязан. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчужде-

ния, которое ощущал на воле; я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих.

Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле? В лагере мы все на общем положении: один конвой для всех, одни нары шлифуем своими опавшими боками, и пайка и карцер одни и те же, и даже одеты в одно и то же. И разговоры общие, и в интересах много общего. Да и в лагере они оказались, потому что они не такие, как все, белые вороны в своей среде,— думал я. И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду.

Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Это было не от неуверенности в себе, не от сознания собственной неполноценности перед более культурными и образованными. Это было выяснение и знакомство с новым.

Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежат десять лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им.

А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуальность. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих «успехи» советской власти в деле воспитания «нового человека, человека будущего».

Хотя круг моих знакомств в Москве был обширным и все больше расширялся, но, конечно, это были всего лишь десятки, ну, пусть за сотню людей. «Подумаешь, слой,— могут сказать,— да это все те же недобитые остатки, которым рано или поздно найдется место в том же лагере». И ведь действительно, многие из моих тогдашних (и более поздних) знакомых за эти десять лет прошли тюрьму, лагерь, ссылку. Еще больше — эмигрировало на Запад. И все-таки, я теперь убежден, не маленькая группа, не отдельные выдающиеся личности, а целый слой составляет оппозицию обязательной официальной идеологии, режиму в целом и распространенной в нашей стране системе двоемыслия. Этот слой, по-моему, лучшая часть нашей интеллигенции. Он действительно очень тонкий, но он постоянно пополняется и возобновляется, затягивая бреши от репрессий и эмиграции. Ведь двоемыслие, ложь противны человеческой натуре, и этот слой имеет большой внутренний резерв.

Теперь я знаю, что такая ситуация характерна не только для Москвы, но и еще для нескольких больших городов. Правда, в провинции более трудные условия для инакомыслия: там все у всех на виду и репрессивная деятельность жесточе, поэтому компании, подобные столичным, более узкие и живут более замкнуто. И все-таки они есть, и главное нравственное достижение послесталинских десятилетий, по-моему, в том, что люди стали с доверием относиться друг к другу — хотя бы к друзьям и близким знакомым. Чуть смягчился режим — и порядочность стала объединять людей. Конечно, есть риск

столкнуться и с непорядочностью, с трусостью, а то и с прямым агентом КГБ или провокатором, но я говорю не об исключительных случаях, а об отрадном и неожиданном явлении.

Я попал в квартиру, которая еще до моего там появления превратилась в своеобразный центр информации: сюда приходили друзья и знакомые, чтобы узнать от Ларисы [1] что-нибудь о Даниэле, о Синявском, а то и просто поговорить, обменяться новостями. Разговоры затягивались почти до утра. И разговаривали здесь свободно обо всем, в том числе и на «запретные» темы. Здесь было с кем спорить и было с кем согласиться, и даже остаться в одиночестве со своей точкой зрения не считалось чем-то непозволительным или предосудительным.

Вскоре я познакомился с составителем «Белой книги» Александром Гинзбургом и с самим его сборником. Прочел несколько других самиздатских произведений. Для меня все это было так неожиданно и так ново: ведь из современной литературы я никогда в жизни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и произведений, одобренных Главлитом. Это было мое приобщение к живой мысли и к свободному слову.

В конце 66-го я как раз застал письма-протесты по делу Синявского и Даниэля (они все вошли в «Белую книгу»). Каково было мне, только что из политлагеря, читать их? Люди *открыто* вступаются за право на свободу мысли и творчества, вступаются за осужденных, да еще тех, кто осмелился публиковать свои произведения на Западе! И под этими заявлениями ставят собственное имя, да еще указывают профессию! Ничего себе! В лагере немало зэков, угодивших за проволоку за гораздо меньшее.

Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои или вожди. Кто они были? Учитель истории; ученый-физик; преподаватель математики; художник; редактор; несколько литераторов и научных работников (некоторые — с той самой «волшебной» приставкой: кандидат, доктор). Мне становилось стыдно за мое недавнее мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция рисковала куда больше, чем если бы они были простыми «работягами», и, конечно, больше нас, лагерников. Зэку почти нечего терять; он может сказать о себе словами Окуджавы: «Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы...» Вот мы в лагере и прем, как говорится, на рога. А на воле человек рискует своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи, и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в лагере, до конца советской власти [2]. К тому же никто из них не гарантирован от ареста.

Со многими из тех, с кем я познакомился в первые дни в Москве, я сдружился, и мы друзья по сей день.

Между прочим, мои представления о материальном положении интеллигенции, конечно же, не выдержали проверки опытом. Первая семья, пригласившая меня в гости, была семья Садомской и Шрагина. Муж и жена, научные работники (он — кандидат наук), жили в пятнадцатиметровой комнате в коммунальной квартире. Обоим надо заниматься, но если один печатает на машинке, другому и пристроиться негде. В общей кухне толкутся соседки, одна из них постоянно злобно шипит. Зарплата у Бориса — чуть выше средней рабочей

[1] Л. И. Богораз.

[2] Многие мои знакомые позднее поплатились за свою активность: кого уволили с работы, кого понизили в должности, кого долго мытарили на собраниях, требуя, чтобы раскаялся, а потом все-таки уволили. *(Прим. автора.)*

(помнится, 170 руб.), а у жены, пока она не защитила диссертацию, была гораздо меньше. Но и после ее защиты не помню самого Бориса в приличном костюме, а Наташу так и запомнил в шубе, которую она носила все эти годы и которая досталась ей, поди, еще от матери.

Так живет большинство интеллигентов. Чтобы заштопать прорехи в бюджете, кто дает уроки на дому, кто подрабатывает переводами или рефератами; я знаю нескольких человек, которые во время отпуска уезжали в Сибирь подзашибить деньгу в строительных бригадах.

С жильем, пожалуй, у них еще хуже, чем у рабочих: у тех хоть есть надежда на квартиру от завода. А учитель, врач, научные сотрудники большинства институтов в Москве будут ждать квартиру от горсовета лет десять, да и на очередь их поставят только в случае крайней нужды. Вот Шрагиных не поставили бы: пятнадцать метров на двоих считается достаточно. И они, как и еще некоторые мои знакомые, вступили в кооператив. Но для этого им пришлось влезть в такие долги, что они их и по сей день не выплатили бы. Когда они решились эмигрировать (Борис как неблагонадежный остался без работы), то перед отъездом сдали свою двухкомнатную квартиру, получили обратно пай — только так и рассчитались с долгами...

Из неофициальных документов и самиздатской литературы я узнал и о том, в какой нужде жили многие писатели в сталинское время. Да и после Сталина не каждого писателя советская власть кормит, многих только подкармливает, а иным и отказывает в куске хлеба.

Любопытно, что такое же представление, как было прежде у меня, сохраняется еще и сегодня у людей, так сказать, государственных: работников милиции, прокуратуры, КГБ и т. п.

Следователь Синявского Пахомов, к примеру, при допросе одного из свидетелей говорил: «Какой он писатель? У него всего одни штаны!». Следователь московской прокуратуры Гневковская после обыска в одном доме иронизировала в своей компании: «Тоже мне интеллигенция! Да у них в шкафу всего один костюм висит!».

В Тарусе младший лейтенант милиции Кузикова обнаружила в одном «неблагонадежном» доме непрописанного гражданина. Вот она проверяет его документы, списывает на листок все о нем данные (чтобы в точности все передать в КГБ) и узнает, что он научный сотрудник НИИ и получает 115.

— Я и то получаю 170.

Вот и видно, кто у нас нужнее и кого больше ценит наша страна.

...Что же касается «легкого» интеллигентского труда, то один его вид — сиди себе, да чиркай пером по бумаге! — я вскоре узнал, что называется, на собственной шкуре...

Знакомство с новыми людьми, с самиздатской литературой, неожиданные впечатления — все это шло у меня вперемешку с другими заботами. А их хватало. В первую же неделю на воле пришлось обратиться к врачу: у меня не проходили головокружения, конечно, из-за недавно перенесенного менингита.

Врач платной поликлиники, осмотрев меня, написал заключение: необходима госпитализация и операция на левом ухе. Но он не мог дать мне направление в больницу, для этого нужно было обратиться в районную поликлинику. А так как я все еще нигде не был прописан, то никакая поликлиника меня не могла принять. Пришлось обращаться в Минздрав; там мне дали направление в Боткинскую больницу на консультацию к отоларингологу. Здесь слово в слово повторили предыдущее заключение, добавив: «...по месту жительства».

По месту жительства! А где оно у меня? И когда будет? Попробовал я объяснить свое положение врачам, но они отвечали: «Мы больше ничего не можем...»

Однако москвичи приняли самое деятельное участие в моей послелагерной судьбе: и к платному врачу сводили, и в Минздрав, и в конце концов пристроили меня в одну из московских больниц к знакомому врачу-хирургу. И не просто пристроили, а отдали меня, как говорится, в очень хорошие руки.

Почти каждый день кто-нибудь из моих новых знакомых навещал меня. Приносили еду и лакомства, развлекали разговорами, снабжали книгами. Мне принесли только что опубликованный в журнале «Москва» роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Вся Москва жила этим событием и ожиданием продолжения романа.

Интерес к роману Булгакова был так велик, что обычно мало кому нужный журнал «Москва» стало невозможно достать. (Я тогда еще и не мог подозревать даже, что пройдет ровно год, и я сам столкнусь с этим журналом, так сказать, лицом к лицу.) Все в этом случае было удивительным: сам роман, его неожиданная публикация после тридцатилетнего лежания под запретом и то, что опубликован он в журнале «Москва».

Булгаковское «рукописи не горят!» — не только призыв и напутствие, но и напоминание-предупреждение всем гонителям и душителям литературы.

После больницы наряду с другой самиздатской литературой я прочитал и еще одно булгаковское произведение — «Собачье сердце». Сколько же это будет храниться еще под печатями? Или ему так и не быть опубликованным на родине писателя?

Так я познакомился с одним из лучших писателей России советского периода. А письмо Булгакова Сталину показало мне, какой смелостью и достоинством обладал Булгаков.

Выписали меня из больницы дня за три до моего дня рождения, но так как 23 января в том году приходилось на понедельник, то мы решили отпраздновать днем раньше — в воскресенье, 22 числа. Я был приятно удивлен, когда увидел, что вместо тихого вечера в кругу нескольких друзей образовалась очень многолюдная пирушка. Вероятно, это был повод для встречи за одним столом многих знакомых между собой людей и для знакомства тех, кто до этого знал друг друга лишь заочно. Такие встречи были хороши еще тем, что сюда стекались все московские новости.

Вряд ли кто из присутствующих догадывался, что в последний раз перед арестом видит Александра Гинзбурга. Завтра ночью его возьмут во дворе его дома, так и не дав ему предупредить мать.

Пока же он принимает комплименты как составитель «Белой книги»: каждый здесь либо уже прочитал ее, либо подробно слышал о ней. Сам-то он чувствовал, что его вот-вот арестуют, его преследовали по пятам агенты КГБ. Но держался он естественно, несуетливо, в меру выпил, в меру был оживленным. А ему оставались всего одни сутки...

Пока я лечился в больнице, знакомые нашли мне жилье в деревеньке под Малоярославцем. И после праздничного вечера, на другой же день, я отправился в Калужскую область, но вернулся в тот же вечер в Москву со своим заявлением о прописке, исполосованным отказными резолюциями: отказ районного отделения милиции, отказ областного отдела внутренних дел. Мотивировок никаких, одно слово: «Отказать». Устно же мне и там и там заявили: «У нас таких, как ты, своих хватает!»

С этих пор и по сегодняшний день я убежден: наши мучения начинаются после освобождения из лагеря.

Сколько я исколесил областей, сколько объездил городов, городков и рабочих поселков, сколько обошел пешком деревень в попытке пристроиться! То милиция отказывает, потому что рядом проходит трасса Москва — Ленинград (такую же мотивировку отказа получил год спустя другой освободившийся политзэк — Леонид Рендель). То по генеральному плану застройки города та часть улицы, на которой я нашел себе угол, через 33 года, в двухтысячном году, будет снесена.— Отказ. Или оказывается, в найденном жилище не хватает на меня одного квадратного метра до санитарной нормы и т. д. Смеются при этом мне в глаза.

Все эти поездки-разъезды трепали мне нервы, съедали мои скудные лагерные сбережения. Главное же, время уходило напрасно. А его у меня было в обрез. Проживание без прописки свыше трех суток уже считается нарушением паспортных правил. Три таких нарушения — и суд, лагерь... Вот и создают нашему брату заколдованный круг, из которого не каждый выбирается благополучно: закон тебя обязывает прописаться, но вот милиция тебе отказывает и делает тебя умышленно «преступником». Очень удобно, особенно в стране безгласной.

Но этого мало. Мы автоматически становимся подсудными и по другой статье: если ты не работаешь подряд четыре месяца, то уже «тунеядец», тоже уголовная ответственность (хотя ты перед тем проработал в лагере без единого отпуска хоть шесть, а хоть и пятнадцать лет! И, может, за эти годы накопил денег на полгода жизни — все равно). Но поди устройся на работу без прописки!

У меня уже истекали и эти четыре месяца. Захотят или случайно заловят — в любой момент могут посадить. Нужно было срочно что-то предпринимать и на что-то решаться.

Единственное, что приходило мне в голову,— лихорадочно метаться в поисках жилья и пытаться прописаться. И каждый раз все слабее и слабее верилось, что авось на этот раз меня пропишут, авось на этом месте смилостивится милиция и позволит мне — ч т о?! — ж и т ь   з а к о н н о. Описывать все мои метания подробно — утомительно будет читать, да и не интересно, везде повторялось одно и то же.

И я решил уехать в Сибирь к родителям. Там пропишусь (в Барабинске вряд ли откажут, а если что, родня поможет, найдут знакомство) и сразу же устроюсь куда-нибудь на работу. Тем временем московские друзья подыщут несколько вариантов жилья ближе к Москве. Из Сибири я приеду с паспортом, в котором будут штампы о прописке-выписке, о приеме и увольнении с работы. Лагерь тем самым как бы отодвигается в прошлое: не зэк пристраивается, а гражданин переезжает на новое место жительства. Авось милиция не придерется.

И вот я на родине. Барабинск — небольшой городок между Новосибирском и Омском. Десять лет я не был здесь. Шел от вокзала к дому моих стариков — это минут пятнадцать ходу — и с любопытством осматривался. И ничего-то нового! Как будто не десять лет прошло, а десять дней.

Не знаю, сильно ли переменился и вырос Барабинск с 1967 года по сей день, появились ли там какие-нибудь новые предприятия, может, заасфальтировали еще одну-две улицы. Тогда, весной 67-го, все улицы, кроме двух центральных, утопали в пыли и грязи. Окраинные были чище — летом зарастали травой. Стал ходить городской автобус; но по-прежнему в основном едут по дороге грузовики, обдавая прохожих тонкой, как мука, пылью. Легковых машин мало, собственных почти нет. Правда, мотоциклов стало больше — с тарахтеньем проносятся мимо меня.

Как и десять лет назад, все дворы украшены деревянными будками-сортирами. Люди с ведрами идут за водой к уличным колонкам.

Заворачиваю в короткий, заканчивающийся тупиком переулок Школьный. В нем всего восемь домов — по четыре с каждой стороны. Наш дом виден от самого угла. Мы построили его в 1954 году. Мне тогда было шестнадцать лет, и я помогал родителям строить; а пожил в нем всего только год.

Это была давняя мечта моих родителей — заиметь собственный дом! Все здесь мечтали жить в собственном доме. На покупку денег не было, зато были дармовые рабочие руки — отца, матери и мои. Если лить стены из цемента со шлаком, то материал обойдется не очень дорого: железнодорожникам разрешено брать шлак бесплатно. На соседнем участке строились Радченки, наши соседи по казенной квартире.

Для литья домов нужно было много воды. Стали копать общий — на два двора — колодец. Копать пришлось глубоко, метров десять. Этот же колодец должен нам обеспечить и поливку огородов летом. Вода оказалась не совсем пригодной для питья — отчасти из-за свежего деревянного сруба. Поэтому для питья и готовки воду нужно было брать из уличной колонки. Ближайшая из колонок находилась в полукилометре — на центральной улице Ленина. Летом воду носили в ведрах, зимой ездили за ней на санках. А колодец наш так и остался единственным в переулке. Воды в нем хватало на все огороды даже в самое жаркое время года.

Мы объединили наши силы: день заливаем стены нам, а на следующий, пока у нас ряд сохнет, Радченкам. Дома одинаковые — пять на восемь метров, то есть комната метров двадцать и такая же кухня. Месяца за полтора вылили оба дома. После этого еще работы хватало: крышу крыли, отец настилал полы, а я и даже маленький брат Борька помогали ему как могли. Все делали сами, только печника пришлось нанять. К осени въехали в собственный дом; а штукатурили его следующим летом, когда стены хорошо просохли, так что, как говорится, собственными боками сушили. Зато уже с весны засадили свой приусадебный участок. Хлопот у матери прибавилось. И в казенном-то доме у нас было хозяйство: корова, поросенок, куры (самочинные сараи — стайки — окружали наш дом-барак), да еще за городом засаживали свои десять соток картошкой. Без этого не проживешь, семью не прокормишь. Не то одно, что зарплаты отца на четверых (а в других семьях и на семерых) не хватило бы, а вот что: где их взять, продукты, хоть бы и было на что купить? За все мои семнадцать лет житья в Барабинске я ни разу не видел в магазине сливочного масла, только маргарин, комбижир, и то не всегда. Между тем масло вагонами отправляли куда-то: мне самому приходилось таскать ящики, когда я в каникулы подрабатывал на погрузке. Мы же иногда, очень редко, покупали масло на рынке или родня привозила из деревни. Своего не было. Не принято было, что ли, масло есть, привыкли обходиться, как все в городке. Молоко пили вволю, материн варенец я до сих пор помню. А масла не ели. Впрочем, сейчас в Чуне [1] (не знаю, как в Барабинске) уже год как нет ни сливочного масла, ни растительного, ни маргарина. И рынка нет, и в деревне не купишь, жена из Москвы привозит за пять тысяч километров.

[1] Чуна — место ссылки А. Марченко с 1975 по 1979 год.

Мы жили лучше многих, особенно многодетных семей.

«Мои дети голодом не сидели. И одеты были, как принцы: Толику гармонь купили, кожаную куртку»,— хвастается мать. У меня и велосипед был, а позднее даже баян (на покупку его пришлось продать и куртку, и гармонь).

Каждую вещь, купленную хоть двадцать пять лет назад, мать помнит, а пересчитать их — хватит пальцев на одной руке. Какого труда это стоило родителям! Корову и поросенка тоже накормить нужно; сенокос отводят где-нибудь в дальних и неудобных местах — и за то спасибо! Проблема не столько накосить сено, сколько вывезти его. Сейчас хозяева, у кого есть скотина, подкармливают ее печеным хлебом, а тогда нам самим хлеба не хватало. Да огород, да стирка, починка. Всю свою жизнь мать ведрами таскала воду: из колодца, из колонки, на стирку, на готовку, на мытье, скотине, на каждый корень на огороде.

Заполучив же свой дом, она без конца его мыла, скоблила, подбеливала, подкрашивала что-нибудь. Мать так втянулась в непрерывный тяжелый труд, что и сейчас, в свои 67 лет и при плохом здоровье, ни минуты не сидит без дела, разве что в праздник в гости пойдет. Отдыхать она вообще не умеет. То же и отец; едва отоспавшись после поездки, он принимался за домашние дела — дрова надо заготовить, сарай подремонтировать, да еще он сапожничал и тем подрабатывал... Санаториев, домов отдыха он в своей жизни и не нюхал, как и другие наши соседи и знакомые. Отпуск старались приурочить к необходимым сезонным работам — к сенокосу, к уборке картошки; а то договаривались рубить дом кому-нибудь или копать колодец. Наверное, если б дали ему даже бесплатную путевку (но не давали ни разу за двадцать лет!), он не взял бы: некогда. Правда, два или три раза мы с ним ездили в гости к родне — это когда его отпуск выпадал на «бездельное» время. Билеты железнодорожник может раз в год получить бесплатно на себя и на семью. Какой радостью была для нас с братом дальняя поездка! Но и эти поездки должны были оправдать себя, то есть оправдать трату времени и денег. Кто везет из Оренбурга несколько пуховых платков, кто с юга яблоки — не себе, а на продажу. Мы привезли от тетки из Средней Азии яблок, и я продавал их на железнодорожном мосту поштучно. Зато и сами поели их вволю во время отпуска!

...В Барабинске весна. Снег сошел, в домах на подоконниках в ящиках зеленеет рассада помидоров. У матери наверняка тоже окна заставлены рассадой.

Я не сообщил старикам, что выехал из Москвы. Отец-то на работе, а мать должна быть дома.

Конечно, были неизбежные слезы и причитания, что вот какой я стал страшный, худющий да черный. Но и причитая, мать не стояла на месте: сразу взялась кормить меня и стряпать. Она была такой же шустрой, быстрой, какой я ее всегда помнил, только заметно постарела и стала как будто еще ниже ростом, чем была (она и от роду-то маленького роста, сухощавая). Наверное, моя непутевая жизнь прибавила ей морщин.

А отец почти не переменился, только сильно усох. Седины не больше, чем когда вернулся в 1946 году из армии, перенеся всю ленинградскую блокаду. Он уже несколько лет работает не помощником машиниста, а плотником: в Барабинске появились электровозы, и паровозников, у кого позволяло образование, переучивали для работы на новой технике, а неграмотных и малограмотных, как мой отец (он только расписывается кое-как и в газетах может прочесть только одни заголовки), переводили на любое место, куда придется. Конечно, плотнику легче, чем паровознику. Но заработок меньше раза в два-два с половиной, а от этого будет зависеть и размер пенсии.

Пока ждали отца с работы, мать успела мне выложить кучу новостей: отец дорабатывает последние дни и уходит на пенсию. В следующую субботу они устраивают гулянку, на которую приглашена вся отцова бригада.

В углу я вижу старый, знакомый еще по строительству дома сорокалитровый бидон. Тогда мать в нем постоянно варила брагу и поила своих «строителей». Да и потом бидон редко когда пустовал.

В детстве мне частенько перепадало от матери колодезной веревкой за дело и без дела: за участие в налете на чужой огород, за школьные проделки, за «неподходящих» приятелей. Но у нас в семье в заводе не было прятать от детей то, что было в доме: ни еду, ни деньги. То же относилось и к браге. Лет в четырнадцать я, на зависть своим сверстникам, имел открытый доступ к бидону. И я иной раз выпивал стакан, но ни разу не напивался.

Позднее я стал пить больше, но не потому, что вырвался из-под родительского надзора. Просто у меня стало больше поводов для этого и больше друзей-собутыльников. Мне повезло начать трудовую жизнь на комсомольских стройках, в геологоразведке, среди шахтеров, как раз там, где пьют больше, чем где-либо. Не знаю, чем бы кончились мои контакты с бутылкой, если бы не один случай. Произошло это зимой с 1957 на 1958 год. Работал я тогда буровым мастером в геологоразведке в Томской области. В одно из воскресений, просидев за выпивкой весь день и захмелев основательно, я надумал пойти на танцы. На улице было ниже сорока, а я вышел из дома в одной рубашке, в легких туфлях. Перелезая через прясла, я свалился в снег, а подняться уже был не в состоянии. Так и замерз бы, да, на мое счастье, мимо проходила молодежь на танцы, меня подняли и притащили в клуб.

На следующий день на работе я полностью осмыслил происшедшее. Хоть я пил много, но никогда еще не напивался до горизонтального положения и до беспамятства. Я гордился этой своей способностью. Теперь же меня устрашило не то, что я мог замерзнуть насмерть. Под мерный гул и скрежет своего допотопного КА-2М-300 я припоминал барабинского дядю Мишу Михеева. У него не было обеих рук. Их ему ампутировали после того, как он здорово обморозился, свалившись по пьянке в снег. Еще в детстве он пугал меня своими черными культяпками. Я реально почувствовал себя без обеих рук, а воображение рисовало всю мою беспомощность: ширинку и то не застегнуть! И отшибло у меня интерес к выпивке.

Десять с лишним лет я и в рот не брал хмельного. В Москве в первый же день я вызвал удивление моих знакомых отказом от традиционной рюмки. Почти все они пили, а кое-кто и здорово. Но меня почтительно оставили в покое.

С первого дня мои старики стали спрашивать: как я собираюсь устраивать жизнь после лагеря? Им больше всего хотелось, чтоб жил я при них, в Барабинске, женился бы, завел детишек — матери внучат. Словом, жил бы «как все», раз уж не пришлось выбиться в люди. У меня же было не то на уме! Но я не стал заранее огорчать стариков своими планами, успеют еще нагореваться, если мне удастся их осуществить. Да и не поняли бы они меня. Я знаю, что от них услышал бы: «Тебе что, больше всех надо?», «Справедливости все равно не добьешься», «Себя угробишь, а спасибо никто не скажет». Еще такую советскую пословицу: «Россию всю продали, Правды больше нет, один Труд за две копейки остался» («Правда», «Советская Россия», «Труд» — названия газет).

Эти общежитейские народные афоризмы для моих родителей были и сейчас остаются кровно выстраданными. Не принял их сыночек народную мудрость; как был, так и остался непутевым, загубил свою жизнь...

Несколько дней я просто отдыхал. Навестил немногих оставшихся здесь школьных товарищей и, конечно же, посетил двухэтажный деревянный дом, в котором прошло все мое детство.

Из моих товарищей детства в 67 году в этом доме жил уже только один Григорий. Хоть по-прежнему здесь «все удобства — во дворе», зато живут просторнее: не по семье в каждой комнате, а по две комнаты на семью, третью комнату в квартире занимают старики-пенсионеры. Григорию еще больше повезло: третью комнату у них дали его матери, так что, считай, трехкомнатная квартира в их владении. Мать на пенсии, он и жена оба работают — нужды нет, денег на жизнь вполне хватает. Григорий — помощник машиниста на электровозе, вроде бы та же работа, что была у моего отца, и заработок не меньше. Та же, да не та: родители наши в мазуте купались, а нынешние машинисты идут на работу в белых рубашках. Отцы, бывало, по двое-трое суток в поездке, и неизвестно, когда их ждать домой; а теперь все расписано по графику, лишнего часа не переработаешь. Старики, насилу на пенсии отмывшие руки от мазута (а я думал, никогда их не оттереть), смотрят на электровозников не без зависти. А сами молодые опять находят поводы для неудовольствия: «Что толку с наших заработков, когда купить нечего: ни колбасы, ни мяса, ни товаров в магазине», «Разве это работа, ни выходных, ни праздников, как у людей!».

«Как у людей» — это значит, чтобы в праздник как следует выпить; а график праздников не признает. Другие за стол, к бутылке, а электровознику надо ехать. Если другой раз отдых и совпадает с праздничным днем, так выпить все равно нельзя: на носу висит поездка. На железной дороге с пьянством строго, так что «погулять, как люди» остается только в отпуск раз в году или когда ходишь на больничном.

А в общем, как и раньше: «Не дай Бог нашим детям быть простыми работягами, как мы; пусть в люди выбиваются, то ли дело за столом бумажки подписывать или языком молоть». (Но это, конечно, теоретические рассуждения; а практически — подрастает лентяй и шалапут вроде нас десять лет назад, и родители рады спихнуть его куда угодно: в военное училище, в ПТУ, в армию раньше призыва, на работу).

Однако многих прежних приятелей постигли настоящие беды и невзгоды. Григорий рассказывал: Филипп Павлов спивается окончательно; тетя Паша, его мать, умирает от рака (и точно, вскоре она умерла). Вася Гребенщиков поступил в вуз — да не доучился, сошел с ума, сидит в Томске в желтом доме; говорят, никого не узнает. Николай, старший брат Василия, который раз отсиживает в лагере. В лагере и Ромка Цыганков, Витька Чернов («Черный»), Женька Глинский, наш дворовый атаман Юрка Акимов по кличке «Маля». Иван Сорокин сел на большой срок за грабеж еще при мне; под конец срока «освободился» — умер в лагере от туберкулеза. «Как из нашего двора все поразлетелись — кто куда, навсегда, на до-о-лгие года».

Вадим Павлов утонул по пьянке вместе с двумя своими собутыльниками; его брат умер от рака. Мой тезка, Толик Копейко, расстрелян по приговору суда за изнасилование и убийство. Знаменитость Барабинска, капитана городской сборной по футболу Михаила Чеснока, пырнули ножом, и он умер. Чесноков было три брата-богатыря, младший — наш сверстник; а зарезал Михаила какой-то пацан в пол его роста, зарезал просто так, ни за что. Сестру моего приятеля Володи Глушанина муж зарубил топором. Одноклассник Володя Несмеянов по кличке «Академик-Президент» сошелся как-то с блатной компанией, и не слишком близко; случайно стал невольным соучастником грабежа — пришел после этого домой и застрелился (пожалуй, единственная осмысленная, хотя и трагическая смерть — из всего поминального повествования). Еще один знакомый повесился...

Десять лет я не был на родине — и столько безвременных, большей частью бессмысленных смертей в не очень широком кругу моих дворовых друзей и одноклассников. Когда живешь в большом городе, то чаще всего ты не узнаешь даже о несчастном случае у соседей по подъезду, хотя в большом городе самоубийств или драк с поножовщиной, может, не меньше, чем в глухой провинции. А в маленьком городке каждый такой «случай» пересказывается от дома к дому, обсуждается «устной газетой» — у колонок и колодцев, в магазине и около пивного ларька. Но проходит месяц-другой, и прошедшая трагедия вытесняется из памяти очередной подобной сенсацией. Когда же все такие события за несколько лет обрушиваются, как на меня, в один раз — страшно становится, возникает ощущение какой-то эпидемии.

Сколько самоубийств, нелепых, просто по пьянке! Сколько людей по пьянке разбилось в автоавариях, на мотоциклах, замерзло в снегу на морозе! Особенно в праздники — обычно сразу несколько таких смертей.

Я живу замкнуто, «устную газету» не слушаю, и до меня лишь случайно доходит часть здешней хроники происшествий — наверное, не больше половины. Но, по-моему, названных событий за три года на поселок в 14—15 тысяч жителей достаточно, чтобы прийти в ужас. Если бы эта хроника публиковалась в газете, чунари, небось, так же боялись бы ночью выйти из дому, как, пишут у нас, боятся американские обыватели. Другие, может, задумались бы: среди кого мы живем? что это за новый человек, воспитанный социалистической системой? Сегодня сосед пришел ко мне взять трешку взаймы, а завтра — мертвых обобрал, ребенка бросил замерзать! Сегодня он горит энтузиазмом, выполняя пятилетку досрочно, а завтра ни с того, ни с сего удавился у себя в сенях. Нет, я не хочу сказать, что это результат встречных планов или районных школ политпросвета. Это же очевидно: дело не в системе, социалистической или капиталистической (и зря у нас непрерывно обличают язвы капитализма, боюсь, что наши собственные ничуть не доброкачественней), а в каких-то более общих особенностях времени, уровня развития всего человечества, единого, несмотря на пограничные полосы и политические устройства. Тут бы всем сообща, всерьез и поскорее, заняться анализом, искать средства лечения общих злокачественных язв, все равно как от рака. Так нет, где там! «Они» — и «мы», «их нравы» и «советский образ жизни», «в мире насилия» — и «так поступают советские люди» и т. п. Чтобы не подорвать это искусственное противопоставление, закрыта вся статистика: болезней, несчастных случаев, катастроф, преступлений. Какой там общий анализ, когда отечественные специалисты не знают своих же данных, их прячут не только от чужих глаз, но даже от самих себя.

Наверное, у нас меньше, чем на Западе, организованной преступности. Но вот хулиганства, преступлений по пьянке, безмотивных преступлений — мое мнение, что страшно много, несмотря на неусыпный надзор за каждым человеком все равно как за потенциальным преступником: прописка постоянная, прописка временная, приехал на

десять дней — заполни анкету, куда, откуда, с кем, к кому, зачем, на сколько; за нарушение этих правил — уголовная ответственность, лагерный срок до года. В милиции еще посмотрят, разрешить ли тебе прописку, а нет, так убирайся. Милиционер может явиться в любой дом, к любому гражданину, с проверкой: а нет ли здесь непрописанных? Фактически это осмотр квартиры. Обнаруживает непрописанного, кто он ни будь — вполне добропорядочный гость твой, сват, брат, жена, сын,— отвечает перед властями не только приезжий, но и хозяин (мою жену несколько раз штрафовали: впервые — за то, что не прописала своего трехмесячного сына, потом — что я, законный ее муж, находился в ее квартире, а год назад оштрафовали меня за то, что, приехав ко мне, она пропустила установленный срок прописки).

Так вот, при контроле поголовно за каждым — новый советский человек умудряется создавать такую уголовную статистику, что ее боятся опубликовать. Притом ему хватает подручных орудий преступлений: кулака, кирпича, топора; даже охотничий нож не всякий может иметь, на то надо специальное разрешение, иначе — лагерь до трех лет. Вот у нас в народе и говорят: «Чтоб у нас, как в Америке, каждый мог купить пистолет, винтовку? Тогда трупы на улицах некому будет убирать!»

Из отцовской бригады я никого не знал. Пришлось с каждым знакомиться, когда они по одному и парами стали подходить в назначенную субботу. В основном это были люди молодые, лишь двое-трое средних лет. Бригада состояла из плотников, штукатуров, каменщиков и считалась комплексной. Отца все они называли «деда» — наверное, как и на работе. Одеты все были прилично, добротно, и это очень бросалось мне в глаза, когда я сравнивал их с прежней барабинской публикой.

С матерью все были хорошо знакомы, вели себя у нас очень свободно. Чувствовалось, что собрались действительно свои люди. Я смотрел на них и думал: «Каковы же вы будете под конец вечера, все ли из вас уйдут домой своими ногами?». Но зря я так о них думал. Сильно пьяных никого не было до конца, и разошлись с вечеринки все нормально.

После двух-трех обязательных тостов все заметно захмелели и оживились, стали петь, танцевать, заводить разговоры. Вместе с новыми песнями пели и старинные, знакомые мне еще с детства. Без них и раньше не обходилась ни одна гулянка: «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла», «Я остался сиротою», «Бежал бродяга с Сахалина», «По диким степям Забайкалья», «Скакал казак через долину», «Тонкая рябина», «Среди долины ровныя», «Вы не вейтеся, русые кудри» и другие.

Все гости знали о моем недавнем прошлом. Знали даже, что освободился я из политического лагеря. И я с опасением ждал вопросов-расспросов: неприятно о серьезных вещах говорить с подвыпившими людьми. По пьянке каждому не терпится выложить «своему» человеку все, что на душе, похвалиться храбростью и принципиальностью, обматерить родную власть; назавтра, трезвый, он опять, из-за трусости и безразличия, поддержит и одобрит любую подлую акцию, а подзаведут его, так и сам поучаствует с большим энтузиазмом. Ни собственной мысли, ни ответственности. Может, потому спьяну так и распускают языки, что чувствуют себя свободными от ответственности. То за них вино ответит; а то очередной руководитель. Терпеть не могу эти пьяные излияния и хвастовство.

Но за весь вечер никто меня, слава Богу, ни о чем таком не спросил.

Когда напелись, стали налаживать музыку: трое гостей, и я с ними, с трудом разобрались, как подключить к сети только что подаренную отцу радиолу. Я сказал:

— Прямо как в газете: «провожая труженика на заслуженный отдых, местком преподнес ему памятный подарок».

Помогавшие мне женщины громко рассмеялись, а парень сочно выматерился:

— От нашего месткома дождешься!

Оказалось, местком-профком никакого отношения к подаркам не имеет. Бригадники по собственной инициативе купили в складчину приемник с радиолой и наручные часы. Они знали, что у нас в доме никогда не было приемника и часов отец мой за всю свою трудовую жизнь не собрался приобрести. Он с часами и обращаться-то не умел. Когда эти, подаренные, в первый раз остановились, то он еще кое-как завел их сам. Но вот через неделю, когда нужно было их немного подзавести, он со смущением просил меня показать, как это делается. Я этим был смущен больше него: уж что-что, а часы отец мог бы иметь и от родного сына.

Производство же проявило свое внимание лишь в форме напоминания: зайти через два дня в бухгалтерию и узнать точный размер пенсии. Она оказалась 55 рублей в месяц: 50 рублей пенсии плюс пятерка на жену-иждивенку. Это за сорок лет непрерывной работы, в том числе около тридцати на паровозе; в том числе за все годы войны, с первого и до последнего дня.

Когда все гости разошлись, мать была очень довольна, что все обошлось тихо и мирно. Долго еще будет она вспоминать эту вечеринку: хоть выпивки хватало, а за весь вечер никто друг другу грубого слова не сказал! Так принято говорить у нас, когда вечер обходится без того, чтоб кому-нибудь расквасили морду. Все, что предшествует мордобою, скандалом не считается.

Вечеринку по случаю приезда моего и Бориса — младших Марченок — справил у себя дядя Федор, материн брат. Собрались барабинские родственники, из Тюмени приехали два сына-студента дяди Федора — старший, Василий, и младший, Вовка; средний, мой тезка, жил с отцом, работал штатным инструктором Барабинского райкома комсомола. Анатолий не скрывал от родни, что намерен делать партийную карьеру. Он обладал некоторыми необходимыми для этого качествами: с первого слова в нем виден был демагог и циник, карьерист, любыми средствами претворяющий в жизнь любые руководящие указания вышестоящих товарищей. С нами — даром что родня — он держался высокомерно-снисходительно, как посвященный с непосвященными, не опускался до спора, а небрежно поучал: «Собрание — мероприятие организованное, и никто не позволит пустить его на самотек».

Дядя Федор весело толкает меня локтем, хохочет и пьяно кричит: «Видал их ... демократию!»

Между прочим, сам дядя Федя — член партии с довоенных лет еще, только никогда никаких постов не занимал, руководил разве что своим дизелем: много лет проишачил в нефтеразведочных экспедициях. Никакой корысти от своего партбилета он не имел, мировоззрение его вряд ли чем отличалось от мировоззрения моего беспартийного отца и прочих работяг; груза ответственности за действия родной партии, как, впрочем, и гордости за нее, он никогда не чувствовал: «У нас не спрашивают, а против начальства не попрешь». Бессознательно он отграничивает себя от «начальства» (в лице родного сына): «их ... демократия».

Я задал двоюродному тезке только один вопрос:

— У тебя ни разу не было осечки с собранием?

— У меня — нет,— самодовольно ответил он.— У других бывало. Но ведь это в конце концов неважно...

— Ну, а тогда что?

— Баламутов за жопу и в КГБ! — кричит дядя Федя.

— Ты, папка, отстал от жизни. Кому охота с ними мараться, с мелкотой этой? Подумаешь — покричал на собрании!

Все-таки Тольке не удалось сделать карьеру партийного работника. Может, не хватило изворотливости, не сумел держать нос по ветру (подвело так называемое политическое чутье), может, не завязал нужных связей. Конкуренция на этом поприще очень велика, отпихивают друг друга — ладно, сейчас хоть головы не летят, а в конце 30-х годов каждая следующая ступенька завоевывалась ценой жизни предшественника. Брежнев с поста секретаря техникумовского парткома влез на самую верхушку пирамиды; читая его биографию, поневоле думаешь: а кто был его предшественником, скажем, на посту ...? почему не назван?

...Всего лет пять пройдет, и троих из этой компании не станет. Дядя Федя, крепко выпивши, врезался на своем мотоцикле во встречный грузовик и разбился насмерть. Василий, старший брат, разбился на автомашине в Тюмени. Дядя Гриша Первухин, тоже бывший тогда на вечеринке, вскоре утонул в бензине, оскользнулся и упал в открытый люк железнодорожной цистерны.

Прописка в Барабинске прошла без придирок, никто мною не поинтересовался: отдал я паспортистке паспорт с военным билетом и получил тут же обратно со штампом.

Я мог рассчитывать только на самую черную работу, ни одна из моих прежних вольных профессий теперь не годилась из-за глухоты [1] и хронического отита. Но мне повезло: на хлебозавод требовался грузчик. Меня сразу приняли.

Конечно, таскать мешки с мукой дело не из легких, но я через неделю втянулся в работу и таскал их наравне с остальными. Нас в бригаде было трое, и наше дело было доставить муку с элеватора на завод.

Мешки с мукой уложены на элеваторе штабелями в два человеческих роста и выше. С верхних рядов каждый сам снимает свой мешок и тащит. А доходит до нижних, двоим приходится стоять на подаче: бросать мешки на спину третьему, и он их таскает в машину. Так же таскаем и из вагона.

На хлебозаводе тоже приходится штабелевать мешки до самого потолка. Так что сначала бросаем мешки под ноги, мостим себе из них лестницу и по ней бегаем с мешками под потолок. За смену мы завозили где-то тонн около сорока — более десяти тонн на каждого из нас, с погрузкой и разгрузкой выходило каждому перетаскать более двадцати тонн. Получали мы там в месяц рублей по 160—170. Лучшего мне в Барабинске было не найти.

Но жизнь провинциального городка меня угнетала: я не находил себе занятия в свободное от работы время, а его было предостаточно. В половине пятого я всегда был дома. Отдохнув пару часов и часполтора повозившись дома, я от нечего делать уходил на последний сеанс в кино. Я заводился каждый вечер от сознания того, что трачу драгоценное время на ерунду. При такой жизни я очень скоро могу оказаться таким же, как и большинство из тех, кто освободился до

[1] А. Марченко потерял слух в результате болезни в детстве и затем менингита в заключении.

меня. Втянусь в ежедневные житейские заботы, а на главное дело времени не найдется. И по-прежнему никто в мире не будет знать ничего о мордовских лагерях — теперь уже и по моей вине.

...Брюзжание и ругань по адресу наших порядков, наших властей мне надоело и противно было слушать. Всегда, у всех одно и то же, и слова одни и те же, и рецепт от всех бед один: перевешать их, б.....; перестрелять; перерезать; пере..., пере... А чего хотят взамен? В общем, сами не знают. Если вдуматься, так того же, что имеют: хозяина над собой и над страной, владыку живота своего и ответчика за все.

Сейчас я живу в совсем маленьком городке, еще дальше от Москвы. И люди здесь такие же, как в Барабинске: такие же интересы, те же разговоры. Но нет у меня прежнего раздражения. С годами я понял, что был несправедлив к своим землякам. Они жили обыкновенной жизнью, теми интересами, какие эта жизнь им диктует. Равнодушие к чужой и к своей судьбе, пустопорожнее брюзжание, может, даже наше пьянство — это скорей всего результат многовекового крепостного состояния, которое длится и по сей день.

Могу ли я презирать соотечественников за то, что они не знают, чего хотят? В конце-то концов, мое собственное неприятие советских условий жизни не более конструктивно, чем общее бесцельное неудовольствие. Насильно замурованные, отгороженные от мира идейно и физически, лишенные информации не только о мире, но и о самих себе,— мы способны только к разрушительной критике (кто во что горазд) и к выработке идей, не соотнесенных с реальностью.

Тогда, в Барабинске, мне казалось, что вот сейчас все должны бросить свою привычную жизнь и кинуться бунтовать, обличать и добиваться своей правды. Не побывай я сначала в Москве, а еще ранее не задумай разоблачения режима политлагерей, может, взялся бы тогда «раскрывать глаза» своим землякам, набиваться со своей активной жизненной позицией. И, конечно, в конце концов попал бы в поле зрения местного КГБ и вернулся бы набираться ума-разума в отстойник.

Единственное внешнее событие нарушило обычный круг застольных тем — гибель космонавта Комарова. Об этом было много разговоров и слухов. Говорили, что новый (после Королева) Главный Конструктор не захотел противостоять нажиму правительства и разрешил полет на еще не опробованном корабле. Что Комаров предвидел свою гибель, но не посмел отказаться от полета. Что когда возникли неполадки, он просил разрешения прекратить полет, но этот вопрос чересчур долго утрясали в высших инстанциях. Что американцы предлагали Комарову свою помощь, а наши, мол, отказались. Вновь всплыли слухи о том, что Гагарин не первый космонавт, а до него было несколько неудачных взлетов со смертельными исходами. Что вообще первыми космонавтами после Белки и Стрелки были заключенные-смертники (эта параша особенно распространена в лагерях). Что и Терешкова — тоже не первая женщина в космосе, но имя ее предшественницы мы не узнаем, так как она погибла. Что с Титовым после полета не все в порядке, и его чуть ли не взаперти держат... Словом, возникло и всплыло множество самодеятельных версий, от фантастических до похожих на правду.

Но некоторые распространялись властями, очевидно, для того, чтобы нейтрализовать невыгодный для них фольклор. Один мой знакомый рассказывал, что на инструктаже активистов (он сам был в их числе) чуть ли не в милиции им так объяснили эту катастрофу:

Комаров, мол, сам виноват в своей гибели, он самовольно, без приказа и разрешения, отправился в космос, когда аппаратура не была еще как следует проверена. И подтвердили широко распространенный слух об американском предложении помощи в таком варианте: патриот Комаров отказался изменить Родине, не принял помощь американцев, предпочитая погибнуть в космосе.

Другое событие произвело на меня сильное впечатление: письмо Солженицына съезду писателей (я получил его текст из Москвы, конечно, тайком). Было радостно, что есть люди среди писателей, кого не запугали и не купили, что есть кому и у нас сказать правду без оглядки на последствия для себя.

В 77-м, прочитав «Теленка»[1] А. Солженицына в ссылке в Чуне, я узнал, что 60 человек членов ССП публично поддержали его письмо. Это, по-моему, немало для нескольких тысяч советских писателей — «инженеров человеческих душ» и «совести народной».

В Барабинске мне некому было показать это письмо, не с кем поделиться впечатлениями. Я знал заранее, что забота Солженицына о свободе творчества не будет понята моими земляками: не о мясе и не о барахле! Разве что из желания подудеть в одну дудку со мной сказали бы: «Да, дает мужик! теперь его, конечно, посадят»; или «Хорошо ему вякать! писатель, такому ничего не будет, а нашего брата за рога бы да и в стойло».

...Родители мои время от времени твердят свое: не уезжай никуда, оставайся в Барабинске! И здесь люди живут. Не дай Бог зайдет к нам в дом потенциальная невеста — старики тут же угощение на стол и сделают все, чтоб гостья задержалась подольше и чтоб ей у нас понравилось. Мать надеялась, что женитьба образумит меня, приклеит к дому, и я наконец устрою жизнь «по-человечески».

К моим связям с Москвой мать относилась враждебно-ревниво. Иногда и высказывала, что у нее на душе: «Чует мое сердце материнское, опять будешь в тюрьме с этой Москвой!» Родители не раз слышали от меня «крамольные» речи, по их понятиям, святотатственные (хоть сами — и наедине, и в компании — не раз проклинали и свою жизнь, и власть) и ведущие прямо в тюрьму. Вот они и начинают выговаривать: что тебе не живется нормально? что тебе нужно от советской власти?

— Хотя бы того, чтоб меня и других не били по голове!

— Почему нас никто не бьет? Мы всю жизнь прожили и тюрьмы не боялись!

— Мам, да ведь и Гитлер не всех бил по голове. Живи по его законам, кричи вместе со всеми «Хайль Гитлер!» — и можешь спать спокойно.

— Любая власть, если ты против нее, будет тебя бить и по голове, и по жопе.

— А в Америке компартия открыто заявляет, что борется против власти капиталистов,— никого там за это не сажают.

— А ты откуда знаешь? Ты что, был там, сам видел?

— Но ведь об этом пишут в газетах!

— Нашел чему верить! Все вранье.

— Так пишут-то наши газеты, советские!

— Да ну тебя,— мать безнадежно машет на меня рукой.— И в кого ты у нас такой умный? Ни у отца в роду, ни у меня никто никогда в тюрьме не был. А тебя уже дважды угораздило, и так дураком и остался. Других хоть тюрьма учит. Лучше бы пил: пьяница

[1] Имеется в виду литературная автобиография А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» (1975).

проспится, а дурак никогда. Правду ведь пословица говорит, что в семье не без урода.

— Ага, а отцова-то отца Колчак расстрелял? А дядя Афоня, сама говорила, добровольцем к красным ушел еще несовершеннолетним.

— Так не в тюрьму же? Да и время не такое было. Чего вам сейчас не живется? Мы в лаптях ходили, а вы ежегодно новые туфли покупаете, и все вам не так!

Ох, уж эти мне родительские лапти! Это, как они думают, самый веский аргумент в пользу советской власти. Задумайся они, что туфли, мотоциклы, телевизоры и прочие блага цивилизации есть уже везде в мире, а нашему народу обошлись слишком дорого, в миллионы жизней,— так, наверное, обожгло бы им пятки в этих туфлях.

У таких людей, как мои родители, жизненный опыт берет свое начало с предреволюционного времени, символом которого понаслышке, от пропаганды, стали лапти: «лапотная Россия» (между прочим, в Сибири и батраки ходили в сапогах). И получается у них, что советская власть заменила им лапти на туфли. Этого представления из них ничем не выбить.

Известие, что мне нашли жилье недалеко от Москвы, пришло, когда я уже подзаработал немного денег. Но до отъезда мне хотелось побывать у деревенской родни: доведется ли с ними еще увидеться? Рассчитавшись с хлебозавода, я попросил двоюродного брата отвезти меня в деревню на мотоцикле.

У самого въезда в Лохмотку нас встретила растущая при дороге огромная, издалека видная береза. Ночью она похожа на человека — великана, раскинувшего изуродованные ветром и грозой руки-ветки, то ли приглашающего путника в деревню, то ли преграждающего ему дорогу. В детстве этот великан пугал меня.

Вторая от края избушка — бабушкина. В ней давно никто не живет: бабушка умерла, тетя Домна с детьми переехала на жительство во Фрунзе. Хоромы эти никому стали и даром не нужны: люди теперь селились в нормальных рубленых избах, строились, бросая свои земляные допотопные сооружения. Бабушкина избушка стоит с пустыми выбитыми окнами, с зияющим проемом вместо двери. Даже огород никем не засажен: земли хватает, у каждого колхозного двора огромный огород.

Мы проехали мимо одичавшей бабушкиной усадьбы, направляясь к дому «лельки», моей крестной.

Оба мы — и «лелька», и я — рады были встретиться после стольких лет. За столом, тут же сразу накрытым и увенчанным, конечно, бутылкой, вспоминали родню — живых и уже умерших, и народившихся за это время. Обе «лелькины» дочери уже давно замужем, внуков ей народили («А ты отлыниваешь!»). Сама она все еще работает — поваром в артели армян-шабашников, которые и живут у нее в доме. Эта артель приезжает в Лохмотку уже второе лето, строит колхозу новые объекты. В это лето они строят коровник. К осени рассчитывают получить много денег — и получат, это точно. Во всяком случае, раз в десять больше, чем уплатили бы за эту же работу своим колхозникам. Но свои не управляются и с полевыми работами, вот и приходится колхозу за большие деньги нанимать строителей со стороны.

Мой зять — муж двоюродной сестры — работает в этом совхозе начальником отделения. «Замотался вконец»,— жалуется он мне.

— Может, платите мало,— предположил я.

— Мало! Не меньше двухсот в месяц! Разбаловался народ,— возмущается зять.— Раньше за горсть зерна пахали от зари до зари, и гнать не надо было: сами бежали. А теперь кланяйся каждой! На работу, с работы ли — машинами возим, а раньше на полевом стане всю неделю... Хозяина в стране нет!

— Сталина хочешь.

— А что Сталин? При нем хоть порядок был. Плохо было, зато слушались.

— Твое начальство тоже о Сталине вздыхает: такие, как ты, при нем по струнке ходили. Чего же ты не ходишь?.. Лучше сталинской системы ты ничего не можешь предложить, чтоб хозяйство не буксовало.

— Это чтоб опять капитализм, это ты имеешь в виду, да?

Как и в Барабинске, никто не расспрашивал меня в деревне, за что я сидел, с кем, каковы сейчас политлагеря. Лишь один родственник, уже подвыпив, прихватил еще бутылку самогона и поманил меня во двор: «Есть разговор». Но и во дворе он не нашел подходящего места и повел меня в баню. Выпив стакан, он спросил:

— Скажи, правду говорят, что ты продался?

— А кому, как говорят?

— Заграничной разведке!

— Ну, раз заграничной, то правда.

Бутылка отставлена в сторону. Стаканы так и остаются неналитыми. Собеседник мой задумался, молчит. Потом чуть улыбнулся:

— Врешь ты все! С тобой по-серьезному хотят поговорить, а ты...

— А как можно об этом по-серьезному-то? Все говорят, что я шпион, а госбезопасность смотрит, слушает и ничего не предпринимает! Какая уж тут серьезность!

— Ну, а за что же тебя судили? Мать же сама говорила, что ты сидел с политическими.

— Точно, сидел с ними.

— И много их там?

— За десять тысяч я ручаюсь.

— Как при Сталине? — он удивлен.

— Да нет, при Сталине были миллионы.

— Все равно много... А за что все же они сидят?

— Каждый за свое: кто за книжки...

— Писатели? И такие есть?

— Есть.

— А я думал, что они все продажные твари.

— Выходит, не все.

— А еще кто?

— Студенты есть. Есть такие, кто выступал на собраниях, писал листовки, агитировал, создавал организации, составлял программы.

Потом — вполголоса:

— Ну а сам-то ты как? Против своей страны, против народа...

— Понимаешь, по мясу соскучился.

— Какое еще мясо?

— Шпионам платят иностранной валютой или натурой. Заходишь в специальный магазин для иностранцев, и там все, что твоей душе угодно, и по дешевым ценам. Мяса — навалом.

Под конец, совсем уж окосев от самогона, мой собеседник накинулся на Америку:

— Ты думаешь, мы Америку не расколошматим? Еще как. Жаль, Сталин не послушал Жукова и не объявил ей войну в 45-м!

Очень распространенная эта байка! Она, видно, родилась в пылу окончательного разгрома Германии и торжества отечественного оружия.

— А что вам плохого сделала Америка?

— Да она только и ждет, чтоб завоевать нас!

Я не стал доказывать моему собеседнику, что в 45-м Америка могла это сделать, если б хотела, а теперь не может, если и пожелает.

Сейчас я бы добавил: не вздумайте присоединять Америку к соцлагерю ни мирным, ни военным путем! Если это произойдет, то кто нам поможет хлебом и продуктами в неурожайные годы и даже в урожайные? Где мы будем выпрашивать кредиты на строительство коммунизма? У Эфиопии или у Ким Ир Сена?

Я раньше считал, что труд писателя самый легкий. Придумай, о чем писать, да знай грамоту. А мне и придумывать не надо.

Еще в Барабинске я записал несколько эпизодов и отправил по почте в Москву. Но я увидел, что получается совсем не то. Все расплывалось, тонуло в массе подробностей; я не знал, что надо оставить, что выбросить, меня кружило, как по заколдованному кругу, и я чувствовал, что повторяю одно и то же, и не знал, как этого избежать. Пока писал, изматывал все нервы, и все равно ничего не получалось. Как начать повествование, чем кончить? Какое-то должно быть начало, какое-то «жили-были», но я не мог его найти.

Я приехал в полной неуверенности. Еще раньше Лариса показала присланные мной письма другим посвященным друзьям, и они по-прежнему советовали: «Пиши, как умеешь». Мы с Ларисой посидели над моим текстом; в результате от трех пухлых писем — в общей сложности не меньше тридцати тетрадочных листков — осталось страниц пять. Прежде всего она заставила меня выбросить все декларации против лагерного режима и режима вообще. Оказалось, что моя писанина наполнена именно этим. Я считал, что должен все и всех назвать своими именами, чем резче, тем лучше. «Это совершенно никому не нужно и не интересно,— говорила Лариса.— Ты должен рассказывать конкретные вещи, а выводы пусть делает сам читатель». Я спорил, думая, что она смягчает мои выражения ради моей безопасности. Вначале мне приходилось просто подчиниться: раз она взялась помочь мне, я вынужден с ней считаться. Потом, когда я перечитал то, что было в конце концов оставлено, то почти поверил, что она права. Но все еще внутренне сопротивлялся и, когда писал дальше, норовил в очередной раз высказаться на всю катушку, как мы это делали в стычках с лагерным начальством или с лекторами. «Ты же не для них пишешь»,— убеждала меня Лариса и снова вычеркивала. И лишь когда ее поддержал еще и Б., я окончательно успокоился насчет того, что читатель обойдется и без моих подсказок.

Я вынес с собой из лагеря две странички записей, понятных только мне: на тетрадочной обложке фамилия, или имя, или какая-нибудь оборванная фраза. Когда меня шмонали перед выходом, на эти странички не обратили внимания. Итак, кое-что у меня было записано, но основную информацию я держал в памяти. Интересно: как только это было записано — немного времени прошло, и я уже не помнил деталей, забыл многие имена. Через какой-нибудь год я уже не мог бы восстановить свою книгу по памяти.

Сейчас, когда я вспоминаю эти дни, мне кажется, что они заняли месяцы. А на самом деле — всего две недели. И к концу оказалось, что книга почти закончена: около двухсот двойных тетрадочных стра-

ниц, исписанных моим мелким почерком. Последние страницы загодя, за два-три дня, сложились у меня в голове, как будто кто продиктовал мне их. Их совсем не пришлось исправлять.

Съездил в Александров, уволился с работы. Все равно ведь скоро посадят, а время мне сейчас нужнее всего.

И снова мне на помощь пришли мои московские друзья. Я сумел убедить их, что им теперь ничего другого не остается, как только «помочь мне сесть» хотя бы с толком. К тому же шел октябрь шестьдесят седьмого года, приближалось 50-летие, и можно было ждать большой амнистии. Хотя «параши» об амнистии распространяются по лагерям перед каждым юбилеем и каждый раз не оправдываются, но всегда в сознании присутствует «а вдруг на этот раз...». Если успеть дать книге ход до объявления амнистии — и если она коснется «особо опасных преступлений», к которым, без сомнения, отнесут «Мои показания»,— то, возможно, мое деяние попадет под амнистию. Сам я в это слабо верил.

Но, кажется, этим доводом больше всего убедил моих друзей, что надо торопиться.

Вместе обсудили, как быстрее напечатать рукопись. Т., снимавшие отдельную квартиру, предложили работать у них. Достали три машинки, правда, одна из них сразу сломалась, так что четверо, умевшие печатать, работали, сменяя друг друга. Те, кто не умел печатать, диктовали им, раскладывали экземпляры, правили опечатки. Одна пара с машинкой устроилась на кухне, другая в комнате (а в смежной комнатенке спал ребенок хозяев). Треск машинок стоял на всю квартиру, да, наверное, и в соседних было слышно. Квартира была завалена бумагой, копиркой, готовыми страницами. На кухне постоянно кто-нибудь варил кофе или готовил бутерброды, а в комнате на тахте и раскладушке кто-нибудь спал.

Работали подряд двое суток, а спали по очереди, не различая дня и ночи.

Кое-кто из пришедших помогать только что услышал о книжке и еще не читал ее. Ю. и хозяин квартиры, Т., сразу же уселись за чтение. Т., горячий и склонный к преувеличениям, время от времени вскакивал, бегал по квартире, размахивал руками: «Если бы Галина Борисовна (так он называл госбезопасность, ГБ) знала, что здесь сейчас печатается, дивизией оцепила бы весь квартал!» По ходу чтения он предлагал поправки, и, когда я соглашался без спора, восклицал: «Ну, старик, ты даешь! На все согласен, прямо как Лев Толстой». Ю. тоже предлагал кое-какие исправления. Он не мог оставаться на все время, поэтому прочел лишь несколько глав.

К рассвету третьего дня работа была закончена, и мы с чемоданом, набитым черновиками и готовыми экземплярами, вышли из квартиры. Один экземпляр остался у хозяев — для чтения и сохранения.

Один экземпляр надо было поскорее переправить на Запад, а уж потом можно было дать книге ход на родине. Вскоре нашлась такая возможность. И началось томительное ожидание: хотелось дождаться сигнала, что рукопись дошла благополучно. Куда, в какое издательство, я совершенно не знал и не интересовался этим. Никакого сигнала я так и не получил; из-за этого еще два-три раза (сам или через друзей) передавал экземпляры и так и не знаю, который из них (или все?) добрался до издательства.

О том, что книга издана на Западе, я узнал больше года спустя, уже в лагере.

Отдав друзьям два экземпляра книги на сохранение и три — для Самиздата, один отправив на Запад, один я оставил себе, чтобы отнести в редакцию какого-нибудь журнала. Там при регистрации поставят число, когда сдана рукопись,— а вдруг повезет, и я попаду под амнистию!

Когда я решил еще в лагере обязательно предать огласке положение в политлагерях, то ни на какое снисхождение не рассчитывал и никаких амнистий не учитывал. А вот теперь, когда дело сделано, я начинаю гадать и рассчитывать, надеяться на счастливую звезду в своей судьбе.

Отзывы, которые доходили до меня, были положительными — может, другие просто не доходили? Читатели сравнивали сталинские лагеря с нынешними (многие — на основании своего прежнего опыта) и находили, что система не переменилась. Многие говорили, что само существование в наши дни политлагерей в такой устоявшейся жестокой форме — для них неожиданность и открытие. Говорили также, что книга хорошо написана, что в ней ощущается достоверность показаний свидетеля — к чему я и стремился. Весной 68-го «Мои показания» прочел знакомый мне по Мордовии и недавно освободившийся Л. Он страшно разгорячился, разволновался: «Как же это получилось, что это написал ты, простой парень? Почему никто из нас, интеллигентов, не взялся?» Книгу он хвалил.

До самого моего ареста в июле 68-го года до меня дошло два критических замечания. Один известный ученый сказал, что, возможно, книга и правдива, но лагерь и тюрьма в ней выглядят слишком страшными. «Люди будут бояться ареста»,— сказал он.

И еще мне передали мнение А. И. Солженицына, которому нынешние заключенные, как я о них рассказал, показались чересчур уж смелыми, слишком нарывающимися на карцер и прочие наказания: «Не верится, чтобы так было на самом деле».

Но это было потом. Пока же «Мои показания» прочел известный литератор, К. Книга ему очень понравилась.

— Что вы хотите с ней делать дальше?

Я сказал, что передал ее на Запад, а сейчас хочу отдать в какой-нибудь журнал потому-то и потому-то. Тогда он сам договорился с редакцией одного из журналов, что они примут рукопись, но постараются хранить ее так, чтобы она не попалась на глаза никому из заведомых стукачей.

Прошло не больше недели, и мне передали, что меня просят поскорее зайти в редакцию и забрать рукопись. Оказывается, за это время ее прочли несколько сотрудников редакции. Они высоко оценили книгу и, как мне передали, «мужество автора»; «автор решился пожертвовать собой, буквально жизнью, но зачем тогда он тянет за собой и других? В конце концов пострадает наш журнал». Конечно, я сразу же забрал рукопись — но никак не мог взять в толк, почему может пострадать журнал, принявший неизвестную рукопись у неизвестного автора и НЕ напечатавший ее. Мне потом объяснили, что по каким-то не то писаным, не то неписаным законам редакция обязана крамольные, вроде моей, рукописи передавать в КГБ. Они же, порядочные сотрудники редакции, не хотели быть доносчиками; но и боялись оставить рукопись у себя, они даже не зарегистрировали ее. «Мы с большим волнением читали ваше повествование»,— сказали мне, а на прощание угостили яблоком.

С рукописью под мышкой и с яблоком в руке я прямо из этой редакции направился в редакцию «Москвы» — мне сказали, что здесь никто не смутится необходимостью доноса и, значит, я никого не подведу. И никто меня им не рекомендует, я действительно иду сам по себе. С этого дня — со второго ноября — завертится круговерть.

Вот и Арбат. Редакция «Москвы» — по правой стороне от метро.

— Почему экземпляр такой плохой? — недовольно, но не враждебно спрашивает секретарша, записывая в карточку мои данные. Я что-то бурчу в ответ. Им действительно достался самый последний экземпляр, а не тот, что я только что забрал из другой редакции. Ничего, ничего, прочтут. Меньше всего меня заботили удобства тех, к кому отсюда попадет моя книга.

— Это что, роман, повесть?

А я не знаю. Ну, ладно, пусть будет повесть.

— Художественная или документальная?

— Документальная, документальная.

Секретарша записала все сведения и сунула мою рукопись в стол — не прочитав ни строчки даже на первой странице!

— Приходите за ответом что-нибудь через месяц. Или мы можем прислать ответ по почте.

Где будет рукопись через месяц? И где буду я сам?

Всех друзей беспокоила моя участь. Вначале мне советовали публиковать книгу на Западе под псевдонимом и не соваться с ней ни в какие редакции. Сколько споров было у нас на эту тему! Уговаривали меня коллективно и поодиночке, в доме и специально выводя погулять по ночной Москве. Все предсказывали: этого тебе не простят. Предсказывали все виды расправы: от закрытого суда («а в лагере прикончат») до «случайного» убийства в драке или несчастного случая. Между прочим, это показывает, какова среди населения, в частности среди интеллигенции, репутация КГБ, какую славу создала себе эта организация к 67 году.

Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной смелости, а по трезвому расчету: в книге говорится о конкретных местах, людях, фактах, об определенном времени, по всему этому заинтересованные лица легко установят автора. Не говоря уже о том, что какие ж это «показания» — под псевдонимом!

После того, как я отдал книгу в «Москву» и пришел Указ об амнистии — как и следовало ожидать, бесполезной для политических,— друзья и даже малознакомые люди стали убеждать меня скрыться, так сказать, перейти на нелегальное положение.

Идея капитально скрыться меня не привлекла. Во-первых, если станут искать, то — я знаю, как это бывает,— объявят всесоюзный розыск и, вероятнее всего, рано или поздно найдут. А тогда любой «укромный уголок» ничем не лучше моего Александрова. Во-вторых, я написал свидетельские показания и хочу сохранить за собой возможность подтвердить их лично, вот он я, тот самый Анатолий Марченко,— кто говорит, что «Мои показания» — фальшивка? Другое дело, надо постараться протянуть на свободе подольше, пусть книга будет опубликована, получит известность, а власти успеют подумать, а то ведь у них в первую очередь срабатывает хватательный рефлекс.

Итак, я не поехал в Александров, а в Москве попытался устроиться уединенно, что называется, не мельтешить в глазах. Дело, правда, бездоходное, я для себя нашел: решил без спешки еще раз перепечатать свою книгу, на ходу научаясь машинописи. Первые экземпляры все разошлись, а мой собственный, оставленный для себя, трагически погиб: я дал его почитать одному знакомому, очень хорошему человеку, сделавшему мне много добра, а он во время какого-то переполоха (как выяснилось, напрасного) сжег на всякий случай рукопись.

Вот теперь времени у меня хватало. Друзья снабжали меня книгами. Кроме того, я стал практически готовиться к будущему аресту и суду. Сочинил для суда свое последнее слово и выучил его наизусть, а текст отдал спрятать: ведь на суд никого не пустят, так чтобы после стало известно, что я там скажу.

До десятых чисел декабря я прожил спокойно. То ли меня еще не искали, то ли не могли найти (маловероятно: ведь я не прятался), а может, и следили, но я этого не замечал.

Лариса с Саней уехали в Мордовию на очередное свидание, а я напросился остаться в их квартире присмотреть за собакой.

Числа 10—15 сижу я в пустой квартире и тюкаю потихоньку на машинке. Мне показалось, что кто-то скребется в окно (работал-то я без слухового аппарата, поэтому скорее угадал, а не услышал). Я резко отдернул штору и увидел за окном молодого человека, упитанного, прилизанного, торжественно одетого, как с дипломатического приема. Поодаль за деревом прятался второй, в отличие от первого одетый небрежно и даже неряшливо. По губам его читалось:

— Откройте дверь!

— Будете через окно входить?

— Открывайте! Открывайте!

— Хозяев нет дома. Без них я никого не пущу. А тех, кто ломится в окно, тем более.

— Откройте дверь!

— Еще чего! Кто вы такой?

— Говорят вам, откройте!

— Кто вы?

Он медленно, как бы нехотя, лезет во внутренний карман своего черного пиджака. Достал красную книжечку и показывает мне ее лицевой стороной. И я читаю золотом на красном фоне под золотым гербом: Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.

«Ну, вот и началось!» — мелькнуло у меня.

Я ждал встречи с этой организацией. Вот она.

А гебешник все еще держит свои корочки перед стеклом, очевидно, рассчитывая ими воздействовать на меня в нужном направлении. Я чуть приоткрываю окно, подаюсь ближе к нему и говорю быстро:

— А теперь вали отсюда вместе со своими корочками!

И мгновенно захлопываю окно, поворачивая ручку замка. Гебешник запоздало ломанулся в окно рукой. По губам снова читаю:

— Откройте! Откройте, вам говорят!

Я быстро задергиваю штору и начинаю лихорадочно собирать в кучу раскиданные по всей комнате листы бумаги и копирку. Решаю все это жечь в уборной. Бросив кучу бумаги в унитаз, бегу на кухню и мечусь по ней в поисках спичек. Спичек нет — вот так номер!

Забегаю снова в туалет и под беспрерывный трезвон начинаю рвать бумажные листы на четвертинки. Потом спускаю воду, и она безвозвратно уносит «улики». Снова рву, снова нажимаю на рычаг для спуска воды, но вода не идет: нужно время, пока наполнится бачок! Таким способом мне и за час не управиться. Они не станут ждать, выломают дверь.

В этой спешке пытаюсь соображать: так, меня сейчас возьмут, и об этом никто не узнает. Притом возьмут все раскиданные по комнате мои бумаги — к тому же у меня была книга Джиласа «Новый класс» и произведения Терца и Аржака. Всю эту «крамолу» ГБ радостно припишет Ларисе, хозяйке квартиры,— на нее уже и так точат зубы. Моя версия: меня оставили присмотреть за собакой в квартире, а чем я собирался там заниматься, об этом хозяевам не говорил.

Я выскакиваю из уборной, бросив там кипу листов машинописи. Накидываю пальто, всовываю ноги в туфли — зашнуровывать некогда. Хватаю паспорт, а в нем последние мои пятнадцать рубликов, и кидаюсь к окну. Осторожно выглядываю из-за шторы: «интеллигента» нет, зато поодаль маячит второй — неряшливо одетый, с бандитской физиономией. Стоит, черт, на том же месте, караулит окно.

Иду в другую комнату, открываю осторожно окно. Оно выходит в закрытый двор, огороженный высокой, метра в два, железной сеткой. Выглядываю — ни души кругом, как обычно. Выскакиваю через окно и бегу во весь дух вдоль дома к проспекту. Добегаю до забора-сетки и мигом оказываюсь наверху. Впервые на мгновение оглянувшись, я вижу, как за забором в другом конце двора мечется гебешник, тот, с бандитской рожей.

Я спрыгнул с забора и кинулся к троллейбусной остановке. Едва успел вскочить в отходящий троллейбус, и за моей спиной закрылась дверь. Я еще раз увидел, как из арки выскакивают оба гебешника и нервно мечутся среди прохожих.

Проехав одну остановку, я вышел и забежал в первый же двор. Дворами пробрался к рынку: там полно народу и полно будок с телефонами-автоматами. Мне нужно успеть сообщить хоть кому-нибудь из своих о случившемся. Слава Богу, номер сразу ответил.

Теперь, когда знакомые предупреждены и смогут все рассказать Ларисе, может быть, следует вернуться в квартиру и посмотреть, что там происходит.

— Известно, что происходит,— шмон! И тебе там делать нечего,— решительно запротестовали друзья.— Еще чего, самому идти! Пусть поищут, им за это деньги платят.

На квартиру Ларисы поехала Ира Белогородская со своим приятелем. Всем на удивление, они там застали все так, как я оставил: открытую пишущую машинку, разбросанные по комнатам бумаги, клочки и целые машинописные листы, сваленные грудой в уборной, незапертое окно. И посреди этого хаоса, как бы не видя его, невозмутимо расхаживал сосед. Никто посторонний, как видно, в квартире не побывал. Почему? Это одна из загадок поведения ГБ, которую нам не разгадать. Зачем они приходили? Кто им был нужен — Лариса или я? Все равно надо предупредить Ларису, раньше чем она вернется домой.

И я решил поехать вслед за ней, в Мордовию, встретить на обратном пути в Потьме или в Явасе. Меня отговаривали. Но я так хотел увидеть ее еще раз перед тем, как меня посадят...

Я не мог никому рационально доказать необходимость своей поездки, и друзья свалили все на мое хохлацкое упрямство: «Марченко не переубедишь». Ну, раз такое дело, они взялись помогать мне.

Прежде всего надо было надеть на меня более приличные штаны: я сбежал через окно в чем был, то есть в старых сатиновых шароварах с большой прорехой на колене. Найти лишние целые брюки у наших знакомых — проблема. Однако нашли, правда, несколько большего размера, чем нужно.

Чтобы я не мельтешил на вокзале, приятельница отправила за билетом своего сына — студента. Он купил мне билет со скидкой и отдал свой студенческий билет. Он знал, что, если меня схватят с его студбилетом, его выгонят с последнего курса института. Я же, к моему стыду, понял это только на другой день, плотно окруженный в вагоне кучей гебешников, которые сопровождали меня даже в вагонную уборную. С трудом улизнув от них и запершись в уборной, я рвал студбилет на мельчайшие клочки и постепенно отправлял их через унитаз на волю. В дверь колотили мои «охранители». Благополучно разделавшись с чужим документом, я думал: «А что, если бы мне это не удалось?»

Конечно, вся эта моя поездка в Мордовию была чистой авантюрой и кончилась бесславно. Меня же в Потьме каждая собака (в форме) знает. Первым встречным оказался кум 11-го лагеря Афанасьев. Он узнал меня издали, несмотря на мой «штатский» вид и маскарадные чаплинские штаны. Ждали меня здесь, что ли? Сейчас же Афанасьев побежал в Управление, и вскоре меня догнали начальник КГБ Дубровлага майор Постников и уполномоченный КГБ 11-го лагпункта капитан Круть. Разговор короткий: «Убирайся с первым же поездом отсюда, здесь тебе делать нечего». Я для виду попрепирался:

— А если не уеду?

— Тогда мы вас, Марченко, посадим на 15 суток за хулиганство,— спокойно объясняет Постников.— А пока будете сидеть, подберем что-нибудь более подходящее. Что-нибудь от трех до семи...

Действительно, раз попался им на глаза, то здесь делать нечего, каждый шаг проследят. Остается ждать Ларису с Саней на Потьме.

Но на Потьме рядом со мной откуда-то вынырнул Афанасьев:

— Бери, Марченко, билет до Москвы и уматывай к ... матери!

Я огрызнулся:

— Вали от меня! Ты мне здесь никто, и я тебе тоже...

— А ты помни, что тебе Постников обещал!

Гляжу, а он не один — с ним человек шесть. Взяли меня в кольцо плотно, сопроводили к кассе, оттуда (без билета — билетов не было) таким же манером к подошедшему поезду:

— Не вздумай остаться! И без билета доедешь!

И втолкнули с толпой безбилетников в вагон. Может, им надо только, чтоб я уехал? Но когда поезд отошел от Потьмы, я обнаружил, что еду в той же компании. Они сменяли друг друга, одни (например, сам Афанасьев) сходили на станции, другие являлись им на смену, перенимая меня с рук на руки. В Рязани я попытался смыться, выскочив из вагона перед самым отправлением. Не тут-то было: сопровождающие — а их оказалось больше, чем я думал,— выскочили вслед за мной сразу из обоих тамбуров, навалились на меня, скрутили и втолкнули обратно в уже отъезжающий поезд. Я орал на весь перрон:

— Смотрите, это КГБ! Смотрите, как КГБ хватает человека! Я еду из мордовских политлагерей!..

Люди останавливались, толпились, но не вмешивались. Сами же гебешники считали нужным оправдываться:

— Никакое не КГБ, обыкновенные пассажиры. Вот водительские права, я шофер...

— Так чего же вы меня хватаете?!

— Успокойтесь, товарищ, вы душевнобольной, мы должны доставить вас в больницу.

Так, значит, арест? Странный арест: еду вроде как сам по себе, но не по своей воле и под охраной.

Потом я попытался использовать свое необычное для арестанта положение — незаметно на верхней полке написал несколько записок Ларисе и потихоньку перебросил их безусловно посторонним пассажирам. Я видел, как они подобрали эти записки; но, как потом выяснилось, ни один не доставил их по адресу.

Вот таким образом я скоротал время до Москвы.

На перроне около вагона меня встретили несколько человек в штатском и милицейских, и мордовский эскорт передал меня им буквально в руки. Московский конвой подхватил меня под руки прямо со ступенек и поволок по перрону, тихо приговаривая:

— Спокойно, спокойно, не сопротивляться...

А я опять орал изо всех сил про КГБ и про мордовские политлагеря. Тут уж мне досталось и кулаками под бока, и пинками по ногам.

Я хочу объяснить: я орал не со страху и даже не от избытка эмоций, а вполне сознательно. Как-то в компании шла речь о том, что при столкновении с властями интеллигент ведет себя слишком интеллигентно. Его подхватывают с двух сторон под руки и тихо-тихо говорят: «Пройдемте, нам надо побеседовать». Или: «Следуйте за нами спокойно». И он спокойно следует. Даже не спросит, кто, зачем, по какому праву. Тем более не упрется, не подымет крик: ему это неудобно, неловко.

Зато очень удобно КГБ. Схватят человека на улице — никто не обернется, никто ничего не заметит, никакого лишнего шума и беспокойства. Черт их возьми, пусть будет неловко мне, зато и им тоже! Я не интеллигент, как-нибудь переживу эту неловкость.

Пиная ногами, они протащили меня через весь вокзал, поволокли куда-то за угол, а там втащили на второй этаж, втолкнули в какой-то пустой кабинет и усадили на стул, приставив по бокам двух типов в штатском. Здесь я уже, конечно, не орал, поскольку аудитории не было.

Сижу, жду; вот сейчас предъявят мне постановление об аресте и повезут в тюрьму. Вдруг заходит еще какой-то тип в штатском и вежливо говорит мне:

— Анатолий Тихонович, сейчас еще рано, никого из начальства нет («Когда это для тюрьмы было „рано"?»). Побеседовать с вами некому («Какие беседы? Шмон — и в воронок!»). Так что сейчас можете быть свободны, а к нам зайдите, пожалуйста, часам к десяти.

Не сон ли это?! Я был настолько ошарашен, что сдуру меня понесло:

— Никуда я не явлюсь ни утром, ни вечером! Схватили, везли-везли неизвестно зачем, беседы какие-то...

Ну, опомнился, конечно, выскочил из кабинета, кинулся на улицу, а все не верю, что отпустили. Что все это значит? Может, просто играют, как кошка с мышкой, вот сейчас снова схватят: «Эй, Марченко, ты куда же?!» Может, какие формальности не довершили, а довершат — догонят, и за решетку.

Я кинулся к телефону-автомату: поскорей позвонить кому-нибудь, пока я по ошибке на свободе. Позвонил Н. П., поднял ее с постели. Она обрадовалась:

— Бери такси и поскорее ко мне.

И вот я уже мчусь по пустынной рассветной Москве и все еще не верю, что я на свободе.

Одна из больших удач в моей жизни после Мордовии и до сего дня — это знакомство и дружба с Н. П. Женщина необыкновенной доброты, с высоким понятием о человеческом долге, она постоянно помогает всем, кто нуждается в помощи, попадает в поле ее зрения, даже сама разыскивает таких людей. Что мне особенно нравится, Н. П. делает это не напоказ, незаметно, по потребности своей души. Ее подопечные — не только политзаключенные, политссыльные и их семьи. Она помогает никому не известным старушкам, молодым людям — своим дальним родственникам. И ее помощь никогда не тяготит, не создает у вас ощущения неполноценности. У Н. П. с ее подопечными отношения на равных, дружеские, не формальные. Ко мне она всегда относилась как к родному, как к младшему брату, и у нее я чувствовал себя не как в убежище, а как в родном доме.

Теперь я спрашиваю себя: если бы у меня и у всех окружающих не было абсолютной уверенности в том, что власти непременно расправятся со мной за книгу, если бы я пусть не вполне поверил, но хоть надеялся, что меня не ждет со дня на день тюрьма, как бы я вел себя в этом случае? Даже в том состоянии, в каком я был тогда, я строил планы своего образования и самообразования, но они мне казались маниловскими проектами; у меня не хватило самообладания начать их реализовывать. Другое дело, если бы я не думал, что мое время на свободе отмерено. Может, я постарался бы устроиться в том же Александрове или еще где-нибудь вблизи Москвы более основательно, найти более удобное жилье, лучшую работу...

Но стоило ли укореняться в «вольной» жизни, раз она мне заказана? И я жил, как на вокзале в ожидании поезда.

За прошедшие десять лет я привык к нестабильности своего существования, обзавелся семьей, и теперь где бы и на какой срок мы ни устраивались, как бы ни было неопределенно наше ближайшее будущее, мы примащиваемся так, будто здесь будем жить до конца дней, как будто и детям, и внукам оставим гнездо: приспосабливаем по себе жилье, сколачиваем мебель, кладем печь, сажаем деревья, покупаем книги, обзаводимся утварью. За десять лет трижды начинали все заново, и через несколько месяцев, даст Бог, примемся в четвертый раз — после ссылки. Живем, как жили русские крестьяне под татаро-монгольским игом.

И еще я себя спрашиваю: может быть, все мы сильно преувеличивали грозившую мне опасность? То есть, наверное, так и есть. Ведь за книгу меня так и не посадили, и вообще посадили только через семь месяцев.

Действительность оказалась значительно мягче, чем мы ожидали: и в лагере, и на воле все думали, что того, кто на весь мир расскажет о лагерях, власти сотрут в порошок, к этому я и готовился. А мне дали всего один год. Правда, в лагере добавили еще два; но три года лагеря почти не наказание по нашим меркам, а так, отеческое внушение. У нас до сих пор жива поговорка: «Не ври, что десятку ни за что отсидел, за „ни за что" пять дают».

Если бы после «Моих показаний» я не проявлял никакой общественной активности, может, меня и вовсе не посадили бы. Ведь непосредственной причиной ареста было мое письмо о Чехословакии в июле 68-го года.

Но могло быть и наоборот: не был бы я в 68-м году, как говорится, на виду, оборвались бы мои связи с москвичами — и безвестного автора разоблачительной книги упекли бы так, что и концов не сыскалось бы.

Что гадать! Из этой истории я для себя сделал одно полезное умозаключение: в нашей стране, где постоянно и закономерно говорится одно, а подразумевается другое, я не должен давать формальных посторонних поводов к уголовному преследованию. Не то чтоб это гарантировало мне свободу, но все же уменьшится фактор риска. К сожалению, выполнить это правило у нас крайне трудно, почти невозможно. Почти каждый наш гражданин является нарушителем чего-нибудь: паспортных правил, закона о тунеядстве, бродяжничестве и попрошайничестве или еще какого-нибудь административного установления, внесенного в Уголовный кодекс. Конечно, никакой милиции не вздумается сажать в тюрьму человека, приехавшего в гости к родителям и не прописавшегося; или старушку из деревни, которая у детей в городе без прописки нянчит внука; или подмосковных жителей,

регулярно два выходных в неделю проводящих у друзей в Москве; или тех, кто прописан в одном городке, а работает в другом, соседнем. Но все эти люди — нарушители закона о прописке, и в случае надобности их можно оштрафовать, насильно выселить и даже засадить в лагерь. А обстоятельства у любого человека могут сложиться так, что ему легче умереть, чем не нарушить этот закон.

Но зимой 67—68-го года я и не старался соблюдать дурацкие формальности, считая, что моя судьба и без того решена однозначно.

Сейчас для определенного круга людей подобные детективные истории — слежка, преследование на машинах, дежурство топтунов под окнами и у дверей подъездов и тому подобное — стали деталями быта, не только привычными, но и надоевшими. В конце 67-го года лишь немногие сталкивались с КГБ на допросах, а в будничной жизни недреманное око над собой еще не ощущал, пожалуй, никто.— Я имею в виду тех, кто оставался на свободе и над кем не висела угроза ареста в ближайшие дни. Зато все знали о стукачах, топтунах, подслушивании, прослушивании и прочей «технике госбезопасности», и всевидящее око и всеслышащие уши казались явлением мистическим, потусторонним и потому особенно грозным.

И еще все знали по слишком недавнему историческому опыту, что контакты с человеком, удостоенным внимания КГБ, опасны, как чума. Всего двадцать—тридцать лет назад эта зараза косила многоквартирные дома, дружеские компании, выкашивала до одного разветвленные семьи. И сколько дружб и семей распалось тогда из-за страха оказаться вблизи зачумленного!

Что произошло с советским обществом в середине 60-х годов? Никто из друзей (почти никто) не откачнулся от семей арестованных Синявского и Даниэля; незнакомые люди, не таясь, предлагали им помощь. Лагерные цензоры не управлялись с работой: письма, книги с авторскими автографами шли от знакомых, малознакомых и совсем чужих людей; бывало, Даниэль получал по шесть — десять писем в день.

После ареста Галанскова, Гинзбурга, Лашковой и Добровольского то же повторилось с их семьями. Не помню, чтобы когда-нибудь, зайдя к Людмиле Ильиничне, матери Гинзбурга, я застал ее одну: всегда у нее было двое-трое знакомых сына или тех, кто пришел высказать матери свое сочувствие и предложить помощь.

(Впрочем, однажды мы с Ларисой пришли к ней, когда она была не то чтобы одна, наоборот, в большой компании, но в относительном одиночестве. Это было летом 67-го года. Мы собрались днем к ней в гости и позвонили, чтобы предупредить о визите. Трубку взяла соседка:

— Людмила Ильинична подойти не может.

— Она что, нездорова?

— Нет, здорова,— как-то неуверенно отвечает соседка.

— Ее дома нет?

— Дома.

— У нее обыск?

— Да.

И трубку повесили.

Мы, не раздумывая, сразу поехали к ней. Да еще купили по дороге огромный арбуз, с ним и явились.

Нас впустили, проверили документы, записали фамилии, обыскали сумку Ларисы.

— Что вы, разве на обыск идут с самиздатом? — смеется она.

— Как вы узнали, что у меня обыск? — удивляется Людмила Ильинична.

— А у нас своя агентура. А весь самиздат и даже атомную бомбу замаскировали в арбузе.

Пришлось гебешникам вскрыть и раскроить арбуз — и мы его тут же съели.

Через пару дней все знакомые от старушки знали, что «Лара с Толей нарочно пришли на обыск». Потом нас обвиняли, что мы зародили традицию: как только кто узнает, что у кого-то обыск, так сразу, позвонив знакомым, отправляется туда — поддержать хозяев своим присутствием.)

В рассказанной здесь истории друзья наперебой предлагали мне помощь и убежище; парень-студент отдал свой студбилет; совершенно не знавшие меня люди — Ю. П., подруга Н. П., приятель Ирины — молодой научный работник — составили как бы мою охрану, не дали КГБ столкнуться с жертвой один на один, без свидетелей.

И снова я поражался московской интеллигенции — ее смелости, ее духовному сопротивлению деятельности властей. Мне, откровенно преследуемому всемогущим КГБ, предлагали жилье; на глазах у агентов и под их фотоаппаратами сопровождали меня, чтобы не оставлять один на один со шпиками и не допустить провокации; а уж от общения со мной не отказался ни один даже из малознакомых людей, хотя я всех предупреждал о слежке. Я не искал общения, дружбы или даже помощи, но и не мог уклониться от этого. Люди, наверное, считали своим долгом поддержать меня. И они считали мужественным мой поступок, не замечая собственной отваги!

Некоторых из таких вот случайно оказавшихся рядом людей мне не пришлось больше видеть, а некоторые, наоборот, втягивались в круг тех, кто активно заявлял о своем «инакомыслии». Другие же под давлением или сами собой отходили от этого круга; но, по-моему, это не значит, что они переменили свои взгляды и стали разделять предписанную идеологию.

С удивлением и досадой прочел я в мемуарах А. И. Солженицына об «открытии», которое он сделал в 74-м году: когда его арестовали и выслали, нашлись люди, которые самоотверженно помогали его жене и детям. Весь тон этого рассказа таков, будто вот как власти просчитались, вот какую неожиданную реакцию получили в ответ на расправу с писателем. А на самом деле этому общественному явлению — открытому сопротивлению и взаимопомощи — к 74-му году было уже лет десять или около того. Мог ли Александр Исаевич не знать этого? Мог ли писатель не заметить реакции общества на процесс Синявского и Даниэля? Не задуматься и об их деле, о его глубокой сути? Имена Синявского и Даниэля появляются в «Теленке» только как временные ориентиры, а ведь их работа, их процесс составили целую эпоху русского общественного развития.

Не могу поверить, что Солженицын этого не знает и не помнит. Но в своих *литературных* мемуарах он не нашел этому места. Как будто в пустыне жил, где были только Дуб — советская власть, да он сам, одинокий и отважный Теленок.

Уклонившись от встречи с анонимным представителем КГБ, но сопровождаемый до самого Александрова его соглядатаями, я съездил к тете Нюре, уплатил ей еще вперед за два месяца и, вернувшись в Москву, постарался исчезнуть, скрыться с глаз. И это мне удалось.

Но сколько можно скрываться? И сколько можно обременять добрых стариков своим присутствием? Я вышел из «подполья» — и через несколько дней меня снова схватили на улице и привезли в какое-то отделение милиции. В кабинете меня уже ждал человек. Маскироваться он не стал:

— Я работник госбезопасности Семенов. Никаких вопросов не задавайте, говорить буду я. О вас, Марченко, мы все знаем: и о вашей книге «Мои показания», и о том, что вы передали ее за границу и распространяете по стране. Никто не собирается вас за это преследовать. Поймите это не как нашу слабость, а как нашу гуманность. Езжайте в Александров и живите, работайте, как все советские люди. Вы никому не нужны!..

Что за сон? Госбезопасность проявляет гуманизм? Такого не бывало и не может быть, я не верю этому. Какая-то своя у них цель, непонятно — какая (я и сейчас ломаю над этим голову). Вот и в голосе Семенова слышны стальные нотки:

— Если вы не уедете из Москвы, вас будут судить не за книгу, а за нарушение паспортных правил. Живите как все. Прекратите поливать грязью родину и советский строй. Если вы не перестанете клеветать, вас предупреждают, вы будете высланы из страны.

— В Мордовию, что ли?

— В любую страну за границу. Вы же когда-то сами хотели бежать,— язвит Семенов. Видимо, уже сверх программы, от себя добавляет: — Герой! Да вы просто трус, прячетесь от наших сотрудников, убегаете в окно. Сами все кричат: как при Сталине, как при Сталине. Что от вас осталось бы — при Сталине? Кто с вами стал бы разговаривать?!

На этот раз у меня снова потребовали подписку о выезде из Москвы. И я уехал в Александров.

Кто знает, если бы я выполнил распоряжение Семенова и в дальнейшем «жил как все» — может, меня действительно не тронули бы? Во всяком случае, предсказание Семенова исполнилось, и в августе 68-го меня судили не за книгу и не за последующие выступления, а «за нарушение паспортных правил».

Судили других — за чтение книги «Мои показания».

В газеты: «Руде право», «Литерарни листы», «Праце», «Юманите», «Унита», «Морнинг стар», «Известия»; редакции радио «Би-би-си»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

На только что закончившейся сессии Верховного Совета РСФСР все депутаты останавливались на одном вопросе: о событиях в Чехословакии. Депутаты единодушно высказались в поддержку Пленума ЦК КПСС по этому вопросу, одобрили так же единодушно Варшавское письмо пяти компартий в адрес ЦК КПЧ. Они одобрили и поддержали всю политику партии и правительства по этому вопросу. Если эту политику одобряют коммунисты как образец настоящей марксистско-ленинской политики партии в отношениях между братскими компартиями, то это дело коммунистов, дело их партийной совести.

Но здесь, на сессии, эту политику единодушно одобрили депутаты Верховного Совета РСФСР, которые выражают мнение избирателей, то есть населения, подавляющая часть которого (в том числе и я) не коммунисты.

Не успели еще «Известия» с сообщениями о работе сессии дойти до всего населения, как уже в следующих номерах началась кампания в поддержку решений, принятых сессией, со стороны «всего населения», «всех трудящихся». Я имею на этот счет собственное мнение и хочу воспользоваться правом, гарантированным Конституцией, высказать свое мнение и отношение к этому вопросу.

Я внимательно (насколько это возможно в нашей стране) слежу за событиями в Чехословакии и не могу спокойно и равнодушно относиться к той реакции, которую вызывают эти события в нашей печати. На протяжении полугода наши газеты стремятся дезинформировать общественное мнение нашей страны и в то же время дезинформировать мировое общественное мнение об отношении нашего народа к этим событиям. Позицию партийного руководства газеты представляют как позицию всего населения — даже единодушную. Стоило только Брежневу навесить на современное развитие Чехословакии ярлыки «происки империализма», «угроза социализму», «наступление антисоциалистических элементов» и т. п.— и тут же вся пресса, все резолюции дружным хором подхватили эти же выражения, хотя наш народ сегодня, как и полгода назад, ничего, по существу, не знает о настоящем положении дел в Чехословакии. Письма трудящихся в газеты и резолюции массовых митингов — лишь повторение готовых, данных «сверху» формул, а не выражение самостоятельного мнения, основанного на знании конкретных фактов. И вслед за партийным руководством послушные голоса повторяют: «Решительная борьба за сохранение социалистического строя в Чехословакии — это задача не только чехословацких коммунистов, но и наша общая задача»; «Я поддерживаю выводы Пленума о необходимости борьбы за дело социализма в Чехословакии» и т. п. («Известия» № 168) <...>

<...> В этом своем письме я хочу не только высказать свое собственное отношение к событиям, отличающееся от «единодушной» поддержки решений Пленума ЦК КПСС. Газетная кампания последней недели вызывает у меня опасения — не является ли она подготовкой к интервенции под любым предлогом, который подвернется или будет создан искусственно.

Авторам писем, участникам митингов и собраний в поддержку политики ЦК КПСС мне хотелось бы напомнить, что все так называемые «ошибки» и «перегибы» в истории нашей страны происходили под бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, под клики единодушного одобрения наших высокосознательных граждан. Послушание, как выяснилось, не самая ценная гражданская добродетель.

И еще мне хотелось бы напомнить о более древних исторических событиях: как доблестная русская армия, освободив народы Европы от Наполеона, столь же доблестно утопила в крови польское восстание. Тогда русский герой войны 1812 г. Давыдов больше гордился своими подвигами в расправе над польскими патриотами, чем своими подвигами в Отечественной войне.

Мне стыдно за свою страну, которая снова выступает в позорной роли жандарма Европы.

Мне было бы стыдно и за мой народ, если бы я верил, что он действительно единодушно поддерживает политику ЦК КПСС и правительства по отношению к Чехословакии. Но я уверен, что на самом деле это не так, что мое письмо — не единственное, только такие письма не публикуются у нас. Единодушие наших граждан и в этом случае фикция, создаваемая искусственно, путем нарушения той самой свободы слова, которая осуществляется в ЧССР.

Но если бы я оказался даже один с этим своим мнением, я и тогда не отказался бы от него. Потому что мне его подсказала моя совесть. А совесть, по-моему, надежнее, чем постоянно испытывающая перегибы линия ЦК и чем решения различных сессий, принимаемые в соответствии с колебаниями этой генеральной линии.

Прошу вас принять мое уважение и сочувствие процессу демократизации в вашей стране.

СССР, г. Александров Владимирской обл.,
ул. Новинская, д. 27. Марченко А. Т. *22 июля 1968*

21 августа меня вызывают из камеры на суд. Сначала ведут в тюремную парикмахерскую: перед судом и присутствующими в зале ты должен предстать в приличном виде.

Попробовал я побриться лезвием, которое мне дал парикмахер-зэк, но от первого же прикосновения к щетине чуть не взвыл от боли. Этим лезвием, поди, уже не один десяток побрили таких, как я. Попросил я другое лезвие, но на меня так посмотрели, будто я попросил гранату.

— Ведите меня обратно,— сказал я надзирателю.

И тот с равнодушным видом препроводил меня обратно в бокс. Скоро ко мне втиснули еще одного: молоденького грузина. Он был здорово исполосован бритьем и то и дело слюнявил носовой платок, обтирая с лица кровь на многочисленных порезах.

Мой сосед оказался очень разговорчивым человеком. Он с одинаковой скоростью и интересом расспрашивал меня и рассказывал о себе. Я ему рассказал коротко только то, что говорилось в обвинительном заключении. До него никак не могло дойти, за что же меня собираются судить, если я был прописан и даже работал.

— ... какая-то,— наконец проговорил он, сомневаясь в искренности моего рассказа,— если ты только не загибаешь. Как тебя можно судить? С суда домой пойдешь.

Этот парень подробно рассказал мне свое «дело». Он полгода как освободился из лагеря. Имел не то два, не то три года за карманную кражу и освободился по половине срока. После освобождения поехал в Грузию к матери. Там он и прописываться не стал, а только погостил пару недель и уехал в Москву. Здесь он жил у какой-то женщины, даже и не пытаясь прописаться и устроиться на работу. Жил на заработок по своей профессии: где выгрузит чужой карман, а где залезет в дамскую сумочку. Однажды его поймали с поличным: в магазине он залез к женщине в сумочку, дружинники и милиционер повели его в милицию, он по дороге сбежал. Но дело на него завели и описали наружность с особыми приметами. Потом он попался вторично на карманной краже, и на этот раз ему не удалось убежать. И вот сейчас он тоже едет на суд. В обвинительном заключении ему вменялись в вину две кражи. То же, что он жил полгода вообще без всякой прописки, никогда нигде не работал, ему в вину не вменялось, об этом только упоминалось в характеристике.

Итак, мне он предсказывал освобождение из зала суда.

Статья, по которой его будут судить, предусматривает до трех лет лишения свободы, и он говорил мечтательно:

— Если дадут год, целый день буду на руках по камере ходить!

В суде мне дали короткое, в несколько минут, свидание с моим адвокатом Диной Исааковной Каминской, а потом повели в зал. В коридоре полно народу, я узнаю друзей и знакомых: Павел Литвинов, Боря Шрагин, Ира, Лариса, Н. П., К. Б., К. И. ...Шныряют меж ними и те, кто пришел сюда по службе: топтуны и агенты КГБ. Они пришли не просто посмотреть на меня или послушать суд. Они пришли хвостами за многими из моих друзей.

Хотя меня вели очень быстро, я успел заметить необычное возбуждение моих знакомых. Несколько человек демонстративно держали в руках газеты. Но я не понял этого знака, я сам был напряжен перед предстоящим процессом.

Необычным было и то, что всю публику — «своих» вперемежку с «чужими» — впустили в зал суда. Судебное заседание по такому пустяковому делу, как мое «нарушение паспортных правил», тянулось с десяти утра часов до шести вечера. Мне казалось, что его затягивают нарочно,— вероятно, так оно и было, может, хотели задержать самых активных людей на весь этот день, 21 августа 1968 года.

Я не знал, в чем дело, но чувствовал в зале наэлектризованность.

Спектакль начался действительно театрально, как на сцене: из зала летит и падает почти мне в руки маленький букет цветов. Оба милиционера-конвоира кидаются на букет, стараются вырвать его, я не отдаю — жалко. Судья Романов призывает публику к порядку и меня тоже, требует, чтобы я отдал цветы, но я крепко сжимаю их и не могу выпустить. Только когда я увидел рассерженное лицо Дины Исааковны и понял, что она мной недовольна, я разжал руку. Милиционер схватил букет, бросил его на пол и затоптал.

Я заранее решил на суде держаться в рамках предъявленного обвинения: у меня было такое ощущение, что если я заговорю о настоящих причинах моего ареста, то это будет выглядеть как спекуляция на моем авторстве и известности. Одним словом, мне было неприятно заговаривать самому на эту тему. Дина Исааковна одобрила эту мою позицию. Ведь юрист не может выступать на «посторонние» темы, хотя бы сто раз знал, что они-то и есть настоящая суть дела. Это было бы непрофессионально, «суд это не интересует». И вот получилось, что я принял участие в чужой игре.

Судья Романов задает мне дурацкие вопросы о моих родителях, об их доходах и т. п. Какое это имеет значение! Это всего лишь попытка создать видимость объективного разбирательства, маскировка. Я в ответ что-то мямлю, чувствуя себя буквально не в своей тарелке, и в то же время продолжаю подыгрывать суду.

Задача прокурора Жукова состоит в том, чтобы доказать, что я «проживал» в Москве без прописки. Доказать это так же трудно, как и опровергнуть. Полтора месяца я лежал в московской больнице — «проживал» я в это время в Москве или нет? Сотни больных находятся в таком же положении. Но в это время Лариса отправила по моей просьбе по почте деньги за квартиру, и вот изъятый у тети Нюры почтовый перевод используется как улика: Марченко в это время в Александрове не жил. А это и доказывать не требуется, есть больничная справка.

Работая над книгой, я прожил летом несколько недель в палатке в лесу, в полутора километрах от места прописки. Ежедневно ходил на завод к шести утра, но не каждый день бывал у тети Нюры: время жалел. Прокурор утверждает, что это время я жил в Москве. «Да не мог бы я поспеть на завод из Москвы, проверьте расписание поездов!» — Но суд принимает версию прокурора.

Житель Александрова может хоть трижды в неделю бывать в Москве — в театре, в гостях; многие, как и я последние несколько месяцев, работают в Москве — «проживают» они там или нет?

При обсуждении закона о прописке вполне проявляется не только его ограничительная сущность, направленная против любого гражданина, но и идиотизм, бессмысленность его формы. После трепанации черепа я просил милицию дать мне временную прописку в Москве для долечивания у оперировавшего меня врача; мне отказали. Я не уклонялся от закона о прописке, нарушил его не я, а милиция. Но отвечать буду я — за то, что «проживал».

Меня схватили на улице, проверили документы и, выяснив, что я «иногородний», штрафуют, выдворяют, судят. Да что это, военное время — время патрулей и облав? Москва на осадном положении?

Мне сейчас стыдно, что я принял участие в этом балаганном представлении.

— Почему среди уроков?

И тут я сделал нечто, чего от себя не ожидал.

— Репетиция, ребята, будет обязательно. Ровно в пять! Чтобы все были! Весь состав драмкружка — «Цыганы», «Годунов» и пусть хор тоже соберется. Если я задержусь, то ждите. Час, два. Но я обязательно приду. Ждите!

«Зачем?», — спросите вы. А затем, чтобы у моих артистов было время всем вместе обсудить мой арест, если им скажут прямо, или мое исчезновение, значение которого они поймут позже. Это будут мои поминки! Как хорошо, что я догадался их устроить! Не безвестно уйду с этого света.

Мы сели в голубые санки. Сияло небо, снег скрипел под полозьями и летел снежный пух из-под копыт вороного. А плакучие ивы над рекой были, как в опере. Мы сидели в санках — трое молодых людей, и один из нас вдруг запел песню про тачанку-ростовчанку — все четыре колеса. Это пел я.

В тот день ко мне привязывались разные песни и песенки. Во время обыска в доме у бабы Дуни я стоял у окна и пел про городской сад, где играет духовой оркестр; позже, когда сидел в боксах, — о солдатах, которые идут стороной незнакомой. Почему я пел? Парадоксальная реакция?

А не парадокс, что баба Дуня потом рассказывала, что квартиранта ее посадили, чтобы не распространял рак! «Он уколы делал, вроде для аборта, а на самом деле от этого рак». («Уколов для аборта» я никогда не делал, и бабка это знала.)

Не виню бабу Дуню, хорошая была старуха, добрая, справедливая; правда, дикая совсем.

Летом того же года я ехал этапом из Калинина через московскую, рузаевскую, куйбышевскую и ташкентскую пересылки в Джамбулскую область, где, как мне объяснили авторитетно, я буду пребывать до конца своих дней, если кто-то не решит загнать меня еще дальше: «Ведь по идее вы не должны быть так близко от Узбекистана».

...Ташкентская пересылка пятьдесят первого года, наглухо закрытые бараки, где, похоже, битком набито. Зной, обрушенный на крыши этих бараков, пустые аллеи, клумбы вровень с крышами — розы и хризантемы размером в чайник, гладиолусы, ирисы, астры, опять розы, розы, розы.

Нас, транзитников, в барак не загнали. Мы сидели под огромным карагачом, в тени. Кто-то сказал, что часам к семи поведут на вокзал к поезду Джелалабад — Фрунзе, там идет вагонзак.

Почти не помню товарищей по этапу. Они менялись часто. Распихивали нас по разным камерам, по разным купе (не знаю, как назвать камеры в вагоне). Врезалось только, что в том этапе люди часто теряли сознание. Лето было жаркое. Так, по дороге с ташкентского вокзала потерял сознание здоровенный широкоплечий крымский татарин, получивший четвертак за побег с места поселения.

...Мы сидели под деревом в тени, еды нам не давали, чтобы не канителиться. А нам и не хотелось, очень уж противно воняло с кухни.

Мы сидели между белыми бараками у белой какой-то стены, и цветов было столько, сколько я не видел потом ни в ботаническом саду, ни на виллах у Средиземного моря, ни в правительственных резиденциях. Цветов было так много, что меня не оставляет мысль о тогдашнем начальнике пересылки. Сумасшедший? А может, он торговал цветами? Или это была показуха?

Часов, наверное, в шесть, когда жара еще полыхала, нас опять набили в вонючий раскаленный воронок. Мы долго ехали по ухабам, стояли где-то, опять тряслись, когда, наконец, дверь открылась, и мы стали вываливаться на землю. Земля запомнилась прохладной и влажной.

Как это она могла быть в Ташкенте в конце летнего дня — прохладной и влажной? Наверно, полили к вечеру из шланга.

Быстро, по-деловому нас построили, пересчитали и ввели во дворик, который одной калиткой выходил на привокзальную площадь, а другой — на левую часть перрона, туда, где останавливается паровоз.

Рядами нас поставили на колени. В этом не было специального унижения достоинства. О человеческом достоинстве никто и не думал. Просто есть разные теории предупреждения побегов, по одной из этих теорий считается, что в положении «на коленях» ноги сильно затекают, а на затекших ногах стартовый рывок совершить труднее.

Мы стояли на коленях и наслаждались вечерней прохладой. Я оказался в первом ряду перед проемом, выходившим на перрон. Калитку кто-то сорвал, она валялась в стороне, передо мной открывался самый заманчивый театр, театр воли, театр загадочных странствий — перрон большого вокзала.

Ходили какие-то люди, кто-то прогуливался в ожидании поезда. Кто-то из гулявших видел нас, стоявших на коленях в хитром дворике; одни вглядывались краем глаза, замедляли шаг, другие испуганно отворачивались, спешили прочь. Не знаю, как бы поступил я, если б смотрел с перрона. Что было бы сильнее: любопытство, сочувствие или страх, инстинктивное желание отойти от пропасти.

Стоя на коленях в первом ряду, я далеко слева увидел в тупике салон-вагон, которым примерно дважды в год мы с отцом ездили в Москву. В другое время я не оказывался в такой близи к отцу. Из дома он уходил на работу, уезжал в командировку... А пять суток по пути в Москву и пять суток из Москвы он был рядом.

Он читал книги, просматривал бумаги, что-то писал. Иногда играл в преферанс или в шахматы. В вагоне пустых купе не было, попутчиков отец набирал с удовольствием. Это были интересные люди из Ташкента и областей. Любил я и проводников этого вагона, один был поваром. В вагоне кормили вкуснее, чем дома, все пять дней жарили котлеты с картошкой. Дома мяса нам давали мало.

Салон-вагон цепляли в хвост поезда, и задняя его стенка с большими зеркального стекла окнами, с креслами у этих окон была моим самым любимым местом.

Летели из-под вагона рельсы, мелькали шпалы и черная мазутная галька, а за полосой отчуждения неслась и мелькала страна тридцатых годов, то голодная, разутая, раздетая, то едва утолившая голод и надевшая ватник. Станционный люд, станционная жизнь... Самые верные показатели общей жизни.

Мне было, видимо, лет шесть, когда наш салон-вагон зимой шел по казахской земле. На станции, кажется, Казалинск вагон остановился против белого здания, снег рваной простыней покрывал пути и степь, а возле поезда с воздетыми в мольбе руками стояли скелеты, живые скелеты взрослых с детскими скелетиками на руках.

Не хочу придумывать или додумывать, что сказал мой отец или хоть какое у него было лицо. Не помню отца в те минуты, вообще ничего не помню, кроме простыни несвежего снега и людей с черными лицами и черными руками, поднятыми не в протесте, а в мольбе о куске хлеба.

А в вагоне нашем, наверное, жарили котлеты с картошкой. Наверное, на бараньем сале.

Да, без сомнения я видел из калитки именно тот салон-вагон. Теперь он, судя по внешнему виду, был спущен в пользование другой номенклатуре, может быть, принадлежал начальнику отделения дороги, политотделу, профсоюзу, комсомолу, но это был тот самый салон-вагон.

Между тем поезд, к которому нас привезли, все еще не подходил, ног я уже не чувствовал, а глядел во все глаза на вольную жизнь и думал о сюжете собственной жизни. Без сожаления к себе, но восхищаясь всемогуществом судьбы, которую тогда, точно помню, считал только сюжетом.

Если бы люди, гулявшие по перрону Ташкентского вокзала, знали, если б им рассказать, что худой арестант в ковбойке и очках, стоявший на коленях в первом ряду, — сын человека, именем которого называли в республике десятки колхозов, улиц, многие предприятия и школы, главный стадион республики и Дворец пионеров (даже город был Акмальабад)... Если бы они знали, что этот доходяга — очкарик в ковбойке, ожидающий команды, сын того человека и это его единственная вина... Какой сюжет! — с восторгом думал я. Какой сюжет!

Нет, я не мечтал быть писателем, я читал собственную жизнь, как читатель со стороны.

Я ехал из тюрьмы в ссылку. Не на каторгу, не в лагерь, не в другую тюрьму. Я ехал в ссылку. Какое счастье — не в лагерь, а в ссылку!

Еще в вокзальной камере на Пресне стало известно, что наш этап идет на Киров и Пермь. «Высадят в Кирове или повезут дальше на Пермь?» — гадал каждый зэк в «столыпине».

Если ссадят в Кирове, значит, лагерь где-то в Кировской области или дальше на север — на Ухте, в Коми АССР. Если же провезут на Пермь, то еще неизвестно, оставят ли в Пермской области с бесчисленными лагерями по всему Уралу или отправят еще глубже на Восток. Бывалые зэки обсуждали преимущества и недостатки обоих вариантов: впрочем, все равно выходило, что «оба хуже».

Поезд подъезжает к Кирову (хотя заключенным не только не объявляют станции, но держат маршрут в строгом секрете, зэки обычно знают даже больше, чем нормальный пассажир: знают, какие лагеря в ближней к станции окрестности, кто там и какой хозяин, какая в городе пересылка и куда с нее идут этапы. А простой пассажир знает разве что станционный буфет да сортир). В вагонзаке объявляют список тех, кому готовиться на выход с вещами — то есть оставаться в Кирове. Называют и меня.

За свою зэковскую жизнь сколько раз я проезжал через Киров в вагонзаке, но ни разу меня не ссаживали. Впервые знакомлюсь с пересылкой, столь известной в Союзе. Она оказалась грязной, холодной, вшивой. Я не избалован комфортом лагерей и тюрем, но кировская пересылка мне показалась хуже прочих. Затолкали нас в этапные камеры в полуподвальном этаже, продержали часа три на ногах: голые стены, скамеек нет, а только цементный пол. Жидкая липучая грязь под ногами, в которую даже в сапогах противно ступить.

Здесь, как и на большинстве пересылок, процветал грабеж и мордобой. Несколько уголовников успели сгруппироваться и шныряли в толчее в поисках добычи. Приставали к каждому, у кого был в руках чемодан или сидор. Они уговаривали «подарить», «угостить», угрожали, доходило до драк. Из рукава они демонстрировали строптивым лезвия безопасных бритв.

Вот один из блатной компании уже трется около меня, плотнее прижимается к моей полупустой наволочке и тайком прощупывает ее руками. И лет-то ему всего каких-нибудь девятнадцать, не более, а наглости и нахальства уже не занимать.

Вот он вполне доброжелательно спрашивает у меня:

— Что у тебя в мешке хорошего, земляк?

— Твоего там ничего нет.

— ... ты орешь, будто тебя грабят,— в голосе уже угроза,— тебя по-хорошему спросили...

— А тебе тоже по-хорошему ответили. Не ори.

Стараюсь говорить как можно тише и не сорваться, но чувствую, как меня начинает трясти. Он, что-то бурча себе под нос, расталкивает локтями ближайших мужиков, пробираясь в другой конец камеры. Там они обосновались всей компанией. Я уже знал по старому опыту, что на этом мои отношения с блатными не кончатся. Так оно и оказалось. Скоро ко мне протиснулись вместе с тем парнем еще двое. Начинает тоже издалека и вполне пристойно.

— Откуда, земляк?

Конечно, в этом вопросе нет ничего особенного. Но я уже много раз был свидетелем подобных сцен. Все это, так сказать, прелюдия. Потом будут вопросы: «за что?», «сколько дали?», «куда идешь?», «откуда идешь?» — и наконец главный вопрос: «что с собой везешь?» — и глазами показывают на мешок или чемодан. А дальше варианты разные, в зависимости от изобретательности любителей поживиться за чужой счет, на куске или тряпке. Если ты говоришь, что ничего хорошего у тебя нет, следует требование: «Покажи!» или «Давай, посмотрим!» Одни показывают, и жулье «угощается», или «одаривается». Если же им не позволяют осмотреть содержимое мешка, то тоже по-разному бывает: либо после грызни и угроз оставят в покое, либо отнимут мешок, заберут нужное для себя, а остальное милостиво возвратят. Бывает, что изобьют и все отберут.

Я отлично знаю эту публику. Поэтому стараюсь сократить объяснения до минимума:

— Вас не я интересую, а содержимое моей наволочки. Только покажу я вам в лагере, если угадаем в один и тот же. Если у вас к тому времени не исчезнет интерес к чужим мешкам.

На этот раз мне повезло, и мой расчет оправдался. От меня отстали.

В лагерях строгого режима, насколько я знаю, сейчас такого уже нет. Лагерные грабежи и террор блатных здесь изжиты. Зато произвол и грабеж — все еще довольно частое явление в лагерях для первой судимости, в колониях для несовершеннолетних и на транзитных пересылках.

С пересылки зэки разъезжаются по лагерям и тюрьмам в разные концы страны. Грабители и жертва скорее всего никогда больше не встретятся, и бандит не опасается ни мести, ни огласки. Теперь эта публика не афиширует своих подвигов. Наоборот, они боятся, что их разоблачат. Поэтому, каким бы ни был наглым и дерзким уголовник, он боится попасть в один лагерь с тем, кого ограбил.

Когда нас перевели из этапной, я оказался в камере тоже в полуподвале. Огромная, набитая битком, как бочка селедкой, она и причудливой формой напоминала лежачую бочку, разрезанную пополам по оси. Койки идут вдоль обеих длинных стен, да еще в два раза посередине, проходы заняты деревянными щитами, на которых тоже спят зэки, да на полу сидят, скорчившись. Свод низок, утесняет лежащих в крайних рядах так, что они еле ноги втискивают между койкой и потолком. Крохотное отверстие, которое лишь условно назовешь окном, находится в яме, ниже уровня земли. Оно забрано двумя решетками, но и яма перекрыта двойной сварной решеткой. От махорочного дыма, пота, дыхания, от параши в углу — воздух в камере густой, зловонный, липкий, такой же липкий, как пол около параши. Должно быть, в тюрьме большая экономия на топливе: хоть и совсем не топи в зиму, все равно в камерах клейкая духота, зэки раздеты до трусов и потные с головы до ног.

В конце коридора маленькая грязнющая уборная, туда нас выводят дважды в день. Вся камера там не помещается, и нас заталкивают туда, как в воронок, притискивая дверью. После крупного скандала нашу камеру все же стали водить на оправку двумя партиями, соответственно сократив время на оправку наполовину. Каждый раз перед оправкой в камере вспыхивают ссоры: никто не хочет выносить парашу. Иной раз надзиратели, которым надоедают вечные свары из-за параши, плюнут и не заставляют выносить ее. Тогда содержимое льется в камере через край. Зэки ругаются, но в другой раз снова такая же ссора, кому нести.

В большинстве тюрем теперь уже на оправку не водят и параши в камере нет — цивилизация достигла того уровня, когда вместо ржавого бака екатерининских времен угол камеры занимает унитаз. И хотя он обычно протекает, и хотя мало хорошего в том, что сто человек справляют большую и малую нужду в том же помещении, где спят и едят,— все же унитаз великое благо, колоссальный шаг вперед по пути прогресса. На это достижение ушло почти столько же времени и усилий, сколько на освоение космоса.

На кировской пересылке обобрали и меня, как того деда в Бутырках. Было-то у меня всего ничего: остатки пресненского ларька и передачи. Тоже вечером поделился с ближайшими соседями, а ночью обнаружил свой мешочек опорожненным. Я никому об этом даже не сказал. Как-то стыдно, унизительно быть обокраденным, и злость разбирает: ты не знаешь. кто это сделал, а приходится общаться с окружающими, в том числе и с теми, кто обокрал тебя. Есть и порядочные люди вокруг тебя, да поди отличи, когда знакомство длится день-два, и прощай!

Из Кирова я ждал этапа в крайнем случае на север, а меня отправили в Пермь. Надо было снимать с этапа, который шел туда же, и мариновать в этой полубочке!

Пересылка в Перми, еще один этап — и вот к середине ноября я в Соликамске на управленческой пересылке. Чтобы одолеть тысячи две километров, ушло два месяца, в среднем получается по 30—35 км в день. Везли бы меня в кибитке, с двумя жандармами, доехал бы я до места раза в три-четыре скорее. Да пешим этапом дошел бы за это же время!

Слава Богу, конец этапного путешествия; из Соликамска отправят только в лагерь.

Но в Соликамске меня тормознули еще на полтора месяца: на ближайшие этапы я не попал, а потом пришлось ждать, пока станут уральские реки. Весной и осенью в лесные лагеря — на Красный Берег, на Ныроб — пути нет.

Вообще по тюремному медицинскому заключению («работоспособен, запрещены работы, связанные с высотой, и на лесоповале») меня должны бы оставить в самом Соликамске — сразу за пересылкой и находится здесь лагерь строгого режима. Здесь работы строительные, а в лесу, известное дело,— лесоповал. В Соликамске и условия лучше, и кормежка; а раз так — это не для меня.

Ожидание на соликамской пересылке, такой же перенаселенной и грязной, как кировская, было все же веселее переносить. Одно то, что это уже конец пути; а другое — зэки здесь ведут себя иначе. Ведь никто не знает, не угодит ли он в один лагерь с соседом, значит, надо держаться с ним более терпимо и не наглеть.

В нарушение общих тюремных правил здесь не существовало ни подъема, ни отбоя. Круглые сутки в камере шла картежная игра. Играли почти не таясь от надзирателей. Ночью устраивались с картами на верхних нарах, поближе к лампочке, которая слабо светила из ниши в стене над входной дверью.

Играли на все: от новенькой одежды, денег, продуктов — до всякого старья. Тут можно было проследить за везением. Кто-то начинает играть, имея в своем распоряжении не более как пару поношенных носков или застиранный носовой платок,— через несколько часов он становится обладателем несметного количества тряпья, денег и жратвы. Сегодня ты видишь франта в шелковой рубашке, приличном костюме и с мешком добра. Он демонстративно отказывается от тюремной баланды и заказывает у тюремной обслуги запрещенный чай, анашу и даже морфий, не говоря уж о продуктах. Завтра он будет сидеть на голых нарах в затасканных лагерных штанах и куртке 33-го срока носки, в которых, как говорят зэки, уже семерых похоронили.

Один из заядлых игроков, Жора, особенно мне запомнился. Я его застал в камере в немыслимом рванье. Несколько раз он пытался отыграться и садился с разными компаниями; не знаю, что он мог предложить партнерам. Но ему не везло. После каждого проигрыша, отлежавшись часа три молчком на нарах, он выходил на середину камеры, прислонялся плечом к стояку и пел вполголоса старинные русские романсы. У него был приятный голос, и пел он самозабвенно, совершенно отключаясь от окружающей обстановки. В камере становилось непривычно тихо, даже картежная игра прерывалась. На того, кто осмеливался нарушить тишину, прикрикивали.

Жора почти никогда не пел по чьей-либо просьбе, а только когда у него возникало желание. Он не выжидал тишины и мог начать в разгар спора и общего гвалта в камере. Однажды он проигрался, как обычно, и стал пробираться на свое место на верхних нарах, чтобы молча пережить проигрыш. Кто-то с издевкой обратился к нему:

— Ну, Жорик, а теперь спой!

— С таким настроением не до пения,— беззлобно и равнодушно ответил он, падая лицом в замусоленный бушлат вместо подушки.

Вот еще один игрок — экземпляр, типичный для уголовного мира. Он роскошно одет и со всеми разговаривает свысока. Другие играющие обращаются к нему за посредничеством в спорах. А он поддерживает свой авторитет частыми рассказами о том, как он где-то в камере во время игры одному выбил глаз, другому поломал руку, кого-то загнал под нары. И все это — отстаивая справедливость и картежный закон.

Дня через три после моего появления затолкали в камеру очередной этап из Перми. Вечером наш франт уговорил посидеть за картишками новичка. Просидели они почти до утра и кончили дракой. Новичок не то «справедливо» обыграл франта, не то как-то сжульничал. Они крепко начали спорить, доказывая каждый свою правоту. Обычно картежники в таких условиях просят кого-нибудь третьего рассудить их. Эти же ни к кому не обращались, брань становилась все яростнее и оскорбительнее. В конце концов новичок сильным ударом ноги сбросил франта с нар на пол. Пол бетонный, а тот летел со второго яруса. Здорово ударившись, так что и встать не мог сразу, он больше не спорил, а молчком забился в угол на нижних нарах и там отсиживался пару дней, не вылезая даже на оправку.

Новичок тоже недолго проходил в королях, на следующий день проигрался до нитки. А когда я уходил на этап, то эти двое уже жили душа в душу, хотя и были оба камерными «крахами» (ничтожествами, ничего не имеющими нищими).

Кроме картежной игры, на пересылке вовсю идет торговля. Зэки продают хозобслуге все, что имеют при себе или на себе: все равно в лагере свое не наденешь, а казенное тем более нечего жалеть. Зэки из хозобслуги в доле с надзирателями и приносят в камеру запрещенный чай, анашу и водку. Цены соответствуют степени дефицита: при мне один сокамерник отдал новенькое пальто (рублей 90—100 в магазине) за семь пачек чаю; приличный неношеный костюм стоил четыре-пять пачек; брюки или рубашка шли всего за пару пачек. А пачка чаю в магазине около лагеря стоит 38 или 48 копеек; неплохой барыш и у надзирателей, и у обслуги!

Ну, а что делать в камере мне? Я не играю, не торгую. Писчей бумаги нет у меня и ни у кого из сокамерников. Книги ни одной, библиотеки на пересылке нет. Хоть берись поневоле за карты!

Я догадался отправить письмо в Москву — на всякий случай, чтоб дошло, подписал его первой пришедшей на ум фамилией: в этом пересыльном шалмане авось не разберут чье. И вот через две недели получаю сразу несколько писем (первые письма и телеграммы из Москвы дожидались меня еще в Перми) и бандеролей. А в бандеролях — книжки, бумага, шариковые ручки (тут же в кабинете цензора и в его присутствии зэк из обслуги предлагает мне за них две пачки чаю — но чай мне не нужен, а ручки нужны); в каждой бандероли по плитке шоколада — это запрещено, но благодушный цензор, поворчав, от-

дает их мне. И мыло, завернутое в старую газету «Вечерняя Москва»,— я сразу понял, что это неспроста.

Вечером пью кипяток с шоколадом. Книжки пошли по камере нарасхват. А я просматриваю «Вечерку». Так и есть: вот сообщение о суде над демонстрантами. Лариса, Павел и Костя получили ссылку, Дремлюга и Делоне — лагерь. Это известие от друзей и о друзьях немного успокоило меня: лагерь все же миновал троих. Но и ссылка не мед; а уж дорога, если отправят этапом! Я особенно беспокоился о Ларисе: как-то она перенесет этап, как-то ей удастся устроиться в ссылке, куда ей «повезет» попасть? Среди осужденных она была единственной женщиной. Тогда еще никто не предполагал, что Наташе Горбаневской суждено несколько лет провести в психушке.

О мужчинах я меньше волновался: полезно почувствовать на собственной шкуре все тяготы арестантского быта, да и твердость духа проверяется здесь основательней.

Теперь у меня в камере было занятие. Я читал и перечитывал несколько присланных книжек, хоть они и были ерундовыми (я так и просил в письме: лишь бы чтиво, жаль, если хорошие книги пропадут). Зато я взялся за другое.

Еще в Перми мне отдали телеграмму от Л. З. Она заканчивалась так: «...Вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем». Конечно, Л. З. имел в виду необходимость самообразования, профессиональной учебы. Но пока это неосуществимо, нет ни книг, ни плана, ни представления о том, как и чем надо заниматься. Зато в избытке то, чего мне недоставало на воле и чего не будет в лагере: время. И вот я стал обдумывать и развивать планы повести, потом второй, третьей. Сюжеты трех повестей переплетались, расходились, наполнялись деталями, их герои, выдуманные мной, постепенно приобретали биографии, портретные черты, изменялись, притирались друг к другу и к жизненной обстановке. Каждый день я как будто смотрел фильм — по выбору, или отрывки из всех трех. Было ужасно интересно, наперед зная судьбу героя, наблюдать его в разных ситуациях — он-то своей судьбы не знает. Но я стал путаться, натыкаться на проблемы и неувязки — надо было записывать, хоть шифром, хоть план развития сюжета.

Я успел составить в Перми схематические, недетализированные планы двух повестей и записал их условными фразами. Но во время внезапного шмона камеры мои тетрадки исчезли. Я кинулся добывать их — где там! «Какие тетрадки? Пропали? Да кому оно нужно, ваше бумагомарание?» — отвечал мне на мои претензии заместитель начальника тюрьмы. Пришлось примириться с потерей.

Ладно же! В Соликамске, получив бумагу и ручки, я начал все заново. Исписал несколько тетрадок — опять так же, условными, одному мне понятными фразами. Хотя в этих фразах не было ничего похожего на криминал, я знал, что все равно при шмоне тетрадки отберут, и старался придумать для них заначки похитрее. Но на всякий случай — записанное запомнить, заучить. Советский писатель, не надейся на бумагу, на письменность! Лучше всего освоить бы тебе гусельный лад и сочинять «по былинам сего времени». Так ведь и гуслей нет, а были бы — отберут проклятые шмональщики!

Пока я в камере крутил свои фильмы, наступила середина декабря. Реки стали, и нас собрали на этап на Ныроб.

Этап собрали немалый: человек сто пятьдесят на строгий и на особый. Повезут нас машинами, по зимней гладкой дороге езды часов семь. По североуральскому декабрьскому морозцу недолго и обморозиться, и нам велят надеть на себя всю выданную одежду: от подштанников до телогреек, а поверх бушлаты. Каждый зэк превратился в неповоротливую толстую ватную куклу. Конвоиры одеты в полушубки и сверху еще в огромные тулупы, которые тянутся по земле. Тоже как куклы, только силуэт другой.

На машину — огромный трехосный «Урал» с высоко нашитыми бортами — приходилось человек по сорок зэков, да еще передняя часть кузова отгорожена деревянным щитом — для трех-четырех конвоиров и собаки. Казалось, нам никак не поместиться, но конвой опытный: нам приказали всем встать в кузове на ноги, построившись по шесть человек. Затем объявляют: «Слушай команду, всем поднять руки вверх, считаю до трех, по команде „три" всем сесть, не опуская рук». И точно: с поднятыми вверх руками мы более или менее благополучно сели на пол кузова. Но опустить руки теперь оказалось проблемой. Каждый стал ворочаться, толкать соседей, сжиматься всем туловищем в комок и как-то втискивать руки. Этим конвой уже не интересуется. Мы сидим к нему спинами, нам запрещено оборачиваться в его сторону, придерживаться за борта руками.

От Соликамска до Ныроба дорога идет сплошной тайгой. Очень красиво кругом. Тайга одета снегом, на елях он лежит особенно толстыми шапками. Когда машины поднимаются на вершину сопки, то видно огромное пространство вокруг, и все тайга и тайга.

По дороге проезжаем Чердынь. С интересом рассматриваю знаменитый поселок: здесь в ссылке были Мандельштамы, я как раз прочел в Москве мемуары Надежды Яковлевны. Кто бы знал эту Чердынь, если бы не Осип Эмильевич? Жилые домишки — а кругом тайга! Но нет-нет да и попадется старый дом кирпичной кладки, и им залюбуешься. Старые дома построены из добротного красного кирпича, даже дворовые постройки тоже кирпичные. Видно, до революции жили в них купцы-лесопромышленники или богатые охотники.

Из такого же кирпича сложена красивая, но запущенная и обшарпанная церковь. Чердынь стоит на берегу Вишеры. Переезжаем ее по льду.

В Ныроб приезжаем в сумерках, зимой они здесь наступают очень рано. В самом Ныробе находятся две зоны: строгого и особого режима. Пока ждем запуска в зону, мимо проходят колонны зэков в полосатой робе. Все полосато: бушлаты, телогрейки, брюки, куртки, шапки.

Особый работает на лесобирже и готовит лес к сплаву. На лесоповале и на сплаве их не используют из опасения побегов.

После шмона нас проводят краем зоны в отдельно огороженный барак: он и ШИЗО, и внутрилагерная пересылка. Отсюда отправляют на дальние таежные командировки. Но наутро я узнал, что меня в тайгу не отправят, оставляют здесь, в самом Ныробе. Другие мне завидовали: буду жить, можно сказать, в столице!

Меня вызывают в штаб к начальнику лагеря для «знакомства».

— Как вас сюда направили с таким сроком? — недоумевает он.

— Мне не объясняли и меня не спрашивали.

— Год сроку, да пока доехал, остается всего семь месяцев!

Начальник просматривает мои бумаги и натыкается на медицинскую справку об ограничениях в труде:

— И зачем присылают таких! Мне волы нужны, у меня лесоповал. Куда я вас поставлю?

Я молчу. К начальнику из угла подходит офицер и что-то шепчет, низко наклонившись над самым столом. Начальник слушает внимательно, посматривая на меня с любопытством.

Больше не задавал он мне вопросов.

В этот же день состоялось еще одно знакомство — с кумом, старшим лейтенантом Антоновым. Кум зовет — иди, не моги отказаться.

Разговор был тягучий, противный и угрожающий. «Ты не надейся, Марченко, здесь отсидеться. Тебе сидеть да сидеть, сгниешь в лагере. От меня на свободу не выйдешь, если не одумаешься. Здесь не Москва, помни!..» — и тому подобное. Я сказал:

— Вы мне прямо скажите, что вам от меня надо?

— Я прямо и говорю. Не понимаешь? Думай, думай, пока время есть. А надумаешь — приходи. Вместе напишем, я помогу.

— Что я хотел, то без вас написал.

— Смотри, Марченко, пожалеешь.

Меня, можно сказать, «честно» предупредили. Но откуда ждать удара?

Разговор оставил очень неприятное впечатление. В лагере всякое бывает. Подрались двое зэков, и один другому всадил нож в спину. Или конвой пристрелит «при попытке к бегству». Кирпич ли на голову свалится. или сожгут сортир и обвинят меня в поджоге зоны. Ходи и оглядывайся, и жди каждую минуту какой-нибудь провокации. Так и чокнуться недолго.— И я решил выбросить эти мысли из головы.

И без того мое положение в лагере было непростым. Меня определили в строительную бригаду — это была работа более легкая и более удобная, чем основная работа в лагере, лесоповал. «Лесников» возят на делянки и обратно машинами, дорога занимает в один конец часа полтора, да шмон, да ожидание, да машины, бывает, ломаются. Пока ломается машина в дороге — жди на морозе в открытом кузове, пока починят или пригонят другую. Другой раз «лесники» приезжают в зону часа в три-четыре утра. А утром в семь опять должны быть на разводе.

А наша бригада, четырнадцать человек, работала в поселке, в пяти минутах хода от жилой зоны. Уже одно это было великим счастьем. Сюда, договорившись с начальством, попадали «на отдых» заслуженные «лесники», несколько лет безропотно пахавшие в лесу. Или отличившиеся стукачи и проныры. А меня назначили к ним прямо с этапа. Это было непонятно, подозрительно, и бригадники косились на меня с недоверием, прощупывали: за какие заслуги и для какой цели попал я в их бригаду.

Не успел я здесь прижиться, как меня перевели в другую бригаду, тоже строительную, тоже без дальних поездок на работу. Но эти заработали свою «льготу» совсем другим способом: здесь все были большесрочники, тяжеловесы со сроками от десяти до пятнадцати лет, то есть с максимальными, «исключительными» мерами наказания. Это бывшие смертники, которым заменили впоследствии расстрел лагерем или тюрьмой. Сроки получены ими за особо опасные преступления: убийства и изнасилования при отягчающих обстоятельствах, разбой и грабежи. Большинство бригадников переведены после половины срока со спеца, и когда наша колонна встречалась с колонной «полосатых», в обе стороны летели слова приветствий, происходил запрещенный обмен информацией, несмотря на окрики конвоя. Эту мою новую бригаду в лес не водили из-за того, что большесрочники считаются — и не зря — склонными к побегу. Для них была оборудована рабочая зона с усиленной охраной, обнесенная сплошным дощатым забором высотой в два метра и двумя рядами колючей проволоки, со сторожевыми вышками и автоматчиками на них. Кроме обычного пересчета при разводе и съеме, бригаду считали и пересчитывали, впуская в рабочую зону, проверяли по личным карточкам во время работы, и если начальнику конвоя покажется, что кого-то недостает, выстраивают всю бригаду, считают по пятеркам, сверяют с личными карточками.

И вот к этим тяжеловесам кидают меня — со сроком год (а к этому времени до конца оставалось чуть больше шести месяцев) за какое-то там нарушение паспортных правил. К тому же меня перевели вместе с поваром из моей первой бригады Германом Андреевым — известным всему лагерю и за его пределами провокатором, «штатным свидетелем» на всех лагерных процессах. Он был наркоман и потому на крючке у начальства. Конечно, бригадники считали, что к ним специально заслали осведомителей режима и оперчасти.

Я решил все соображения и объяснения держать при себе — тем более, что впрямую никто ничего не говорил мне. Оправдания ничего не дадут, а излишняя откровенность просто опасна. И я никому ничего не рассказывал о себе, кроме того, что написано в приговоре. Чтобы не быть втянутым в обычный зэковский треп, брал с собой на работу книгу, газеты, тетрадь (вообще-то это не разрешается, и если на шмоне найдут, то отберут: «Не в библиотеку идешь!»; но зэк, когда ему что надо, пронесет). Времени на чтение хватало. Нас выводили на работу утром, когда температура была ниже пятидесяти: 56—57 градусов. Мы торопливо топали на объект и, как только нам открывали ворота, наперегонки бежали в курилку. Поскорей растапливали печь и час-полтора грелись, толпясь около нее, а потом расползались по углам и проводили время кто как умел. Начальство смотрит на это сквозь пальцы: был бы день не сактирован, был бы записан выход бригады на работу, а уж месячный план и норму из зэков так и так выжмут в другие дни.

Вот я сижу в курилке на своем законном месте — его уж никто не занимает,— читаю. В другом углу собралась картежная компания. Здесь, как и на пересылке, тоже играют на все: казенную одежду, деньги, посылку от родных, будущий ларек. Кто-то шустрит: ищет, как бы через вольного достать водку, самогон или одеколон.

Деньги в лагере, конечно, запрещены, но они есть у многих. Добываются они нехитрой почтовой операцией: заработанные деньги зэк переводит с лицевого счета родным и одновременно тайно сообщает им адрес местного вольного, с которым он уже договорился. Родные пересылают их обратно в Ныроб по указанному адресу, а уж вольный сумеет передать их зэку или купить, что тот закажет. Конечно, за комиссию отчисляется соответствующая доля.

Я тоже мог бы воспользоваться этой разработанной методикой, но мой срок можно было дотянуть и на казенных харчах.

В политлагере такие операции почти невозможны: начальство строго следит, чтобы у заключенного не было связей с вольными. А в уголовном лагере строгостей меньше, возможно даже, что администрация знает о таких каналах и либо сама в доле, либо контролирует их, чтобы держать бразды в своих руках.

За деньги можно купить все; и не только продукты, выпивку, наркотики, но и откупиться от работы: плати бригаде наличными рублей пятнадцать на водку и на чай — и можешь месяц не работать, тебе бригадир поставит все выходы, а бригадники сделают за тебя норму.

Была у заключенных Ныроба еще одна отдушина — женщины. Вот говорят: «Мне сидеть не интересно, я там бывал, ничего нового не увижу». Нет, каждый срок что-нибудь новенькое выдает. С подпольной проституцией в лагере я в Ныробе познакомился впервые. До Ныроба я только слышал все это с чужих слов и не всему верил. Здесь этой своей самой древней профессией промышляли тунеядки, высланные из Москвы и Ленинграда. Хотя среди заключенных и солдат большой голод на женщин, нельзя сказать чтобы дело приносило им боль-

шой доход. Расплачивались с ними кто чем богат: когда деньгами, когда тряпками, а когда договаривались и за черпак лагерной каши. Так что женщины занимались этим скорее из любви к искусству и чтобы быть, как говорится, при деле, не терять квалификации.

Правда, несколько тунеядок обслуживали офицеров и начальство — эти жили получше, были недоступны для солдат и заключенных, на своих менее удачливых товарок смотрели свысока. Офицерские жены люто их ненавидели, крыли последними словами прилюдно на улицах поселка, но те не оставались в долгу, тоже за словом в карман не лезли — а необходимый словарный запас был у них побогаче, чем у «законных». Для колонны зэков подобные сцены заменяли театр.

Но как же могли происходить свидания тунеядок с зэками, отделенными от воли запретками, вышками и автоматчиками?

Рабочие объекты и лесные делянки охраняются только во время работы, после съема заключенных уходит и охрана. И вот зэки в рабочее время строят в рабочей зоне тайник, бункер, и сообщают об этом тунеядкам по тайной почте. Ночью дамы свободно проходят в зону оцепления, заселяют бункер и живут там по месяцу и больше, не выходя на свет Божий даже по нужде: в бункере имеется параша, которую вытаскивают и опоражнивают сами зэки. Сюда им приносят пищу и выпивку.

Обычно тунеядки объединялись по три-четыре в компанию и обслуживали постоянно одну бригаду. На каждой делянке имеется свой бункер со своими дамами, и ни одна из них не забредет в чужую зону влияния. Если такое случится, то это считается «изменой» и вызывает бурные склоки и баталии.

Устройству бункера зэки отдают много сил и изобретательности. Внутри сколачивают нары, снаружи тщательно маскируют от посторонних глаз. Чтобы конвойная собака не учуяла, обсыпают вокруг махоркой, хлоркой, поливают бензином и т. д.

В нашей особо строго охраняемой бригаде тоже был свой бордель. Первые несколько дней, когда бригадники меня еще хорошенько не знали, они всячески скрывали это от меня. Вначале им это легко удавалось, так как я вообще ничем из их жизни не интересовался. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, а уж живого человека тем более. Сначала я догадался, а потом и увидел все воочию.

Курилка у нас состояла из двух проходных комнат. В дальней, большей из них, под полом зэки оборудовали еще одну комнатку. И там жила тунеядка. Временами, когда в бригаде появлялись наличные деньги, жила не одна, а несколько.

У нас тунеядкам жилось лучше, чем в лесу: ночью они могли безопасно выйти на свежий воздух или хотя бы вылезти из подполья и находиться в комнате. У нас даже жили гастролерши — из самой Чердыни.

Наш объект был — строительство гаража. Стены, потолок уже были, и теперь мы долбили в этой коробке ямы на месте будущих стоянок для машин. Бригадники решили построить здесь новый капитальный бункер-бардак. Выкопали рядом со строящейся ямой для машины другую большую яму, забетонировали крышу. Вход сделали в яме через нишу, предназначенную для инструмента: заднюю стенку ниши — бетонную плиту — укрепили на специально приваренных шарнирах. Она была очень тяжелой и плотно закрывалась изнутри, ее невозможно было открыть снаружи, разве что взорвать.

Новый бункер был просторнее прежнего. Там были настоящие нары человек на четырех, столик и даже пара скамеек. Провели туда скрытый электрокабель и оборудовали свет и отопление. Имелась там и электроплитка.

В строительстве этого бункера я принимал непосредственное участие. При мне он и начал «работать».

Наш бардак не найти было и с собаками. И хотя в нашей бригаде, как и в других, хватало стукачей, никто не заложил тайник и прятавшихся там женщин: естественная тяга мужчин к женщине пересиливала и страх, и прочие шкурные интересы. Начальство нюхом чуяло баб в зоне, но сколько ни искали, ни разу так и не нашли.

Существовали забавные принципы оплаты услуг. Когда у кого-нибудь в бригаде были деньги, дамам платили по рублю за визит. Тогда доступ к ним имел только тот, кто имел рубль или хоть что-нибудь для оплаты. Я видел, как два приятеля спускались в бункер, имея на расчет всего лишь пару застиранных носков, то есть по одному на брата.

Но когда зэкам платить было нечем, тунеядки оказывались в безвыходном положении: им даже поесть на воле было негде и не на что. Здесь хоть черпак каши или баланды найдется. А так как пища идет из общего бригадного котла, то в этот критический период каждый имеет право наведаться в бункер.

Эти женищины никогда не были трезвыми. В бункере всегда была какая-нибудь выпивка: водка, самогон, брага, одеколон, тормозная жидкость...

Наши жрицы любви пьяны, грязны, одеты в немыслимое тряпье, потрепаны настолько, что не определишь их возраст (на самом деле возрастной диапазон довольно велик: от девятнадцати-двадцати до пятидесяти и даже выше, как говорится, «от пионерок до пенсионерок»). Они так непривлекательны, что иногда только что спустившийся в бункер зэк тут же вылезает обратно, мотая головой: «Нет, не могу, ничего не получается».

И все-таки на их внимание претендуют не только заключенные, но и солдаты охраны. Тунеядки, очевидно, из солидарности с зэками, люто ненавидят охранников и допускают их только при посредничестве зэков.

Два солдата из нашего конвоя посещали наш старый бункер тайно друг от друга и от остальных. Однажды я присутствовал при такой сцене: вся бригада уговаривала тунеядку «дать» менту, то есть солдату. Она его только что выгнала из бункера, и он приплелся в бригаду жаловаться. На нее не действовали никакие уговоры, и только угроза, что он, обозлившись, выдаст и ее, и бункер, сломила ее гордость.

Знаю, найдутся такие, кто с брезгливостью прочтет эти страницы, презрительно обронит: «Уголовщина! Что с них взять?» Но вот что читаем о политических: «...Под вечер девку посадили в пустую бочку, часовой растворил ворота острога, и, выпущенная во двор, девка проведена была другим часовым в арестантские комнаты. Тем же порядком на следующее утро девку вывезли из острога. ...После этого несколько раз удалось повторить ту же проделку. ...Сколько было благодарностей от арестантов!..»

Эти арестанты — не уголовники, это каторжане-декабристы. Устроила для них «разговение» жена декабриста Анненкова — наняла девку, подкупила водовоза и часовых; не с брезгливостью и презрением, а с пониманием нужд человеческой природы. И так же рассказывает об этом эпизоде М. М. Попов, сотрудник III-го отделения: «Большая... часть арестантов Петровского острога были холосты, все люди молодые, в которых пылала кровь, требовавшая женщин. Жены долго думали, как бы помочь этому горю...» («Воспоминания Полины Анненковой», Красноярск, 1977, стр. 291).

Что касается самих тунеядок, то это люди «дна», опустившиеся,

выбитые из жизни создания. На мой взгляд, у них произошел необратимый распад личности. Искать корни этого явления — дело социологов, психологов, медиков. Я далек от мысли приписать вину за существование «дна» нашему общественному устройству. Политико-экономическими причинами объясняют все социологи-марксисты, поэтому они вынуждены утверждать, что «дно» порождено капиталистическим строем, а у нас этого явления нет. Как же, нет! Дальние провинциальные городки и поселки наполнены «тунеядцами» и «тунеядками» — своих хватает, и еще сосланные из столиц. У них нет семьи, нет пристанища — и не будет, они не ищут его, оно им не нужно. У них нет имущества: все, что есть сегодня,— на них. У них одна цель — найти что выпить, чем оглушить себя. В Чуне их можно безошибочно отыскать в любой день на пустыре около магазина: напившись, они валяются здесь — мужчины и женщины, старые и молодые, высланные и местные — на слое битого стекла и пробок, а проспавшись, едва поднявшись на ноги, снова бредут к магазину в надежде раздобыть выпивку. Больше им ничего не надо. До них тоже здесь никому нет дела.

В больших городах они, вероятно, не так заметны. А в столицах и городах, посещаемых иностранцами, их и вовсе не видно: милиция выселяет их, используя закон о тунеядстве, о бродяжничестве, о паспортных правилах. И вот какая-нибудь заезжая знаменитость вроде Мохаммеда Али в восторге сообщает миру: «Я был поражен тем, что в СССР нигде не встретил ни проституток, ни нищих». Если сам Мохаммед Али не встретил, о! значит, их действительно нет (как и агентов секретной службы, которых он тоже «не встретил» — зато, я думаю, они его и встретили, и проводили). Для кого вещают наши пропагандисты? Неужели я больше поверю залетному гостю, чем собственным глазам!

Бог с ним, с Мохаммедом Али,— ему ведь, в общем, наплевать на нашу страну, погостил и укатил. Опасно, что мы сами — наша пресса, наши ученые, наши власти — нарочно закрываем глаза на язвы собственного общества, не исследуем их и не лечим, а прячем под парадной одеждой фестивалей и олимпиад, прикрываем хвастливой газетной трескотней. Но принюхайтесь: из-под роскошного наряда смердит!

Зима 69-го года была холодная. У нас в Ныробе каждое утро было —56, —57 градусов. Лариса писала мне из Чуны, что у них там тоже всю зиму день начинается с —58 градусов. Прочел я в первом письме: «поселок Чуна, Иркутской области». А что за Чуна — Чума? Солагерники мне рассказали: место проклятое, и правда чума; от Тайшета до Братска — лагеря, лагеря, лагеря. Так это ж туда меня везли в 61-м году, да не довезли, политлагеря оттуда перевели в Мордовию. Сейчас в Чуне, да и в ближней окрестности, да и вблизи трассы Тайшет — Братск лагерей не видно. Но пришлось мне в 71-м году лететь в Чуну из Братска самолетиком местной авиалинии, и я узнал сверху ясно обозначенные квадраты зон с вышками по углам. Просто отодвинули их подальше от глаз. А в тайге около Чуны, в десяти минутах ходу,— заброшенные лагерные узкоколейки, прорубленные зэками просеки; в самой Чуне — памятники лагерной архитектуры: клуб, выстроенный заключенными по типовому лагерному проекту, такие же я видел в Караганде, на Урале, в Мордовии; баня с выложенной по фронтону датой «1957»; бараки лагерные есть еще, но их постепенно сносят, не оставляют почему-то потомкам в качестве исторического экспоната. И полно здесь бывших лагерников — «западников» — украинцев, литовцев, русских Этот участок БАМа — «магистрали века» — проложен руками отечественных заключенных и пленных японцев.— «А по бокам-то все косточки русские» и прочие, мы ведь интернационалисты.

Хотя в эти морозы мы работали мало, но все же достаточно для того, чтобы с объекта в зону прийти грязными и мокрыми. А переодеться мне было не во что — спецовку не выдали: «Получишь, когда придет следующий этап». Ждал я, ждал, месяца полтора ждал — не выдают. На мои и бригадира просьбы и требования офицер — начальник отряда просто не обращал внимания.

— Пока мне не выдадут спецовку, не буду работать! — заявил я наконец.

— Бу-удешь! Посажу в карцер как отказчика!

На другой день я перестал работать. Выхожу со всеми на объект — и либо сижу в курилке, либо, если погода помягче, расчищу себе в снегу тропинку и гуляю. Бригадир не гнал меня на работу, он знал, что я таким путем добиваюсь «законных прав». Я был уверен, что он ставит мне в табеле отказы, и ждал, когда начальство на это прореагирует. И вдруг узнаю: бригадир ставит мне рабочие дни. Это значит, что в конце месяца мне начислят такой же заработок, как и другим бригадникам, я урву денежки с тех, кто работает.

Пришлось мне объясняться с бригадиром:

— Ставь мне прогулы, я ж не работаю!

— Не могу: я еще никого не помогал устроить в карцер!

Дворецкий не был похож на других бригадиров-уголовников. Его поставили на эту должность как специалиста-строителя, он тяготился ею, стеснялся заставлять работать заключенных, не угождал начальству. Недолго он и продержался в бригадирах — при мне же его заменили другим, более пригодным — Сапожниковым.

— Так не ты посадишь, а начальник отряда!

— Я ему не помощник. Я такой же зэк, как и ты. Сегодня я бугор, а завтра пошлют носилки таскать вместе с тобой!

Есть такое неписаное зэковское правило: не хочешь работать — не выходи из зоны на объект, оставайся в жилой. Тогда тебя посадит в карцер начальство, а бригадир сохранит свой авторитет перед зэками. Я не хотел дать законный повод для репрессий. Выходить на объект я обязан, так как одет «по сезону», телогрейку, ватные штаны. шапку получил еще в Соликамске. Но, не получив спецовки, имею право не работать. И без Дворецкого найдется кто-нибудь, кто доложит о моем «саботаже» отрядному.

И точно: еще через пару дней отрядный явился к нам в курилку. Он собрал бригаду и стал мне вычитывать:

— Работать не хотите! Отлыниваете! Вы, Марченко, злостный нарушитель режима!

— Сами вы злостный нарушитель режима, два месяца не выдаете спецовку!

— Вот теперь я тебя в карцер посажу за оскорбление. Тоже мне, интеллигент нашелся — спецовку ему подавай.

Он не посадил меня ни завтра, ни послезавтра. Зато он стал науськивать на меня некоторых бригадников: мол, я обдираю бригаду. Когда я с ним спорил при всех — сочувствие было на моей стороне: все видели справедливость моих требований и что я, отказываясь работать, не скрываю этого, не прячусь за их спины. Вообще при любом споре с начальством зэки всегда на стороне зэка. Но после этого объяснения нашлись такие, кто не только враждебно посматривал на меня, но и угрожал расправой: а начальство, мол, за тебя не заступится. Как-то один из зэков кинулся на меня с молотком в руках; в ответ

я поднял лопату. Дело не дошло до развязки, вмешались остальные и угомонили нас.

Лишь через две недели отрядный все же упек меня в карцер на семь суток. В постановлении говорилось, что я «одет полностью». После карцера выдали мне спецовку; за что же, спрашивается, я сидел неделю? Да с кого спросишь?

Тем временем проходила зима, а с нею и срок шел к концу. С кумом Антоновым у меня не было не только стычек, но и вообще встреч; но его угроза висела надо мной, как топор. Было несколько мелких стычек с начальником КВЧ, майором, когда мне прибыли две книжные бандероли. Он не хотел мне их отдавать:

— Вас сюда прислали срок отбывать, а не книжки читать. Мало вам лагерной библиотеки!

— Мало.

— Книжки со свободы отдавать не будем.

— Почему?

— Почему, почему! Грамотные сильно стали все, права свои знаете, как что не по вас — только и слышишь: почему, за что, на каких основаниях?

— Ну, а все же почему нельзя книжки получать с воли?

— Знаем, как в лагере книжки читают: начинают с Флобера, а потом онанизмом занимаются!

Хотел я спросить начальника культурно-воспитательной части, сам-то он читал ли этого писателя, проверил ли на себе его воздействие. Но не решился вести бой на незнакомой мне местности: я Флобера не читал. И потому спросил о другом:

— А Ленина читать в лагере можно?

Майор, помолчав, спокойно ответил:

— Ленина — это мы подумаем.

Все же отдал он мне мои бандероли, поскольку там был не Флобер, а что-то, на его взгляд, более безопасное.

Весной я снова угодил в карцер, и повод был аналогичный первому: я отказался выходить на работу, на этот раз не выходя и в рабочую зону. Мы в это время заливали гудроном крышу гаража, приходилось таскать носилки по узенькому скользкому трапу без перил и ограждений на пятиметровую высоту. Бывало, что с трапа срывались и здоровые парни; у меня же головокружение, «запрещена работа на высоте». Когда я сказал об этом отрядному, он съязвил: «Подумаешь, высота! Не в космос тебя запускают!». Другой работы мне не дали.

Когда я слетел-таки с трапа вместе с носилками, то решил, что, чем покалечиться на лагерной работе, лучше уж остаток срока отсидеть в карцере, пусть и на штрафном пайке. Мне к этому времени оставалось до конца всего два с половиной месяца.

20 мая кончились мои пятнадцать суток отсидки. Если я снова не выйду на работу, меня опять посадят. Но в промежутке я успею в зоне помыться с мылом (в Ныробе в карцере отбирали и мыло, и зубную щетку: «Это вам не санаторий!») и получить письма, накопившиеся за две недели.

Однако в зону меня не выпустили: объявили, что отправят на этап в другой лагерь.

Вот тебе на! За два месяца до конца срока — в новый лагерь! Что-то это не к добру, подумал я. Мне даже вещи не дали собрать, принесли прямо на вахту собранный в бараке без меня узелок. Проверяю — нет главного для меня, моих тетрадок с записями. Было у меня их четыре, а отдают одну, в которой мои выписки из Герцена, Короленко, Успенского и других книг. Те три, в которых мои собственные

записи, восстановленные после пермского шмона планы задуманных повестей, снова остались в руках главных оценщиков худлитературы.

Каши они из этих записок никакой не сварят: «Случай на выемке», «Пиковая дама» — что дадут им такие записи? Ничего ровным счетом. Впрочем, одно им полезно и приятно: то, что у меня этих тетрадок не будет.

Потом, уже на воле, у меня еще трижды отбирали на обысках все, что я успевал написать: планы, черновики. Неужели все это лежит где-нибудь в хранилище КГБ в ячейке на букву «М»? Нет, наверное, сожгли в специальном крематории для рукописей, предварительно вынеся резолюцию: «материалы могут быть использованы для написания антисоветских произведений» — именно такое заключение предъявили мне в КГБ Москвы в 1974 году. Кто же эти эксперты? Литературоведы — кандидаты и доктора наук? Или рядовые «литературоведы в штатском»? Вот интересно бы это узнать!

Владимир Максимов стыдил меня и ругал за то, что я не умею работать, как полагается советскому писателю: писать надо, говорил он, сразу в нескольких экземплярах — и сразу прятать написанное в разных местах. Он, Максимов, только так и пишет. Что-то отберут, но хоть один экземпляр останется.

Не это ли имел в виду Л. З. в своей телеграмме: «...вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем»? То есть, как говорит Солженицын, писателем-подпольщиком. Учусь этому, учусь. По правде говоря, этому научиться все же проще, чем научиться писать.

Меня и еще четырех зэков отправили на машине в Валай — это как говорили, самый паршивый из всех ныробских лагерей.

Действительно, и сам дальний таежный поселок, и лагерек, куда нас привезли, вызывал уныние одним своим видом: что дома в поселке, что бараки в зоне — ветхие, гнилые, осевшие в землю по самые окна. Если кто идет мимо барака, то из окна видны одни ноги. Кажется, подуй ветер посильнее, толкни крайний домишко, и все постройки свалятся друг за дружкой, как выстроенные в ряд костяшки домино. И эти постройки стоят среди сплошной тайги, откуда идет лес на новостройки по всей стране! То ли люди здесь живут ленивые, то ли чувствуют себя временными жителями.

Зона в это время года — в мае — утопала в грязи настолько, что ни машина, ни даже трактор гусеничный не могли в нее въехать. Даже дрова для бани и столовой сваливали снаружи возле вахты, и каждый зэк, возвращаясь с работы, должен был прихватить чурку и оттащить на место. Зэки путешествовали между бараками по узким дощатым настилам, и не всегда им удавалось преодолеть без потерь грязевую преграду: бывало, оставляли в топи обувку, вытаскивать ее приходилось руками. Оттаявшие помойки и сортиры распространяли по всей зоне страшное зловоние.

Здесь я увидел остроумное приспособление для колки дров. Помню, когда мне в больничной зоне в Мордовии приходилось топить печи, я мучился, пытаясь расколоть чурку дров: хоть зубами грызи ее, топора-то в зоне «нэ положено». На Валае в зоне топор есть, вернее, не топор, а колун без топорища. Но взять его в руки одному мужику нельзя: он приварен тупой стороной к большой и тяжелой железной платформе. Бери полено и бей его об колун! Можно подавать заявку в бюро рационализации и изобретений.

На Валае я столкнулся с явлением, знакомым мне еще по Карлагу. Мы, новички, пришли первый раз в столовую на ужин. Все столы

заняты, нам с нашими мисками приткнуться негде. Смотрим, один стол почти пустой, сидят за ним трое-четверо. Сели мы за этот стол, едим; другие зэки, здешние старожилы, глядят на нас, пересмеиваются. Наконец подходит один к нам:

— Вы, парни, за этот стол не садитесь: он для педерастов.

Вот оно что! Среди этой бесправной, униженной массы есть самые низкие, своя каста «неприкасаемых». Так было и в Карлаге. Педерасты (но не все, а именно пассивные; активные ходят в героях) — самая забитая, самая бесправная часть лагерного населения, с ними каждый зэк может сделать все что угодно: выгнать из столовой, сбросить с нар, заставить работать задарма на бригаду. Большинство этих бедняг — молодые ребята, некоторые стали педерастами еще в колонии для малолетних. Свое унижение они воспринимают как законное, пожаловаться им некому...

Но продолжить наблюдения лагерного быта на новом месте мне не пришлось. Через неделю после прибытия меня вызвали в штаб, и прокурор из Перми Камаев предъявил мне две казенные бумаги: по ходатайству Антонова, ныробского кума, против меня возбуждено уголовное дело по статье 190-I; вторая бумага — постановление об аресте, о взятии меня под стражу. Как будто я и так в зоне не под стражей! Нет — теперь меня будут держать в следственной камере при карцере.

Ну, так: Антонов слов на ветер не бросает!

Первое, что я сделал — заявил и устно, и письменно, что Антонов намеренно сфабриковал дело, что он обещал мне это еще в первый же день в Ныробе.

— Марченко, подумайте, что вы говорите! — Камаев старается держаться «интеллигентно», разъясняет, опровергает меня без окриков. Он прокурор, он объективен, он не из лагеря, а «со стороны». Это человек лет тридцати — тридцати пяти, аккуратный, белозубый, приветливый, его даже шокирует моя враждебность.

— Зачем Антонову или мне фабриковать на вас дело? У нас есть закон, мы всегда действуем по закону...

— Да, да, лет тридцать назад миллионы соотечественников были шпионы и диверсанты — по закону, знаю.

— Что вы знаете?! Зря при Советской власти никого не сажали, не расстреливали. Заварил Хрущев кашу с реабилитацией, а теперь партия расхлебывай!

— И это говорит прокурор!

— Скажите, и вас ни за что посадили? Не занимались бы писаниной, сюда не попали бы!

— Между прочим, у меня обвинение не за писанину, а за нарушение паспортных правил.

— Мало ли что в обвинении. Книжки писать тоже с умом надо. Писатель! — восемь классов образования!

— У вашего основоположника соцреализма, помнится, и того меньше.

— Что вы себя с Горьким сравниваете! Он такую школу жизни прошел — настоящие университеты!

— В вашем уголовном кодексе эти университеты теперь квалифицируются соответствующей статьей: бродяжничество.

— Марченко, Марченко, сами вы себя выдаете: «ваш Горький», «ваш кодекс»,— передразнивает меня Камаев.— Сами-то вы, значит, не наш!

— Так в этом, что ли, мое преступление? «Наш» — «не наш»? Это какая же статья?

— Знаете законы, сразу видно.— Камаев переходит на сугубо официальный тон: — Оперуполномоченный Антонов получил сигналы, что вы систематически занимаетесь распространением клеветы и измышлений, порочащих наш строй. Можете ознакомиться,— он вынимает из папки несколько бумажек и протягивает мне.

Это «объяснения» заключенных из Ныроба. В каждом говорится, что Марченко на рабочем объекте и в жилой зоне распространял клевету на наш советский строй и на нашу партию. Таких «улик» можно получить не три, а тридцать три, сколько угодно.

В уголовном лагере и на работе, и в жилой зоне идет непрерывный пустейший треп. Зэки без конца спорят на все темы, в том числе и на политические. Здесь можно услышать что угодно: от сведений, составляющих государственную тайну, и до живых картинок об интимных отношениях между членами правительства или Политбюро. У каждого, конечно, самая «достоверная информация». Попробуйте усомниться! Лагерная полемика не знает удержу, и в пылу спора из-за пустяка то и дело в ход идут кулаки. Лучше всего не ввязываться в эти диспуты. Даже когда спорящие обращаются к вам как к арбитру, остерегайтесь! Вы знаете, что все они несут чушь, но если попробуете им противоречить, опровергать их, то они объединятся против вас.

Если учесть, что уголовный лагерь живет по принципу: «умри ты сегодня, а я завтра»,— то в такой атмосфере сфабриковать обвинение по ст. 190-I — агитация, пропаганда, клевета, измышления — оперу ничего не стоит. Всегда он может подобрать нескольких провокаторов, которые, кто за посылку, кто за свидание или досрочное освобождение, дадут любые показания на кого угодно. Главное, из-за безответственного трепа почти каждый зэк у кума на крючке, каждого есть чем шантажировать. Это было проделано Антоновым при фабрикации моего обвинения, о чем мне позднее скажут сами зэки.

Липовое мое дело, состряпанное Антоновым, оказывается непробиваемым: масса «свидетельских» показаний — «Марченко, неоднократно говорил», «всегда клеветал», «я сам слышал», а других доказательств не требуется. Статья 190-I, предусматривающая как письменные, так и устные «измышления», позволяет судить за слово, за звук, не оставивший материального следа. Так что, друг, если двое говорят что ты пьян, иди и ложись спать!

Конечно, при низком уровне общей и юридической культуры Антонова и его свидетелей (какой там низкий—нулевой! со знаком «минус»!) в деле повсюду торчат ослиные уши, и Камаев мог бы их заметить. Свидетельские показания не стыкуются между собой, то есть не подкрепляют друг друга. Один свидетель показывает, что Марченко такого-то числа января месяца говорил то-то и то-то, а другой сообщает о другом высказывании и уже в другое время. И как они помнят в мае, какого числа и что именно сказал я в январе? Большинство показаний носит общий оценочный характер: «клеветал», «измышлял», «порочил». А те, которые содержат конкретный «материал», поневоле вызывают у меня смех. Вот показания: «Марченко утверждал, что Пастернак в „Докторе Живаго" правильно изобразил советских женщин, что у них ноги кривые и чулки перекручены». Мозги перекручены у этого парня или у Антонова, который, наверное, ему диктовал. Ни с кем в лагере я не говорил ни о Пастернаке, ни о Синявском, тем более не повторял газетную чушь. А свидетеля этого я помню: недавно он с пеной у рта доказывал соседу, что в Соединенных Штатах — язык американский, а английский — это в Англии, и дураку ясно.

Я указываю Камаеву на несуразность в показаниях.

— Что же, все вас оговаривают?

— Может, и не все, только в дело попали нужные Антонову свидетельства.

— Вы хотите сказать, что были и другие? Марченко, в дело вносятся все свидетельские показания, все протоколы нумеруются. Таков закон,— важно говорит Камаев.

Я объяснил Камаеву и то, что насчет «Доктора Живаго» мне приписывают ерунду — я как раз недавно читал роман, помню, что там есть и чего нет. А вот свидетель, конечно, не читал и несет Бог весть что от моего имени.

Когда месяца полтора спустя я знакомился со своим делом — стал искать там эти показания и не нашел.

— Где же они? — спрашиваю Камаева.

— На месте, конечно, где им быть. Да зачем вам, вы же их хорошо помните.

Снова листаю дело — нет их. Нет и других показаний, будто я «восхвалял американскую технику и клеветнически утверждал, что американцы переплюнут наших и первыми будут на Луне». Когда мы говорили об этом с Камаевым, я сказал, что хотя показания эти ложные, я действительно высокого мнения об американской технике и думаю, что они первыми высадятся на Луну. Разговор был в мае — июне. А ко времени знакомства с делом, в конце июля, как раз американские космонавты прошлись по лунной поверхности. И вот я не нахожу в деле и этого протокола. Где же он?

— Найдем, найдем, сейчас найдем,— бормочет прокурор, листая дело и косясь на присутствующего здесь московского адвоката Дину Исааковну Каминскую; а я уж по лицу его вижу: знает он, что ничего не найдет.— Нет. Значит, таких показаний не было. Вы что-то перепутали, Марченко!

Вот так. «Таков закон».

Между прочим, пока я сидел в следственной камере на Валае, мне пришлось узнать Камаева еще в одном воплощении. Зэки в карцере и ПКТ пронюхали, что здесь прокурор по надзору, и стали требовать его посещения: были у них жалобы. Каждый день я слушал крики: «Прокурора сюда! Зови прокурора!» — и в ответ могучую матерщину надзирателей. А однажды в коридоре раздался голос самого Камаева (пришел-таки!):

— А! ...вашу мать, прокурора вам?!

Камаев показал класс матерной ругани не ниже самих зэков и надзирателей.

Продержав недели две в следственной камере, меня отправили в Соликамск — до Ныроба на грузовике, а от Ныроба до места везли в воронке под двумя запорами: воронок заперт, да еще тесный бокс, куда меня затолкали, тоже на задвижке с замком. В боксе темно, ни щелочки. По остановке, по тому, как идет машина, потом снова остановились, догадываюсь, что въехали на паром. Значит, Чердынь. Будем переправляться через Вишеру.

Неприятное ощущение охватывает при переправе через реку вот таким макаром: запертым в воронке да еще в отдельном боксе. Я слышал, будто по инструкции МВД при переправе двери камеры в воронках должны быть открыты на случай аварии. Это только слухи про существование такой инструкции. Есть она или это выдумка, не знаю.

Сидеть в воронке запертым в темном боксе, обшитом железом,— очень неприятно. Так и представляешь себя в этом железном ящике падающим вместе с машиной с парома в реку. Кто ездил в наших воронках, тот знает, что такое здешние запоры и замки, задвижки. Их и в нормальных условиях открыть или закрыть проблема, конвоир долго возится, пока защелкнет замок. А уж в суматохе-то, да под угрозой гибели самого конвоира—не надейся, что тебя откроют, если машина скатится с парома в воду.

На память приходят рассказы заключенных, как такие вот воронки с зэками тонули и все зэки гибли.

Вспомнишь все трагедии, что тебе пришлось слышать о судьбе зэковской: то машина при переезде зимой через реку ушла под лед вместе с конвоем и зэками; то где-то под Свердловском загорелся вагонзак, и конвой выскочил, а зэков так и не выпустили, опасаясь, что разбегутся, все они заживо сгорели. Правда это все или фантазии — попробуй узнай! Ведь если такое и произойдет — ни одна газета об этом нам не сообщит.

В Соликамске, как в каждом порядочном городе, есть, кроме пересылки, своя тюрьма. Она расположена в бывшем монастыре. Поснимали только маковки со всех строений.

Поместили меня вначале одного в тройник, а на четвертый или пятый день ко мне поселили молодого парня лет двадцати двух. Он вошел с таким затравленным видом, пугливо посматривая на меня, что я посчитал его «чокнутым». После он мне открылся, и мне стала понятна его настороженность: начальник режима сказал ему, что в наказание за драку посадит к такому лагерному тигру, который его живьем съест и косточек не оставит.

— Он мне такого наговорил, что я здесь две ночи не спал, боялся тебя,— говорил сокамерник, теперь уже посмеиваясь.— У тебя, мол, пять судимостей и все тяжелые, с убийствами!

Пару раз меня вызывали и водили к Камаеву. Самим делом он мало интересовался. Любил он поговорить "без записей в протокол", просто так. А тема у него одна: зачем писал, зачем суешь нос куда никто не просит! И вывод один: свободы мне не видать.

В какой-то день меня вызывают из камеры, опять заталкивают в бокс воронка — куда, зачем везут, неизвестно. Но путь недолог. Привезли на вокзал, прямо к вагонзаку. Как обычно, все камеры битком набиты, а меня, прямо как короля, помещают одного в тройник. Правда, такой тройник — сверх решетки железная дверь с глазком — в вагонзаке служит карцером для особенно беспокойных пассажиров. Зато один! Впрочем, вначале нас четверо: я и трое конвоиров. Велят раздеться догола и производят шмон по всем правилам: «Присядь! Раздвинь ягодицы! Подними яйца!». Прощупывают, раньше чем вернуть, всю одежду, разламывают хлебную пайку. Что за честь, куда везут, уж не за границу ли? Чтоб не вывез буржуям в заднице бутылку «столичной»?

Нет, всего только в Пермь. Здесь сверхбдительность продолжается. У вагона всех заключенных выстраивают в колонну — впереди малосрочники, сзади, под носом у овчарок и конвойных, особо опасные рецидивисты в полосатых робах. На удивление всей колонне, меня ставят в хвосте «полосатых», и конвоир приковывает меня к себе наручниками: один защелкивает на моей руке, а второй на своей.

То ли меня сверх меры боятся — как смертника, которому нечего терять,— то ли сверх меры берегут. Для чего?

А вот для чего. В Перми меня из тюрьмы снова повезли куда-то. Привезли, осматриваюсь: ходят мимо одни в белых халатах, другие в пижамах. Ясно — психушка. Взяли без вещей — значит, пока на экспертизу. Посмотрим, что это за процедура; четвертый раз я под судом, а на психэкспертизу попадаю впервые.

В большом кабинете мне предлагают сесть за стол, за которым сидят уже пять-шесть врачей — мужчин и женщин. За моей спиной переминаются двое: тюремный офицер и какой-то тип в штатском.

Беседу со мной ведет женщина средних лет. Она задает примитивно провокационные вопросы: «Знаете ли вы, где сейчас находитесь?», «Почему вы здесь?», «Считаете ли вы себя больным или здоровым?».

Я отвечаю резко: меня раздражает и слащавый тон, и топтание типа в штатском, и игра во врачебную объективность, в которую хотят втянуть и меня. Я убежден, что если решено упечь меня в психушку, то и упекут с благословения врачей, а если хотят отправить в лагерь, так и на сто процентов чокнутого отправят именно в лагерь. Зачем же мне участвовать в их игре? Я решил вести свою игру, контрольную:

— Я отказываюсь беседовать с вами, так как вы все равно напишете то заключение, которого от вас потребуют.

— Если вы не отвечаете на наши вопросы, значит, вы больны, вы душевнобольной.

— По указке сверху вы напишете, что я болен, даже если я буду отвечать.

— Вы что, считаете себя таким знаменитым и великим, что вашу судьбу решают «сверху»?

— Точно, так и считаю. Можете отметить сразу две мании: величия и преследования.

— Послушайте, я ведь не следователь, а врач. Со следователем можете не разговаривать, если не хотите. Но мы, врачи, не имеем никакого отношения к вашему делу!

— А какое «дело» у вас в руках? — я показываю на толстую папку, которую она листает.— И почему здесь находятся эти люди? — киваю я назад, на офицера и штатского.

Хоть я и заявил, что отказываюсь отвечать, женщина продолжает задавать вопросы (заглядывая в папку): «Как вы относитесь к событиям в ЧССР?», «Какого вы мнения о жизни на Западе?», «Есть ли, по-вашему, в Советском Союзе свобода печати?».

— Скажите, вы каждому обследуемому задаете такие вопросы? И как влияет ответ на выводы экспертизы? Например, я скажу, что в СССР есть свобода печати,— может, после этого вы посчитаете меня психом, я и спорить не буду!

— Читаете ли вы газеты? — меняет тему эксперт.— А книги? Каких писателей любите?

— Герцена, Щедрина, Успенского, Гоголя, Достоевского...

— Почему же вам нравятся только писатели прошлого века?

— Да нет, я люблю и современных.

— Кого? — вскидывается она.

— На этот вопрос я не отвечу: об этом идет речь в моем деле. (Кроме «восхваления» Пастернака, мои «свидетели» приписывали мне также пропаганду среди них Солженицына и ... Аксенова. Каюсь, Аксенова я до того не читал, знать не знал, что за криминальный автор. Спасибо куму Антонову, после лагеря прочел; хороший писатель, вот только чем он Антонову не угодил? Или уже был у ГБ на учете?)

В июле, знакомясь с делом, я узнал заключение экспертизы; личность психопатическая, полностью вменяем. Таким образом, мой эксперимент подтвердил гипотезу: как бы я себя ни вел, решение было вынесено заранее. Уж я ли не косил на психа и шизика, а вот пожалуйста: вменяем, пожалуйте в лагерь!

После экспертизы просидел я в Перми еще недели две. К концу следствия отправили меня из пермской тюрьмы через Соликамск обратно в Ныроб — для проведения очных ставок и завершения прочих формальностей. То есть куда и зачем отправили, я, конечно, узнал, только прибыв на место: заключенного хотя бы и подследственного, переставляют, как предмет, не уведомляя о цели. Везли по-прежнему «с почестями» — из Соликамска в Ныроб самолетом, со спецконвоем. Самолетик маленький, трехместный, так что, кроме летчика и меня рядом с ним, поместился только один конвоир — зато не рядовой, а офицер. Перед взлетом заковали мне за спиной руки в наручники, да еще привязали их моим же ремнем к сиденью.

— Да не собираюсь я прыгать без парашюта,— пошутил я.

— Ничего! Так спокойнее!

Никто мне не мешал осматривать тайгу под крылом самолета. Крыло было совсем рядом, и я видел, как оно вибрировало то ли от работы двигателя, то ли от встречного потока воздуха.

Летим низко, все внизу отлично видно. Вот пролетаем какую-то реку, она петляет и извивается под нами, то отсвечивая, как зеркало, то, наоборот, темной лентой на фоне окружающей зелени. А вдоль ее берегов видны нагромождения леса, приготовленного для сплава, но почему-то брошенного и гниющего здесь годами. Обычная картина на всех таежных сплавных реках — то же можно наблюдать, например, на реке Чуне около поселка Октябрьский. Только с самолета обзор шире, поэтому впечатление более мрачное.

В Ныробе начался спектакль «очных ставок». Одни вызывали у меня горечь и даже жалость к моим «свидетелям», другие были настолько нелепыми, что смешили и меня, и других участников. По поведению свидетелей я безошибочно определял, кто из них стопроцентный провокатор, а кто запутался в сетях Антонова.

Андреев, Сапожников, Николаев — зэки, продавшиеся Антонову кто за что. Они ведут себя развязно. Своих «показаний», записанных на допросах, они не помнят, но вовсе этим не смущаются. Камаев читает им их протоколы:

— Свидетель, это вы показывали на допросе?

— Точно, точно. Это самое я и говорил.

Как козырная карта идет у них Сапожников: у него значится образование 10 классов. Такой свидетель выглядит приличнее. Он тужится, пыжится, пытается что-то вытащить из своей черепной коробки, но ничего не находит. Беспомощно смотрит на Камаева и Антонова, ожидая подсказки.

— Ну,— не выдерживает Антонов,— говорил Марченко на работе и в бараке, что за границей жизненный уровень выше, чем в Советском Союзе?

— Да, да,— с готовностью обрадованно подхватил Сапожников,— я вспомнил это. Он много раз говорил так, что там живут лучше, чем у нас. Я его одергивал, пробовал не раз переубедить, но он продолжал клеветать.

— А где, я говорил, лучше живут — в Эфиопии? — спрашиваю я.

— Какая разница,— неуверенно отвечает Сапожников, лакейски уставившись на Антонова.

— Марченко, вы неправильно себя ведете! — одергивает меня Камаев.— Повернитесь лицом ко мне, не оборачивайтесь к свидетелю! Вопросы можете задавать только через меня. Сапожников, продолжайте!

Но Сапожников больше ничего не может вспомнить. Тогда он предлагает:

— Вы пишите все, как надо, а я подпишу.

Иногда Камаев или Антонов, пользуясь моей глухотой, натаскивают свидетелей шепотом, так что я ничего не слышу, а только догадываюсь по движению губ, что они суфлируют. Чаще всего они читают по протоколу, и свидетель согласно кивает головой.

В один из таких моментов я не выдержал, поднялся со стула и вышел в коридор. Я сказал Камаеву, что участвовать в таких очных ставках не буду.

Вслед за мной в коридор выскочил Антонов. Он схватил меня за воротник куртки и, накручивая воротник на руку, второй рукой бил кулаком под ребра. Я уже задыхался, так как воротник куртки здорово затягивался на моей шее. У меня появилось большое желание ткнуть Антонову в глаз пальцем, ударить его ногой, словом, отбиваться, а не терпеть пассивно его издевательства. Слава Богу, я не успел этого сделать. В коридор вышел Камаев. Он быстро подошел к нам:

— Ладно, хватит с него, оставь!

Антонов отпустил меня и стал толкать в кабинет, шипя мне в ухо угрожающе: «Попробуй, шумни! Только попробуй шумнуть!»

Он вызвал сюда же двух надзирателей, и те стояли наготове в дверях.

— Сейчас как напялим на тебя рубашку, так зассышь-засерешь!— еще не отдышавшись, утирая пот платком, орал на меня Антонов.— Будешь как миленький не только слушать, но и подпишешь все сам!

Даже сегодня я не могу спокойно вспоминать об этом.

А Камаев улыбается: «Марченко, учтите, никто вас не трогал, не душил».

Очные ставки продолжали идти тем же порядком. Я в них никакого участия не принимал, теперь даже сам старался ничего не слушать, что было не так уж трудно. Видя мое полное безучастие и внешнее безразличие, Камаев, да и Антонов старались заводить меня посторонними разговорами, не по протоколу:

— Нет, Марченко, надо быть умнее. Книгу написал — а какой тебе прок? Слава где-то, а сам ты здесь, в лагере, и сидеть будешь, пока не сгниешь. Подумаешь, назвал одного-другого. Кто этого боится? Пожалуйста, вот о нас пусть хоть Би-би-си передает, хоть даже «Свобода». Ты наши фамилии знаешь, их мы не скрываем.

К этой теме они возвращались не раз:

— Можешь о нас передавать хоть в ООН, мы этого не боимся!

Так и вижу этих верных сынов отечества приникшими к транзистору в ожидании, что вражеские голоса не забудут и их имена. Это своеобразное тщеславие очень характерно для низшей администрации. Лариса рассказывает, что начальник Чунской милиции так же набивался на известность:

— Думаете, я боюсь, если вы передадите обо мне «Голосу Америки»? Я этого не боюсь. Моя фамилия Владимиров.

(Тогда же он спрашивал: «А кого вы больше не любите — милицию или КГБ?» — И с удовольствием услышал, что к милиции Лариса относится вполне лояльно, уважает ее функции. Видно, оценка политической ссыльной все же нужна была ему для самоуважения.)

Некоторые ведут себя на очной ставке не так нагло, как Сапожников; вид у них затравленный, они не глядят ни на меня, ни на Антонова с Камаевым, на их вопросы отвечают нехотя, через силу, озлобленно, как лают: «Ну, говорил!», «Не помню я, может, и так»... Ясно, эти попались Антонову на крючок — то ли из-за собственного трепа, то ли еще за какую провинность. Провокаторы вроде Андреева или Сапожникова помогли им стать лжесвидетелями, и хотя они не устояли, удовольствия, от того что врут мне в глаза, не получают никакого. Вроде даже приходится мне их пожалеть.

Но врут все. Не знаю, возможно ли в это поверить: *нет ни одного* правдивого слова, показания. Ни одного.

Мне, конечно, не удастся доказать это суду, я и не надеюсь. Но того хуже: мои друзья, вероятно, решат, что я вел себя в лагере опрометчиво и неосторожно, вряд ли они поймут, что все дело, от первого до последнего слова — беззастенчивая ложь. Ведь в основе обвинения лежит то, что я действительно думаю, что соответствует моим взглядам и мнениям. Да, я знаю, в США уровень жизни несравнимо выше, чем в СССР. Да, я думаю, что мы сильно отстали в развитии техники. Да, я вижу, у нас нет свободы слова и печати, собраний — тем более. Да, я считаю «братскую помощь» Чехословакии в 1968 г. оккупацией, агрессией, как ее определяет международное право.

Только в лагере я никому, ничего, никогда об этом не говорил.

Вот на очной ставке мой сосед по кровати. Он москвич, бывший таксист, а нынче классический уголовник: пьяница и наркоман, готовый украсть у товарища по несчастью последний рубль на картежную игру, откровенный стукач — частый посетитель кабинета Антонова. Помню, орет он на весь барак о чехах и словаках: «Да их, ..., всех до одного передушить надо! Мы их освободили, а они против нас! Пустить тысячу бульдозеров и сравнять все с землей! Все с корнем под гусеницы!»

Правду говоря, большинство в бараке разделяет его «критику справа», а остальные просто не проявляют интереса к событиям, происходящим дальше чем за двести метров от их задницы.

Зиму и весну 1969 года первое, что я читал в газетах, были сообщения о Чехословакии. Судьба этой страны стала для меня такой же близкой, как и судьба моего народа. Но поделиться в лагере своими переживаниями мне было не с кем. Прочитав газету, я уходил из барака, прогуливался позади него по моей индивидуальной тропинке и переживал наедине. В барак возвращался по сигналу «отбой», чтобы сразу лечь и не видеть, и не слышать окружающей мерзости.

Этот самый наркоман свидетельствует: «Марченко называл ввод советских войск в ЧССР оккупацией, я старался его переубедить, но он продолжал клеветать». Как похоже на правду! Да стал ли бы я излагать этому подонку свои взгляды не только на политику КПСС, а и на вчерашний обед в лагерной столовой?

Однако, как мне опровергать такие показания? Мол, я не такой, я не против политики партии, я все думаю правильно, как полагается советскому человеку? Этого я не сделаю.

Если ваши взгляды не такие, каких сегодня требует «линия КПСС»,— вы попадаете в порочный круг. Советские руководители твердят всему миру: «В СССР за убеждения никого не преследуют», советский закон признает право гражданина иметь любые убеждения. Но никому о них не заикайся! Два собеседника — это два свидетеля, что ты вел агитацию, пропаганду, клеветал, подрывал и совершал прочие «противозаконные деяния».

Предположим, я согласился с правилами игры и держу свои мысли при себе, для себя. Тогда я враг не только вредный, но и коварный, трусливый. «Голосует *за*, а сам *против*», как говаривал покойный Иосиф Виссарионович. Как опознать такого коварного врага и обезвредить его? Вообще-то для этого все средства хороши, но в разные периоды истории СССР преимущество отдавалось то одним, то другим. Сталинская когорта не затрудняла себя подыскиванием или созданием поводов — уничтожала противную мысль в зародыше и даже раньше, вместе с ее воображаемым потенциальным родителем.

На воле в 1968 году почему-то сочли неудобным судить меня за открыто высказанное мое отношение к нескольким важным проблемам — «у нас за убеждения не судят». Мое ныробское начальство узнает о них каким-то потусторонним образом — с помощью телепатии, службы информации КГБ, внутренний голос им сообщает; заодно тот же внутренний голос внушает им дать мне статью 190-I. Ну, так раз все известно, что я держу в голове своей,— провокация, фальшивка сойдет! Не отопрусь же я от своих взглядов.

Так или иначе, ни одно преступление у нас не должно остаться безнаказанным.

Так что со свободой убеждений дело обстоит в точности по новейшему анекдоту: «Товарищ юрист, скажите, имею ли я право...»— «Имеете, товарищ».— «Позвольте, вы же не знаете, о чем речь. Имею ли я право на...» — «Имеете право, имеете».— «Пожалуйста, выслушайте меня. Могу ли я...» — «А! Нет, не можете». Вот так: право имеете, но не можете.

Забавная деталь в моем деле: никто не свидетельствует, будто я высказывался о тюрьмах и лагерях. Получается, я им вкручивал насчет какой-то Чехословакии с ее чехословацким языком, насчет свободы слова (притом, кажется, не матерного), насчет неведомого Пастернака—Аксенова; и даже не заикнулся о том, что им ближе всего: о штрафном пайке и карцере, о самоубийцах и беглецах... Вот где могла быть почва для пропаганды. Нет, информацию об этих моих высказываниях Антонов с Камаевым не доверили даже самым верным своим стукачам и провокаторам.

«Коммунисты выпили из меня всю кровь! — будто бы кричал я в карцере,— Не буду работать на коммунистов!» Оба выкрика квалифицируются как «клеветнические лозунги».— Надо сказать, и то и другое довольно часто орут в лагере, в карцере, в тюрьме, это обычная формула выражения недовольства, повод может быть любой: не дали (отобрали!) курево, перевели в другую бригаду, отняли на шмоне теплые носки, не удалось достать морфий... Естественно, на такие вопли (плюс матерщина) никто не обращает внимания. Но когда надо было с чего-нибудь начать мое дело, Антонов извлек из своих мозгов единственный известный ему, прочно там засевший «лозунг»: «Коммунисты выпили из меня всю кровь!»

Унизительно доказывать, что я не произносил этих слов. В каком положении окажется мой адвокат? Адвокат должен опровергать обвинение фактами — здесь фактов нет и быть не может, одни слова с обеих сторон: «Было» — «Не было». И я решил на суде отказаться от защитника, чтобы не ставить Дину Исааковну в дурацкое положение. Буду вести свою защиту сам, все равно исход суда предрешен.

Я не ждал на суде ничего нового, приготовился услышать то, что уже читал в протоколах и слышал на очных ставках. Но я ошибся, переоценил срепетированность спектакля, переоценил старательность режиссера. Судебное разбирательство принесло мне несколько приятных для меня неожиданностей.

Провалился эпизод с выкрикиванием в карцере «клеветнических лозунгов». В деле он выглядел так: четыре свидетеля — дневальный ШИЗО зэк Седов, два надзирателя и зэк Дмитриенко, ремонтировавший печи в коридоре,— написали четыре заявления, что такого-то числа заключенный Марченко всякий раз, как открывали кормушку, выкрикивал в нее эти самые «лозунги».

Ни одного из них я не видел на очной ставке. И вот на суде вызывают Дмитриенко. Я помню его заявление и жду соответствующих показаний.

— Свидетель Дмитриенко, вы знаете подсудимого Марченко?

— Нет, я его вижу впервые.

— Как? А ваше заявление?!

— Да, я написал заявление по указанию Антонова. Я слышал эти выкрики, но не знал, кто кричал. Антонов сказал: «Кричал Марченко, так и пиши». Теперь я знаю, что это был не Марченко, а другой заключенный, из другой камеры. Если суд меня спросит, я назову этого человека: он присутствует здесь, в зале...

Нет, прокурор не хочет узнать имя настоящего «виновного». И судья, и заседатели не задают Дмитриенко этого вопроса. Мог бы спросить я, но не стану я навлекать неприятности на голову неизвестного мне зэка, хоть бы он вопил, что не коммунисты, а я сам выпил его кровь.

— Свидетель Дмитриенко, кто еще вместе с вами слышал эти лозунги? — спрашивает судья.

— Вместе с оперуполномоченным Антоновым меня убеждал показать на Марченко дневальный, заключенный Седов. Он тоже написал такое же заявление. Недавно Седов помилован по представлению администрации и уже освобожден из лагеря...

Седов помилован! Он отсиживал в ПКТ (и дневалил там) за систематические и злостные нарушения, его шестимесячный срок отсидки еще не кончился, а он уже выпущен не только из ПКТ, но и из лагеря. Заслужил! Какую же характеристику написал ему Антонов на помилование?

Я прошу суд точно занести в протокол показания Дмитриенко. И еще я просил вызвать свидетелями тех заключенных, которые вместе со мной сидели в карцере. В деле нет их показаний — значит, Антонов либо поленился, либо не сумел обработать их.

— Кого именно? — спрашивает судья Хреновский.— Назовите фамилии.

— Я не знаю их по фамилиям.

— Ну, подсудимый, как же мы сможем найти ваших свидетелей?

— Найдете легко: по журналу, где регистрируются все заключенные в ПКТ и в ШИЗО — и фамилия, и день, и час, даже минуты.

Суд решает удовлетворить мое ходатайство. Пока что до завтра объявляется перерыв, и меня уводят в камеру. Здесь я вечером снова вижу Дмитриенко: он раздает ужин в кормушку. До этих пор мне не удавалось увидеть раздатчика — он опасливо отходил от моей кормушки, сунув мне в руки миску; я видел только его руку, которая моментально отдергивалась. Теперь я понимаю, Дмитриенко знал, что в камере сидит Марченко — тот самый, на кого он написал донос, к тому же ложный! Как бы этот Марченко из мести не выколол ему глаза или не плеснул в лицо горячей баландой! Это старый лагерный способ отомстить врагу. А сегодня Дмитриенко увидел, что «тот самый Марченко» вовсе не тот, и, значит, мы уже не враги. Он стоит у кормушки и улыбается:

— Прости, земляк, я же вправду не знал, Седов, подлюга, и кум впутали меня: «Марченко и Марченко, пиши, что Марченко...»

Коридорный торопит его, захлопывает кормушку, и уже через дверь я слышу:

— Седов-то знал, он за помиловку куму продался!

В этот вечер у меня было отличное настроение: Дмитриенко испортил им представление. К тому же у меня в руках небывалая передача: жареная курица, виноград, пирожные, огромная сочная груша. Все это привезла мне из Москвы молодая адвокатесса, приехавшая на суд вместо Дины Исааковны. Я отказался от ее помощи, как решил заранее. Постарался объяснить ей мои причины. Мне было очень пе-

ред ней неловко, она летела ради меня в такую даль — получается, чтобы передать мне курицу и грушу. Но чувство неловкости не испортило мне аппетита.

Передали мне передачу прямо в суде, и я под конвоем возвращался в камеру, торжественно неся авоську с торчащими из нее куриными ногами, а виноград и грушу, чтобы не помять, я положил на самый верх. Навстречу нам попался старшина, который вез меня на суд из Соликамска и злобно издевался надо мной всю дорогу: не дал есть, оправиться заставил на виду у народа; при этом он еще страшно матерился. Старшина, толстый как боров, моментально углядел необычные здесь предметы: курицу, грушу, виноград. Глаза у него округлились:

— Ни... Откуда это у тебя?

— Суд преподнес.

— На каком праве?! Не положено!

— Вез без обеда, так не спрашивал про право, а увидел у зэка курицу, права вспомнил?

— Не давай ему занести передачу! — отдал старшина распоряжение конвойному.— Я сейчас скажу, чтоб ее обратно забрали. Придержи его, пока я сбегаю!

— Пошел ты! — обозлился конвойный.— У себя в Соликамске командуй! — И он отвел меня в камеру.

На всякий случай я съел все, что мог осилить, пока не отняли. Правило зэка: хватай, что тебе досталось, и не выпускай из рук. Лагерные правила и привычки так крепко въедаются в натуру, что сказываются и на воле.

Помню, в 67-м году после десяти лет лагерей освободился Леонид Рендель. Московские знакомые устроили встречу, ужин был со всякими вкусными вещами. Кто-то обратился к нему:

— Леня, а как ты думаешь?..

Готовясь ответить серьезно и обстоятельно, Рендель тщательно облизал ложку с двух сторон — *отшлифовал* по-лагерному и сунул ее в верхний карман новенького, сегодня впервые надетого костюма. Зэк носит ложку всегда при себе, в единственном кармане лагерной робы.

В другой раз я, выходя через контрольный пост в большом московском гастрономе самообслуживания, совершенно автоматически поднял руки вверх, подставляя бока под привычное ощупывание, как на шмоне в предзоннике. Публика вокруг замерла, а я даже не сразу понял, в чем дело.

А когда мы с Ларисой регистрировали наш брак в московском ЗАГСе, разыгралась комическая сцена. Свидетелями у нас были Люда Алексеева и Коля Вильямс — он отсидел свой срок еще при Сталине. Распорядительница с лентой через плечо торжественно приглашает нас:

— Проходите вперед, по одному, пожалуйста.

И вот впереди шествует жених, то есть я, а в затылок ему бредет свидетель кандидат наук Вильямс — и оба взяли руки назад! Картина под названием «Прогулка заключенных»...

...На следующий день в суд привели «моих» свидетелей — тех, кто сидел со мной в карцере. Их прошло человек двадцать. Я едва мог их вспомнить, там ведь в камере состав каждый день меняется. Ни один из них не подтвердил, что я что бы то ни было кричал там.

— Этот, Глухой-то? Да он и к кормушке при мне ни разу не подходил.

Двадцать человек в одной камере со мной не слышали от меня никаких выкриков. А Седов в коридоре слышал!

Среди вызванных свидетелей, моих сокамерников, вдруг появляется один, которого я раньше никогда не видел, ручаюсь: очень изможденный, типичное восточное лицо, узбек, что ли; я бы запомнил, если бы видел. Фамилии его я не расслышал. Неожиданное сразу настораживает: наверное, Антонов сунул своего человека в общую массу. Еще один настораживающий момент: образование средне-техническое плюс вечерний университет марксизма-ленинизма. «Уж этот скажет!» — думаю.

— По какой статье осуждены? — спрашивает судья.

— Сто девяностая первая, срок три года.

«Что-что? — чуть не закричал я вслух.— И такой здесь нашелся! Коллега, откуда ты и за что?»

Прокурор тоже оживился. Он даже обратился к новому свидетелю с речью-призывом: «Ваши показания будут очень ценны для суда».

— Я постараюсь. Я все понимаю,— соглашается тот.— Я сижу в карцере постоянно, так как отказываюсь работать. А работать отказываюсь, потому что не в состоянии справиться физически. И я решил лучше сидеть на голодном пайке в карцере, чем на полуголодном надорваться на работе. Таким образом, я был в карцере и тогда, когда там был Марченко, которому приписывают выкрики,— я этих выкриков не слышал...

— Свидетель, почему вы говорите «приписывают»?

— Не я один говорю, весь лагерь говорит. И надзиратели тоже.

— Суду ясно, что вы ничего не можете сказать по существу дела...

— Могу сказать. По существу дела говорю: выкрики — по существу, да? Я в лагере таких выкриков наслушался, повторить боюсь. Не от Марченко, я Марченко не видел. От всех. Сначала я пробовал останавливать их, так меня оскорбляли, обзывали коммунистом и комсомольцем — в ругательном смысле. Даже били.

— Свидетель, это все к делу не относится. Идите.

Я не все разбирал, что говорил этот парень: он торопился успеть побольше, пока его не оборвали. Так и не пришлось узнать его фамилию.

Эй, приятель! Где ты? Досидел ли до конца срока в карцере? Пригодилось ли тебе твое марксистское образование?

И других свидетелей я часто не слышу. Ни слова не разобрал из показаний молоденького парнишки — солдата срочной службы, присланного служить в лагере. Он стоял совсем рядом со мной, я видел, как он едва шевелил губами. Отвечал он, опустив голову, глядя себе в ноги. Вот бедняга!

Но немало и таких, кто ораторствует с удовольствием, хотя и без особого мастерства:

— Да, клеветал. Не помню, что именно говорил, но клеветал, это точно.

— Ложно утверждал, что в ЧССР танками задавили свободу, а какую свободу, не сказал.

— Я пытался Марченко переубедить, но он со мной не соглашался.

Эта фраза в единственной редакции присутствует в показаниях всех «запрограммированных» свидетелей. И еще все они повторяют: «Клеветал, но никогда не навязывал своих взглядов» — это странное словосочетание, вряд ли понятное тем, кто его здесь произносит, вполне понятно мне. Оно обозначает, что мне велено дать именно 190-1, никак не выше. И то слава Богу.

Свидетелей прошло столько, что их показаний хватит на каждый проведенный мною в Ныробе день. Такого-то числа клеветал, такого-

то заявлял, такого-то выкрикивал. Словом, болтал без умолку, рта не закрывал. Притом единодушная характеристика рисует меня как человека мрачного, замкнутого, недоверчивого, неразговорчивого.

На том, собственно, и конец. Барабанную речь прокурора, если б и хотел, я не мог бы повторить. Как и на всех известных мне у нас политических процессах, она состоит из набора бессодержательных газетных штампов: «Под руководством коммунистической партии», «строительство коммунистического общества», «идейно-политическое единство», «идеологические диверсии Запада», «несколько отщепенцев» и тому подобная дребедень.

Примечательно было лишь обращение прокурора к специфической аудитории: «Хотя каждый из вас отбывает здесь справедливое наказание, все вы здесь люди советские и показали это своим отношением к поведению Марченко. Что же, как говорится, в семье не без урода...»

Я защищал себя без азарта — бесполезное дело. Но все же не упустил, кажется, ничего: ни свидетельства Дмитриенко, ни показаний моих сокамерников. Говорил я и о существе обвинения, о произвольном толковании понятия «заведомо ложные измышления». Судья Хреновский несколько раз останавливал меня, но все же я договорил, закончив тем же, с чего начал: «Дело сфабриковано Антоновым и Камаевым».

Приговор был: два года лагерей строгого режима. Мягче, чем я ожидал. Могли дать максимум, три года, а дали на год меньше; могли признать особо опасным рецидивистом и отправить на спец, к «полосатикам». Да что я говорю! Могли бы, если бы им приказали, дать с тем же успехом 70-ю, срок до семи лет. Хозяева проявили милость и гуманность. Не благодарить ли их за это?

Если бы без суда, без этой комедии, в которой тебе отведена роль и ты поневоле, нехотя вживаешься в нее, включаешься в игру, если бы так просто, *от фени*, спускалось тебе на голову предопределение: «отсиди два года! А тебе три, тебе все семь — по щучьему велению, по моему хотению!» Право, это было бы не так обидно и не так унизительно.

В моем приговоре, в части обоснования, сказано, что моя вина подтверждается свидетелями — дальше перечислены все, кто что ни говорил. Что касается моих сокамерников, то их показания «не опровергают вины», так как они могли и не слышать «клеветнических лозунгов», которые выкликал Марченко.

Дмитриенко в приговоре вообще не упомянут — как бы его и не было.

Так для чего было устраивать всю эту говорильню?

Черт побери, мне-то зачем нужно все это?!

И все-таки я добиваюсь, чтобы мне показали протоколы суда. По закону полагается всем участникам процесса, и обвиняемому тоже, подписать протоколы — обычно их подписывают не читая, обвиняемый даже не знает, что он подписывает. Потом подает апелляцию, мол, то-то и то-то суд рассмотрел неправильно, и получает ответ: «Материалы дела не содержат оснований для пересмотра». А он эти материалы подписал не глядя!

Я не собираюсь подавать на пересмотр; но все же требую:

— Я хочу ознакомиться с протоколами.

— Зачем вам? — ворчит судья Хреновский.— Вы же все слышали. Или вам что-то неясно?

А соликамский старшина здесь же, в зале суда, набрасывается на меня с матюгами и чуть ли не с кулаками: ему неохота торчать, дожидаясь меня, в этой дыре еще день-два.

В протоколах я обнаружил то, что и ожидал. Все записано кое-как, небрежно, переврано все, что только можно переврать; это обычно, девчонки-секретарши сами не понимают, что пишут. Но вот показаний Дмитриенко нет вообще, даже его имя не упоминается — это намеренное искажение исходит, конечно, не от секретарши.

К явному неудовольствию Хреновского, я дополняю протоколы показаниями Дмитриенко, подписываю сам и предлагаю подписать судье мои дополнения.

Нет, мне кажется, психологию человека в моем положении можно понять. Но психология поведения государства в таких случаях для меня всегда загадочна.

Вот, например, в 30—40-е годы миллионы людей гонят в лагеря или прямым ходом в могилы. Гонят без разбора, чуть ли не без учета. Но перед тем колоссальная армия следователей и их подручных по всей стране выколачивает из арестованных: «Подпиши да подпиши показания! Подпиши, что ты шпион!» Зачем? Для открытых процессов нужны были десятки, а это ж из миллионов старались выбить. В конце концов подписал — не подписал, одна судьба: какая-то тройка, пятерка — и всех гуртом на Колыму, на Воркуту, в Норильск или к стенке. Это сколько ж бумаги перевели, сколько следовательских человекочасов, сколько им зарплаты переплатили за двадцать лет! И кормить их, следователей, надо было все ж таки калорийно, чтоб хватало силы бить по зубам. Да и на арестованных за время такого «следствия» какой-никакой казенный харч шел — безо всякой отдачи. Зачем? Не могу понять.

Нынешние политические суды менее разорительны, поскольку их меньше числом. Но тоже пустые траты: за одного меня Камаеву три месяца зарплата шла? Шла. Возили меня из Валая в Соликамск, в Пермь, в Соликамск снова, в Ныроб, обратно, опять в Ныроб на суд, еще раз в Соликамск: то машиной, то поездом, то даже на самолет пришлось разоряться. Конвою плата, и корми его. А сколько зэков сорвали с работы, дергая свидетелями то на следствие, то на суд, то на очные ставки! Небось квартальные планы из-за меня недовыполнили, влетел я лагерю в копеечку. А дали бы срок сразу, без суда-следствия, без всей этой волокиты — глядишь, какой я ни работник, хоть собственное содержание (включая охрану, амортизацию колючей проволоки и прочее), хоть эти траты оправдал бы.

С первого дня обвинения и до конца, до приговора, все, все участники дела — и я, и Антонов, и прокурор, и судья, и свидетели, и те, кто дал указание,— все знают, что плетут бесполезный узор, не имеющий к жизни, к реальности никакого отношения. И все-таки каждый старается сплести свою часть покрасивее, поискуснее.

По полтора года продержали под следствием Орлова, Гинзбурга, Щаранского — для чего? И к лету 1978 года следователи за полуторагодовую зарплату не накропали больше, чем было у них в феврале 77-го: фальшивые доносы Петрова-Агатова и Липавского повторены в наших газетных сообщениях о судах даже теми же самыми словами.

Мне приходит в голову, что смысл всех этих действий, всех этих следствий и судов — тот же, что в каких-нибудь ритуальных плясках,— символический смысл. Повторение слов «клевета», «измышления», «шпионская деятельность» и тому подобных нужно вроде заклинания «сгинь, сгинь, пропади». Прокурор шаманит, а все прочее — необходимые декорации. Вот только не знаю, бывают ли при обычном шаманстве человеческие жертвоприношения.

Вечером мне в окошко камеры через решетку влетела записка — мелко-мелко исписанный тетрадный листок, туго скатанный в пулю. Там говорилось, что на одного свидетеля было заведено уголовное де-

ло за хищения стройматериалов с объекта, и Антонов обещал закрыть дело за плату — показания против меня.

Многих других свидетелей Антонов ловил так же: не дашь показаний на Марченко — сам пойдешь под суд, на тебя хватает материалов. Другим говорил: Марченко сам во всем признался, а ты его покрываешь, будем тебя за это судить. Вся зона это знает.

Нового для меня в записке ничего не было, но приятна была доброжелательность кого-то, мне неизвестного, после того падения к подлости, которое я видел на суде.

Я долго в тот вечер проторчал у окна. Барак ШИЗО стоял на бугре, и из окна хорошо видно было пространство за запреткой. За деревянным забором с карнизом из колючей проволоки — запретка по ту сторону; мотки проволоки, скрученные большими кольцами; проволока, настеленная низко над землей замысловатыми узорами, с навешенными на ней пустыми консервными банками. Дальше забор из колючей проволоки, за которым бегают на цепях сторожевые псы. Метрах в двадцати от псов находился старый полуразрушенный сарай, вокруг него и над ним резвились, носились воробьи. Они, конечно, здорово шумели и чирикали при этом, но звуков я не слышал, только догадывался.

Галки не носились, вели себя очень важно и деловито. Они расхаживали по крыше и то и дело вертели головами. А высоко над сараем в чистом предзакатном небе кружил не спеша большой каплун. На высоте трудно было разобрать цвет его оперения, но я видел, как он часто вертит головой, видно, высматривая добычу под собой. Иногда он камнем падал к земле неподалеку от сарая. Но не всегда долетал до земли, а чаще где-нибудь на полпути неожиданно распускал свои широкие крылья и начинал делать плавные круги. Постепенно он снова набирал высоту. И пока он ее набирал, я успевал хорошо рассмотреть его окраску: он был темно-коричневого цвета, скорее даже бурого, и вдоль темных крыльев ярко вырисовывалась светло-желтая полоска.

Ночью я не спал. Не Бог весть какой срок мне отвалили — всего два года. Этот срок меня не пугал нисколько (или мне только казалось так): ведь в 67-м я готовился к худшей участи. Во всяком случае, мне казалось, что если бы я получил не два года, а семь по 70-й, но не по ложным обвинениям, а за книгу, за открытые письма — за то, что я на самом деле совершил,— мне было бы легче, не было бы ощущения подавленности и угнетенности, как сейчас. Помимо унижения из-за всем очевидного вранья, которое невозможно опровергнуть, я чувствовал безысходность своего положения, полную свою зависимость от невидимого хозяина. Захочет — отпустят меня через два года, а нет — снова дадут такую же «говорильную» статью, 190-I или 70, на тех же основаниях. «Он говорил», «он утверждал», «он клеветал».

В какие-то моменты этой ночью я так и думал, что конца моему сроку не будет, станут мотать мне нервы, добавляя каждый раз то два, то три года в надежде добиться-таки от меня отречения, опровержения моей книги, моей позиции. И это чувство неуверенности не оставляло меня все следующие два года заключения.

Публикация Л а р и с ы Б о г о р а з

Владимир Леонович

ТЕРПЕНИЕ СВОБОДЫ

Сводный хор

Ливмя не льет великая вода —
сочится из небесных мелких сит.
Олёша мало пьет, но пьет всегда —
как тихий этот дождик моросит.
В печи осина тлеет, а в щели
свою свирельку пробует сверчок,
и сыплет мелкий дождичек или,
поласковей сказать мусеничок.
Олёша извинит, что я не пью,
ну по одной, пожалуй,— помянуть
родителей — попа и попадью —
о всех, тогда погубленных, вздохнуть.
Мне надо описать олёшин вздох
порушенной сердечной глубины,
кряхтенье-оханье:
дак'ой!.. да'оох! —
как достояние родной страны.
Нет, шутки в сторону: т а к о й фольклор
заслуживает пленок или нот.
По крайней мере некий сводный хор
мне слышится — т а к дышит мой народ.

Никола с переломанным хребтом,
с обрушенными ребрами стропил
как мертвый кит темнеет за окном.
Лохмотья крыши дождик окропил.
Близ алтаря шалман и коновязь,
сортира нет, понятно, ну и вот...
Чужим умом однажды соблазнясь,
премного наглупил честной народ...
Ты не мочи, Олёша, в водке хлеб,
женись — продлится род... Отец Чулков
был просветитель, отправитель треб,
политик: одобрял большевиков,
в трактате предлагал им сочетать
Христа и Маркса, дабы жить л ю б я —
за что его и надо было взять
у всей округи здешней, у тебя...
Ты помнишь? Помнишь — четырех-то лет.
Попенок... Как пришибли — так живи.
Понравилось им слово э л е м е н т,
с ума сошли — хоть смейся, хоть реви!
Отец учил детей и книги вел
рождений и успений — все сожгли.
Коробились листы, и пепел цвел...
Известно было, как произошли
Баданины, Костровы, Шадрины —
их родословье до семи колен.

И пепел — достояние страны,
и дым отечества, и тайный тлен...
В Никольске был отец еще живой,
на пересылке, но ходил едва.
А где уж там прибил его конвой,
то ведает болотная трава.
Дорогу ту я помню: мы по ней
ходили в любознательный поход
со старшим классом...
Гати все черней,
все каменнее в крепости болот.
Не надо краеведов-знатоков
о многом спрашивать — я не спрошу,
где сгинул мученик отец Чулков,
а только постою да подышу
как сын его, как все мы или как
болота эти дышат... Вот они
и знают о пропавших мужиках.

Во царствии Твоем их помяни,
о Господи!
Да как же ты... Дак 'аах...

Как ты съеден

...Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа.

Гоголь

Дыня съедена и тыква,
позабыты век и день.
К летописи не привыкла,
не привыкнет наша лень.
Сонное проходит время —
сон родимый — 300 лет —
обнаруживают семя
и является на свет...

Повстречал я человека
редкого: у старика
всей стеною картотека
высится до потолка.
Скажем, ты в веках бесследен,
канул-сгинул. Между тем
тут известно, как ты съеден,
где, когда, за что и кем.
Почивай отныне с миром,
тут тебе и крест и кров.
Так угодник Федор Тирон
за руку ловил воров,
краденое возвращая —
обращая время вспять! —
нравы отчие смущая:
мол, украдено, и маттть...

Вот — известия из первых,
из десятых рук молва...
Сложный путь корней и нервов,

обозначенный едва.
Вероятная отсылка
поплыла через века,
как сигнальная бутылка
с бедственного островка.
Кутаясь в морскую тину —
родовую пелену —
доплывет ужо в картину
к новому Карамзину.
Обомрет душа, оплачет
каждую из наших бед,
часть и целое означит
через триста русских лет.
Плачь, потомок!
В позднем плаче
выражаются сполна
время, человек, страна,
суд и гнев, а наипаче —
покаяние. Вина.

Отрывок

...То было обсужденье кары,
разъятье пользы и вреда —
дым коромыслом! Кулуары,
паденье Страшного Суда,

базар и душераздиранье
и заворачиванье в лист...
Внимая стоголосой брани,
задремывал протоколист.

От этой свары несусветной,
от этой стыдной суеты,
от этой плоской и газетной
и малодушной правоты —

прочь! Хоть какой барак и нары —
но не базар, нет, господа!..
Дым коромыслом! Кулуары,
паденье Страшного Суда.

Переживи!

Моя горячая молитва
сегодня та же, что вчера:
пошли мне мальчика, элита,
дитя исторгни из нутра,
чей дядя самых честных — грабил,
чей папа дядю убивал,
но родственнику не потрафил
и все-таки несдобровал...
Пусть мертвецы отцы и дяди
грызутся сами по себе —
внуши разумному дитяти
всё, ненавистное тебе!
А он уж книги пожирает
в своих библиотеках-спец
и для начала презирает
весь род людской.
Но ты, отец...
Все зашаталось, мальчик милый,
на страшной хляби — на крови.
Но не стреляйся над могилой —
переживи, переживи!
Он опрокидывает плиты:
лицом — во тьму!
Лицом — во тьму!
Пошлет мне мальчика элита
и в спину выстрелит ему.

Смерть поэта

Септемврия двадцать шестого
все семеро учеников
ведут наперсника Христова —
им радуется Богослов.

Уже стоит в виду Ефеса —
короной — свет со всех сторон,
как та полярная завеса.
И смерти радуется он.

Столетний разум тверд и ясен...
И повелел, глаза смежив,
гроб истесать крестообразен
и в оном погребеся жив.

И то, что век ему служило,
спросил орлиное перо,
затем, что время смерти — живо,
а не мертво.

И явственно еще, и слабо
он говорил свои слова,
егда возлег крестокрылато...
Но мы бежали от волхва.

Царь-свеча

В моем отечестве любому палачу
всегда в достатке памяти и чести.

На Красной площади на Лобном месте
поставить надлежит свечу
за упокой невинно убиенных,
крест высечь и звезду —
два символа и знака сокровенных,
умерить скорбью их вражду.
Равно пригодны для распятья
крест и звезда.
Хоть мертвые теперь вы братья,
товарищи и господа.
А место Лобное, конечно,
задумано и было как подсвешня
для небывалой Царь-свечи.

Постой минуту.
Помолчи.

Терпение свободы

Мне говорит природа,
печаль свою даря,
что есть еще свобода
и в капле янтаря.

Она совсем другая:
крылом не шевелит
и смотрит не мигая
и больше не болит.

Вот капля золотая
в оправе на груди...
Но вечность коротая,
ты не проспи гляди!

О том и речь природы,
что камень
разольет
терпение свободы,
что вечен твой полет,

хоть велика отсрочка
и хорошо во сне,
пока бежит цепочка
по теплой белизне.

Владимир Карпов

МАРШАЛ ЖУКОВ, ЕГО СОРАТНИКИ И ПРОТИВНИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ И МИРА

(ЛИТЕРАТУРНАЯ МОЗАИКА)

НА ТОЙ СТОРОНЕ, ИЮЛЬ — АВГУСТ 1941 ГОДА

По всей Германии громкоговорители гремели военными маршами. Будто вся страна участвовала в военном походе. Праздничное волнение охватило народ. Геббельс с пафосом поздравлял соотечественников с новыми победами, с ликованием провозглашал все новые и новые названия городов, которыми овладела германская армия.

В Ставке Гитлера тоже праздничное настроение, все приветливы, улыбчивы. Отброшены заботы, сомнения и колебания, на фюрера смотрят с великим почтением. А как же — победитель Франции, Польши и вот уже почти покоритель России!

В присутствии фюрера говорят только шепотом. В полный голос, раскатисто и победно, говорит только он. И всем это понятно и приятно. Имеет право!

Третьего июля, на двенадцатый день войны, Гальдер записал в своем дневнике: «В целом теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена... восточнее мы можем встретить сопротивление лишь отдельных групп, которые, принимая во внимание их численность, не смогут серьезно помешать наступлению германских войск. Поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена».

А Гитлер на очередном совещании 4 июля многозначительно заявил:

— Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить.

Не надо думать, что гитлеровцы были людьми легкомысленными, и представлять их так карикатурно, как порой описывали наши газеты, просто наивно. У руководства германскими вооруженными силами были довольно весомые основания для хорошего настроения.

Окрыленный успехами первых двух недель боев, Гитлер рассуждает о делах, которые будет осуществлять вермахт после завершения восточной кампании. Он вообще настолько верил в реальность своих замыслов, что еще до нападения на СССР отдал соответствующие указания, и генштабисты разработали директиву № 32. Гитлер подписал ее 11 июня 1941 г.

Эта директива ставила задачи на операции вермахта после осуществления плана «Барбаросса». Предусматривалось, что после разгрома вооруженных сил Советской России, «исходя из обстановки, которая должна сложиться в результате победоносного завершения похода на восток, перед вооруженными силами могут быть поставлены на конец осени 1941 г.

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11 за 1989 г.

и зиму 1941/42 гг. следующие стратегические задачи». Дальше излагались эти задачи: в Северной Африке захватить Тобрук и наступать на Суэцкий канал; из Закавказья бросить механизированный экспедиционный корпус в Иран и Ирак; блокировать западный вход в Средиземное море путем захвата Гибралтара и так далее.

Но, кроме лучезарных планов, существовали реальная обстановка, реальные войска, которые продолжали сражения. А реальность эта была такова, что группа армий «Центр», понеся большие потери в боях за Смоленск, имела на своем правом фланге отставшую группу армий «Юг», войска же нашего Юго-Западного фронта угрожали тылам продвинувшейся вперед группы армий «Центр» и могли нанести ощутимый контрудар, а при хорошей организации и отрезать эти прорвавшиеся вперед армии центральной группы.

И вот у фюрера появилась забота: куда двигать войска дальше — на юг или на север? О том, почему возникла такая проблема, кто заставлял об этом думать, в окружении Гитлера как-то не принято было говорить. Просто возникла проблема, и фюрер в театральной позе, предрешая гениальность своего выбора, изрекал: «Это будет самым тяжелым решением этой войны». Втайне он уже, видимо, понимал, что ставка на молниеносный удар не сбывается. Во всех вариантах восточной кампании, которые разрабатывались до начала войны, предусматривалось — не допустить отхода частей Красной Армии в глубь территории Советского Союза, все они должны были быть окружены и уничтожены до рубежа Днепра. Однако это явно не состоялось.

Внешне Гитлер был спокоен и важен, но в сознании его что-то заметалось в предчувствии беды. Это можно сегодня подтвердить несколькими отданными им директивами. Была целая вереница директив, причем одна другую догоняла, уточняла и даже отменяла.

19 июля, опасаясь за судьбу армий «Центр», Гитлер вынужден был отдать директиву № 33, кстати, это первая директива после подписанного в начале войны плана «Барбаросса», которая конкретизировала дальнейшие действия войск.

Согласно этой директиве приостанавливалось наступление группы армий «Север». Командующему группой армий «Центр» Боку было приказано заняться наведением порядка в своих армиях, и особенно восстановить боеготовность танковых соединений. Рундштедту — группа армий «Юг» — приложить все силы для уничтожения советских армий и не позволить им уйти на восток, за Днепр.

Вынужденный отдать такое приказание Гитлер был этим очень недоволен, потому что подобная приостановка никак не входила в прежние расчеты ни его, ни верховного командования вермахта. Многие генералы из окружения Гитлера всячески подбивали фюрера на продолжение безоглядного наступления на Москву, да и сам Гитлер, все время искавший возможностей осуществить свои прежние намерения, вдруг, вопреки логике событий, неожиданно для командующих, 23 июля отдает дополнение к директиве № 33, которое в корне меняет ранее поставленные задачи.

Теперь Лееб группой армий «Север» должен — без дополнительных танковых сил — взять Ленинград. Бок группой армий «Центр» — взять Москву и, кроме того, 3-й танковой группе, входящей в состав его войск, приказано двинуться к Волге. А Рундштедт на юге, получив подкрепление, должен был пройти через Харьков и Донбасс, вторгнуться на Кавказ и осуществить дальнейшие планы, намеченные в директиве № 32, то есть двигаться в Ирак и Иран.

Как видим, Гитлер, не считаясь с обстановкой на фронтах, пытается волевым напором осуществить свои заветные замыслы. В данном случае он был похож на Сталина, который тоже частенько, не считаясь с обстановкой, исходил лишь из своих желаний. Но у Гитлера позиции были, пожалуй, попрочнее. Зачем ждать? Противник разгромлен, он шатается, его надо только толкнуть! Ведь несколько дней назад всем было ясно — война выиграна.

Главнокомандующий сухопутными силами Браухич и начальник генерального штаба Гальдер поняли невыполнимость задач, которые ставил в этих новых указаниях Гитлер. Они высказали свои точки зрения, но аргументы их не были признаны достаточно убедительными.

Тем временем на западном направлении продолжалось Смоленское сражение. В районах Ярцева, Ельни, Смоленска, в котлах у Могилева советские войска действовали очень активно, исход этих боев был настолько непредсказуем и успех действий советских войск мог привести к таким тяжелым последствиям, что Гитлер был вынужден 30 июля отдать еще одну, очередную, директиву № 34, которой практически отменял свой предыдущий приказ и в которой снова давал указания о переходе к оборонительным действиям.

Командующий центральной группой войск Бок был очень недоволен этим приказом, потому что он все еще был уверен, что сможет решительным рывком в сторону Москвы опрокинуть советские части и овладеть столицей.

После войны гитлеровские генералы обвинили своего фюрера в авантюризме и недостаточной стратегической грамотности. Но сравнение действий фюрера и его командующего на центральном направлении свидетельствует как раз об обратном. В данном случае Гитлер, опасаясь тяжелых последствий в результате наступательных действий советских армий, приказывал Боку остановиться, отбить наступление, дообеспечить свои войска, привести их в порядок и только после этого возобновить наступление. Однако Бок готов был ослушаться фюрера, он заявлял: «Мы теряем огромный шанс... Необходимо двигаться вперед, на Витебск, не обращая внимания на создавшиеся в тылу котлы». Главнокомандующему Браухичу он сказал: «Принципы современной войны требуют продолжать наше движение на Москву. Мы разбили большое число соединений противника». Более осторожный Браухич говорил Боку о том, что в тылу остались еще сильные советские части и надо перейти к временной обороне. Но Бок продолжал настаивать на своем.

Для того, чтобы окончательно разобраться в сложившейся обстановке и сделать заключение, кто же прав — Бок или Браухич, Гитлер 4 августа прилетел в Борисов, в штаб группы армий «Центр». Главным вопросом, который назрел и по поводу которого Гитлер должен был принять решение, был вопрос о том, где сосредоточить основное усилие — на наступлении на Москву или на взятии Киева.

Совещание началось с доклада Бока об обстановке на фронте группы армий «Центр». Он обрисовал положение войск, их состояние и материальное обеспечение.

Гудериан, доложив обстановку перед фронтом своей 2-й танковой группы, особо подчеркнул:

— Для продолжения операции необходимо восполнить потери в офицерах, унтер-офицерах и солдатах, а также в технике. В случае подвоза необходимого числа новых двигателей можно на 70% восстановить боеспособность танков для ведения глубоких операций. Если группа получит меньше, то сможет проводить лишь ограниченные операции.

Дальше докладывал Гот об обстановке на фронте 3-й танковой группы, он тоже особенно подчеркнул, что дальнейшие операции его группа может вести лишь с ограниченной целью, если не будут подвезены новые двигатели.

Высказались и другие присутствующие, в целом их мнение сводилось к тому, что группой армий «Центр» необходимо продолжать наступление на Москву.

Как бы подводя итоги, но не принимая еще окончательного решения, а только размышляя, Гитлер сказал:

— Планы Англии определить в настоящее время невозможно. Они могут высадить десанты и на Пиренейском полуострове, и в Западной Африке. Для отражения таких попыток высадки десанта, а также для других целей необходимо держать наготове высокоманевренные резервы. Для этого служат две танковые дивизии, находящиеся на родине, и вновь формирующиеся танковые соединения. На оснащение последних идет основная масса производимых двигателей. Однако мы подумаем, и я надеюсь, что найдем возможность выделить для второй и третьей танковых групп хотя бы четыреста новых двигателей.

Гудериан вставил реплику:

— Только для второй танковой группы требуется их триста.

Гитлер не ответил на его реплику и продолжал рассуждать:

— Для принятия решений о продолжении операции определяющей является задача — лишить противника жизненно важных районов. Первая достижимая цель — Ленинград и русское побережье Балтийского моря в связи с тем, что в этом районе имеется большое число промышленных предприятий, а в самом Ленинграде находится единственный завод по производству сверхтяжелых танков, а также в связи с необходимостью устранения русского флота на Балтийском море. Мы надеемся достигнуть этой цели к 20 августа. После этого значительная часть войск группы армий «Север» будет передана в распоряжение группы армий «Центр».

Затем Гитлер продолжил:

— На юге обстановка в течение последних дней развивалась благоприятно. Там намечается уничтожение крупных сил противника. Противник сильно измотан также в результате предшествующих операций группы армий «Юг», его боеспособность нельзя назвать высокой... Можно предположить, что в ближайшее время русская армия придет в такое состояние, что не сможет вести крупных операций и сохранить в целости линию фронта. Большие потери противника подтверждаются тем, что он бросает в последнее время в бой свои отборные пролетарские соединения, как видно из докладов генерал-полковника Гудериана о наступлении на Рославль... Сложилось впечатление, что там удался полный прорыв и путь на восток за Рославлем свободен.

В целом операции на восточном фронте развивались до сих пор более удачно, чем это можно было бы ожидать, даже несмотря на то, что мы встретили сопротивление бо́льшего количества танков и самолетов, чем то, которое предполагали... Англичане радостно кричат о том, что немецкое наступление остановилось. Надо будет ответить им через нашу прессу и радио и напомнить об огромных расстояниях, которые нами уже преодолены. Суточные переходы пехоты превосходят все, что было достигнуто до сих пор. Я даже рассчитывал, что группа армий «Центр», достигнув рубежа Днепр — Западная Двина, временно перейдет здесь к обороне, однако обстановка складывается так благоприятно, что нужно ее быстро осмыслить и принять новое решение.

Далее Гитлер развил свои суждения об общей обстановке:

— На втором месте по важности для противника стоит юг России, в частности Донецкий бассейн, начиная от района Харькова. Там расположена вся база русской экономики. Овладение этим районом неизбежно привело бы к краху всей экономики русских... Поэтому операция на юго-восточном направлении мне кажется первоочередной, а что касается действий строго на восток, то здесь лучше временно перейти к обороне. Эксперты и специалисты по метеорологии докладывают, что в России период осенних дождей на юге начинается обычно в середине сентября, а в районе Москвы лишь в середине октября, таким образом, мы успеем, завершив операции на юге, продолжить их в направлении Москвы на восток до наступления дождей...

Дождавшись паузы и понимая, что Гитлер все больше склоняется к тому, чтобы сосредоточить главные усилия на флангах, то есть на севере в сторону Ленинграда и на юге в сторону Киева, Бок все же попытался напомнить ему:

— Однако наступление на восток в направлении Москвы будет предпринято против основных сил противника. Разгром этих сил решил бы исход войны. Вместе с тем надо отдавать себе отчет и в том, что для проведения такого решающего наступления его надо тщательно подготовить и питать необходимой техникой и боеприпасами.

На этом совещании Гитлер не принял окончательного решения. Вопрос о том, в каком направлении сосредоточить главные усилия войск на восточном фронте, остался открытым.

Из штаба группы армий «Центр» Гитлер вылетел к Рундштедту в группу армий «Юг». Здесь было еще более сложное положение. Рундштедт полностью увяз в боях с частями Юго-Западного фронта, которым командовал М. П. Кирпонос. Он вполне обоснованно доложил Гитлеру, что группа армий «Центр» будет иметь обеспеченный фланг для нанесения последнего, решающего удара на Москву только после уничтожения противника в восточной Украине. И нельзя нанести удар на московском направлении раньше, чем будет развязан узел на Украине.

Выслушав доклад Рундштедта и ознакомившись с создавшейся здесь обстановкой, Гитлер еще раз убедился в необходимости «поворота на юг»: если не расчистить то, что нависает над группой армий «Центр» с юга, ни о продолжении наступления на Москву, ни вообще о продвижении на восток нельзя было говорить.

Но не так просто было совершить этот «поворот на юг». Разгорелось Смоленское сражение. Танковая группа Гудериана была связана боями с группой генерал-лейтенанта В. Я. Качалова. Эта группа, находясь в окружении, вела себя настолько активно, что сковывала большие силы противника. А на северном фланге фронта Бока танковая группа Гота тоже не могла повернуть свои части, потому что в тылу ее действовала кавалерийская группа генерал-полковника О. И. Городовикова. В районе Великих Лук тоже активно действовали наши окруженные части 16-й и 20-й армий, которые пробивались на восток к своим. Такое положение было на флангах.

Восьмого августа наши войска перешли в наступление и ударили в центр группы армий Бока, вклинились в его передовые части. А 17 августа начал наступление Резервный фронт под командованием Жукова, о чем речь пойдет дальше. Здесь Ельнинской операцией Жуков сказал свое весомое, а может быть, решающее слово в Смоленском сражении.

В такой сложной и напряженной для гитлеровской армии обстановке родилась новая директива Гитлера от 22 августа 1941 года. Она начиналась так: «Соображения командования сухопутных войск относительно дальнейшего ведения операций на востоке от 18 августа не согласуются с моими планами...» Гитлер в корне ломал принятые раньше решения, на что, собственно, его вынудили действия советских армий. Совсем недавно в директиве № 34 он приказывал Боку еще до наступления зимы захватить Москву. А теперь он дал указание остановить армии «Центра».

После завершения второй мировой войны немецкие генералы, да и стратеги других армий писали о том, что Гитлер допустил ошибку, остановив наступление на Москву. Если быть объективным, то надо признать, что в данном случае Гитлер был прав. Но с такой поправкой: во-первых, не он остановил наступление на Москву, а остановили это наступление советские войска. Если бы наступление продолжалось, то оно привело бы немецкую армию к более тяжелому поражению. Вот разъяснение, которое давал Гитлер своим генералам: «Наступление на Москву может быть продолжено только после уничтожения крупных советских сил, не позволяющих завершить это наступление. Чего бы это ни стоило, надо уничтожить эти советские части. Возражение, что в результате этого мы потеряем время и наступление на Москву будет предпринято слишком поздно или что танковые соединения по техническим причинам не будут тогда в состоянии выполнить эту задачу, является неубедительным. Ибо после уничтожения русских войск, угрожающих правому флангу группы армий «Центр», наступление на Москву будет провести не труднее, а легче».

И дальше Гитлер опять-таки логично рассуждает: «Сейчас нам представляется благоприятная возможность, какую дарит судьба во время войны в редчайших случаях. Огромным выступом глубиною почти в триста километров расположены войска противника, с трех сторон охватываемые двумя немецкими группами армий».

И это действительно было так. Войска Юго-Западного фронта с севера и с юга были охвачены германскими соединениями. Кроме того, Гитлер подчеркивал, что после поворота на юг и захвата Украины и Донбасса Советский Союз будет лишен угля, железа, нефти, а немецкая армия все это приобретет, и это очень важно для окончательной победы.

23 августа командующие танковыми группами были вызваны в штаб группы армий «Центр» и здесь им был отдан приказ о дальнейших действиях в соответствии с вышеприведенной директивой Гитлера. Начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер, присутствовавший на этом совещании, был явно подавлен таким решением фюрера, потому что он был одним из основных разработчиков плана наступления на Москву.

Поскольку возражения штабных генералов Гитлер во внимание не принял, Бок предложил Гудериану как фронтовому генералу еще раз обратиться к Гитлеру и попытаться склонить его к изменению принятого решения.

Гудериан вместе с Гальдером вылетели в Ставку в Восточной Пруссии. Здесь Гудериан зашел сначала к главнокомандующему сухопутными силами фельдмаршалу фон Браухичу и изложил ему цель своего приезда и тему предстоящего разговора с Гитлером. Браухич ему ответил:

— Я запрещаю вам поднимать перед фюрером вопрос о наступлении на Москву. Вы имеете приказ наступать в южном направлении, и речь может идти только о том, как его выполнить.

— Тогда позвольте вылететь обратно в свою танковую группу, ибо при таких условиях мне не имеет смысла говорить с Гитлером о чем бы то ни было.

— Нет, вы пойдете к фюреру,—возразил фельдмаршал,—и доложите ему о положении своей танковой группы, не упоминая, однако, ничего о Москве!

Гудериан отправился к Гитлеру. В присутствии Кейтеля, Йодля, Шмундта и других он доложил обстановку перед фронтом своей танковой группы, а также о ее состоянии и обеспеченности.

Гитлер спросил:

— Считаете ли вы свои войска способными сделать еще одно крупное усилие при их нынешней боеспособности?

— Если войска будут иметь перед собой настоящую цель, которая будет понятна каждому солдату, то да!

— Вы, конечно, подразумеваете Москву?

— Да. Поскольку вы затронули эту тему, разрешите мне изложить свои взгляды по этому вопросу.

Гитлер разрешил, и Гудериан еще раз подробно изложил ему свои доводы. Он говорил, что после достижения военного успеха на решающем направлении и разгрома главных сил противника будет значительно легче овладеть экономически важными районами Украины, так как захват Москвы—узла важнейших железных дорог—чрезвычайно затруднит русским переброску войск с севера на юг. Он также напомнил, что войска группы армий «Центр» уже находятся в полной боевой готовности для перехода в наступление на Москву, в то время как предполагаемое наступление на Киев связано с необходимостью провести перегруппировку войск, на что потребуется много времени. Он еще раз подчеркнул, что операции на юге могут затянуться, и тогда из-за плохой погоды уже поздно будет наносить решающий удар на Москву в этом году.

Гитлер слушал Гудериана молча, ни разу не прервал его. Но когда Гудериан замолчал, надеясь, что он убедил фюрера своей горячей речью, Гитлер вдруг твердо сказал:

— Я приказываю немедленно перейти в наступление на Киев, который является ближайшей стратегической целью.

Затем Гитлер повторил уже изложенные в директиве Ставки соображения об ударе по ленинградскому промышленному району, о необходимости овладения Крымом, являющимся авианосцем Советского Союза в его борьбе против использования Германией румынской нефти, и другие «экономические доводы». В заключение своей короткой отповеди Гудериану Гитлер, обращаясь ко всем присутствующим, бросил фразу, которую он уже произносил не раз:

— Мои генералы ничего не понимают в военной экономике!

Все присутствующие генералы, кроме Гудериана, послушно закивали головами в знак согласия с фюрером.

После войны на Западе будут очень много писать о том, что плохой стратег Гитлер испортил блестящие замыслы своих генералов и не позволил им одержать уже почти достигнутую победу. Спор насчет нанесения главного удара на Москву или же в двух направлениях—на Ленинград и на Украину—некоторые историки склонны считать «ахиллесовой пятой» всей восточной кампании. Я еще вернусь к этим разногласиям между Гитлером и военными, а сейчас ограничусь спором на совещании в Борисове. Дело в том, что военные помощники Гитлера многое пытались свалить на него, обеляя себя и пытаясь уйти от кары на Нюрнбергском и других процессах. Но, как видим из приведенного выше разговора (а я пользовался стенограммами, а не чужим изложением, в котором могла быть и субъективная неточность), так вот, стенограммы явно показывают, что все военные полностью поддерживали политические замыслы Гитлера и расхождение было лишь в деталях осуществления его агрессивных планов, как в данном случае: куда бить—на Москву или на Украину и Ленинград. А в том, что они были едины в своих захватнических устремлениях, никаких сомнений нет. Генералы являлись не только исполнителями, они, как видим, были даже в какой-то степени более решительны, чем сам Гитлер, стремились к более быстрому и полному осуществлению замыслов фюрера.

КОНФЛИКТ СО СТАЛИНЫМ

Стойкость и мужество частей Юго-Западного фронта, можно сказать, спасли страну, потому что даже при больших успехах на главном направлении гитлеровское командование не решилось нанести последний удар на Москву, имея у основания клина такое мощное объединение войск, как Юго-Западный фронт.

Юго-Западный фронт упорными, затяжными боями удерживал каждый рубеж и, используя малейшую возможность для контрударов, оставался на левой стороне Днепра, далеко в тылу противника. Гитлеровцы с военной точки зрения вполне правильно решили окружить войска Юго-Западного фронта еще на левобережье Днепра и тем самым избавить группу армий «Центр» от постоянной угрозы удара с юга, дать ей свободу действий на Москву.

Жуков предвидел решение гитлеровского командования на окружение войск Юго-Западного фронта. Как начальник Генерального штаба он не только руководил повседневной деятельностью войск, но и постоянно анализировал, обобщал, делал выводы о положении на фронтах.

Шел второй месяц войны. Гитлеровская армия, планировавшая к этому времени разгромить Красную Армию и захватить Москву, не осуществила поставленные задачи. Противник нес на всех направлениях большие потери. Не оправдалось предположение гитлеровцев о том, что они не встретят такого упорного сопротивления, какое оказала им Красная Армия. Фронт действий войск по мере углубления на территорию нашей страны все больше растягивался. Гитлеровской армии уже не хватало войск и, главное, резервов для того, чтобы действовать на всех стратегических направлениях. Но все же у гитлеровцев были еще большие силы и особенно мощные бронетанковые группировки и авиация, которые были способны наносить сильные удары.

Взвесив и обдумав положение и возможности войск, своих и противника, Жуков пришел к выводу, что гитлеровцы в настоящее время не смогут начать нового наступления на Москву, пока не обеспечат правый фланг своего центрального фронта. Предвидя удар противника в тыл нашему Юго-Западному фронту, Жуков считал, что необходимо наши войска спасти от окружения—отвести за Днепр и организовать оборону на этом удобном природном оборонительном рубеже. Взгляните на карту: Днепр от Киева поворачивает и течет на юго-восток к Днепропетровску, а затем на юг—к Запорожью и Херсону. Сама природа предоставляла нашим войскам удобную мощную преграду, за которую они пока еще могли отойти. Жуков также считал, что нужно воспользоваться ослаблением войск противника, стоящих на московском направлении (из-за поворота части его сил на юг), и нанести им удар именно здесь.

29 июля Жуков позвонил Сталину и попросил принять его для срочного доклада. Сталин сказал, что ждет его.

Взяв карты со стратегической обстановкой, группировкой войск, все необходимые справочные данные, Георгий Константинович направился к Сталину. В приемной его встретил Поскребышев, сказал:

— Посиди, приказано подождать.

(Да, именно так, на «ты» обращался помощник Сталина к министрам, ученым, маршалам и генералам, считая, что близость к вождю дает ему такое право!)

Через 15—20 минут в кабинет Сталина прошли Маленков и Мехлис, а затем пригласили войти Жукова. Почему Сталин не захотел говорить с Жуковым один на один, да к тому же пригласил не военных специалистов, а этих двух, верных и всегда готовых безоглядно поддерживать Сталина? Видимо, он опасался того важного разговора, на котором так настаивал Жуков. При всей своей неограниченной власти Сталин все же всегда заботился и о тех следах, которые останутся в официальной истории. Предвидя серьезность беседы, он и на этот раз пригласил свидетелей.

— Ну, докладывайте, что у вас, — сказал Сталин.

Жуков расстелил на столе карты и подробно изложил обстановку на фронтах и свои выводы и предложения, что́ следовало бы предпринять в настоящее время. Он очень подробно осветил возможности и предполагаемый характер действий противника, на что Мехлис бросил реплику:

— Откуда вам известно, как будут действовать немецкие войска?

— Мне не известны планы, по которым будут действовать немецкие войска, — ответил Жуков, — но исходя из анализа обстановки они будут действовать только так, а не иначе. Мое предположение основано на анализе состояния и дислокации немецких войск и прежде всего бронетанковых и механизированных групп, являющихся ведущими в их стратегических операциях.

— Продолжайте докладывать, — бросил Сталин.

Жуков продолжил доклад:

— На московском стратегическом направлении немцы в ближайшие дни, видимо, не смогут вести крупные операции, так как они понесли здесь слишком большие потери. У них нет крупных стратегических резервов для обеспечения правого и левого крыла группы армий «Центр». На ленинградском направлении без дополнительных сил немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда и соединению с финнами. На Украине главные сражения могут разыграться где-то в районе Днепропетровска, Кременчуга, куда вышла главная группировка бронетанковых войск противника группы армий «Юг». Наиболее слабым участком нашей обороны является Центральный фронт. Армии Центрального фронта, прикрывающие направления на Унечу—Гомель, очень малочисленны и слабо обеспечены техникой. Немцы могут воспользоваться этим и ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта, удерживающим район Киева.

— Что вы предлагаете? — настороженно спросил Сталин.

— Прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трех армий, усиленных артиллерией. Одну армию за счет западного направления, одну — за счет Юго-Западного фронта, одну — из резерва Ставки. Поставить во главе фронта другого, более опытного и энергичного командующего. Кузнецов недостаточно подготовлен, он не сумел твердо управлять войсками фронта в начале войны в Прибалтике. Конкретно предлагаю на должность командующего Ватутина, моего первого заместителя.

— Ватутин мне будет нужен, — возразил Сталин и продолжал: — Вы что же предлагаете, ослабить направление на Москву?

— Нет, не предлагаю. Противник здесь, по нашему мнению, пока вперед не двинется. А через 12—15 дней мы можем перебросить с Дальнего Востока не менее восьми вполне боеспособных дивизий, в том числе одну танковую.

— А Дальний Восток отдадим японцам? — съязвил Мехлис.

Жуков не ответил на эту ироническую реплику и продолжал:

— Юго-Западный фронт необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов сосредоточить резервы не менее пяти усиленных дивизий.

— А как же Киев? — спросил Сталин.

— Киев придется оставить, — помолчав, ответил Жуков. Он понимал всю тяжесть подобного решения для города и для страны, но в то же время видел, что другой возможности спасти войска, необходимые для дальнейшей борьбы, нет. — А на западном направлении нужно немедля организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа, так как этот плацдарм противник может использовать в удобное для него время для удара на Москву...

Сталин прервал Жукова и с возмущением воскликнул:

— Какие там еще контрудары! Что за чепуха? Опыт показал, что наши войска не могут наступать... И как вы могли додуматься сдать врагу Киев?

Жуков покраснел, некоторое время пытался себя сдержать, но не смог и ответил:

— Если вы считаете, что я как начальник Генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника Генерального штаба и послать на фронт, там я, видимо, принесу больше пользы Родине.

— Вы не горячитесь. Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся... Идите, работайте, мы тут посоветуемся и тогда вызовем вас.

Жуков вышел из кабинета, кровь тяжело била в виски, обида сжимала сердце. Через сорок минут Жукова снова вызвали к Сталину. Войдя в кабинет, Жуков увидел, что к ранее присутствовавшим Мехлису и Маленкову прибавился еще и Берия. Это был плохой признак. Появление Берии не предвещало ничего хорошего.

Сталин сказал сухо, не глядя в глаза Жукову:

— Вот что, мы посоветовались и решили освободить вас от обязанностей начальника Генерального штаба. На это место назначим Шапошникова. Правда, у него со здоровьем не все в порядке, но ничего, мы ему поможем.

— Куда прикажете мне отправиться?

— Куда бы вы хотели?

— Могу выполнять любую работу — могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом.

— Не горячитесь, не горячитесь. Вы говорили об организации контрудара под Ельней, ну вот и возьмитесь за это дело. Мы назначим вас командующим Резервным фронтом. Когда вы можете выехать?

— Через час.

— Сейчас в Генштаб прибудет Шапошников, сдайте ему дела и уезжайте. Имейте в виду, вы остаетесь членом Ставки Верховного Главнокомандования.

— Разрешите отбыть?

— Садитесь и выпейте с нами чаю, — пытаясь немного смягчить ситуацию, сказал Сталин. — Да еще кое о чем поговорим.

Жуков сел за стол, ему налили чай, но его состояние понять можно, да и все присутствующие тоже чувствовали неловкость после того, что произошло в этом кабинете. Разговор не получился.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Восьмого августа 1941 года Ставка Главнокомандования была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР: Сталин назначен Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР, её членами — В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, Б. М. Шапошников, С. М. Буденный. Как видим, несмотря на недавнюю размолвку, Сталин, который, несомненно, лично определил состав Ставки, включил Жукова в Верховное Главнокомандование.

Давайте посмотрим объективно на этот верховный орган командования вооруженными силами. Представляет ли он тот мозговой центр, который был необходим, который можно и нужно было создать в ходе такой большой войны? На мой взгляд, Ставка не была таким мозговым центром и вот почему. Сталин и Молотов — люди сугубо штатские, не имеющие военной подготовки. Ворошилов, Тимошенко и Буденный, военачальники,

хорошо проявившие себя в годы гражданской войны, однако в период между гражданской и Отечественной войнами фундаментального образования себе они не прибавили и не раз обнаруживали невысокий уровень теоретических знаний да и практических действий. Достаточно напомнить неудачные бои в ходе финской кампании, на Халхин-Голе до приезда Жукова, и другие мероприятия по организации и укреплению боеспособности Красной Армии. Впрочем, Тимошенко несколько отличается от двух других названных здесь людей: первыми боями 41-го года он руководил более уверенно, Жуков ценил его. В целом же из всего этого состава, как видим, только Жуков и Шапошников по-настоящему могли оценивать и делать выводы из складывающейся сложной обстановки. Причем Шапошников был прирожденный генштабист, да и по опыту всей своей службы он был именно штабной работник высокого класса. Жуков в составе этой Ставки явно выделяется как самая активная и яркая фигура со стратегическим мышлением. Он был просто необходим в руководстве войной, но из-за раздражительности Сталина он был отстранен от должности начальника Генерального штаба. Удаление его от непосредственного руководства боевыми действиями в масштабе всех Вооруженных Сил, безусловно, отрицательно сказалось на ходе сражений.

Юго-Западный фронт сыграл свою роль не только в спасении Москвы от удара группы армий «Центр», но и сломал график «молниеносной войны», что в конце концов определило окончательное крушение этой теории, которое произошло в конце 1941 года под Москвой.

Жуков, несмотря на конфликт со Сталиным и не боясь его гнева, продолжал искать пути спасения войск Юго-Западного фронта. Он постоянно следил за событиями, которые там происходили. И поскольку он был на этом фронте в первые дни войны, когда с его помощью там завязывался сложнейший стратегический узел сопротивления на юге, и поскольку ему же затем пришлось ликвидировать последствия происшедшей катастрофы, мне кажется необходимым познакомить читателей с тем, что там случилось.

19 августа, будучи уже командующим Резервным фронтом (о его деятельности на этом посту я расскажу в следующей главе), он послал Сталину такую телеграмму:

«Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флангах наш Центральный фронт и великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов.

Возможный замысел противника: разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов — Конотоп — Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего — главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс...

Для противодействия противнику и недопущения разгрома Центрального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного фронта считаю своим долгом доложить свои соображения...»

Далее Жуков дает рекомендации по созданию группировки наших войск в районе Брянска.

Ответ последовал незамедлительно:

«Ваши соображения насчет вероятного продвижения немцев в сторону Чернигова — Конотопа — Прилук считаем правильным. Продвижение немцев в эту сторону будет означать обход нашей киевской группы с восточного берега Днепра и окружение наших 3-й и 21-й армий. Как известно, одна колонна противника уже пересекла Унечу и вышла на Стародуб. В предвидении такого нежелательного казуса и для его предупреждения создан Брянский фронт во главе с Еременко. Принимаются другие меры, о которых сообщим особо. Надеемся пресечь продвижение немцев. Сталин. Шапошников».

Для постановки задачи вновь созданному фронту Сталин вызвал генерал-лейтенанта Еременко в Москву. Он хорошо относился к Андрею Ивановичу. Принимая его, разговаривал с ним тепло, расспросил о здоровье. Еременко, чувствуя эту симпатию, держался уверенно, что тоже импонировало Верховному: дела на фронтах шли плохо, все рушилось, нужна была фигура прочная, на которую хотелось опереться, вот Еременко в те дни и показался Сталину такой волевой и прочной личностью.

Сталин обрисовал общую обстановку на советско-германском фронте и поставил Еременко задачу прикрыть направление на Москву с юга — через Брянск и Орел. Он охарактеризовал 2-ю танковую группу Гудериана как главную ударную группировку на этом направлении, сказал, что и сила это грозная, и направление очень важное. Упомянул Сталин и о возможном ударе группы Гудериана по правому флангу Юго-Западного фронта (то, о чем все время предупреждал Жуков), но все же сказал, что основная задача войск Брянского фронта в том, чтобы надежно прикрыть брянское направление от удара по Москве и во что бы то ни стало разбить силы Гудериана.

Выслушав Сталина, А. И. Еременко очень уверенно заявил о том, что он в ближайшие дни безусловно разгромит Гудериана.

Такая уверенность Еременко очень понравилась Верховному, и, когда тот ушел, Сталин сказал оставшимся в его кабинете:

— Вот тот человек, который нам нужен в этих сложных условиях.

После ухода Еременко Сталин продиктовал Шапошникову директиву Юго-Западному фронту, в которой приказывалось: во что бы то ни стало удерживать Киев.

В своих воспоминаниях маршал А. И. Василевский пишет:

«Все последующие дни Ставка и Генеральный штаб занимались вопросом ликвидации опасности, нависшей с севера над Юго-Западным фронтом. Они укрепили это направление и прежде всего Брянский фронт своими резервами — танками, артиллерией, людьми, вооружением, привлекли сюда авиацию соседних фронтов, Резерва Главного командования, а также части дальнебомбардировочной авиации».

Сталин настолько уверился в силах и возможностях генерала Еременко, что даже решил отдать под его командование соединения Центрального фронта (3-ю и 21-ю армии), ликвидировав этот фронт. Он спросил по телеграфу у Еременко его мнение по этому поводу. Еременко ответил:

— Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и безусловно разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечить. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-ей, подчинить мне... Я очень благодарен вам, товарищ Сталин, за то, что вы укрепляете меня танками и самолетами. Прошу только ускорить их отправку, они нам очень и очень нужны. А насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить, задачу, поставленную вами, выполнить, то есть разбить его...

29 — 31 августа была проведена большая воздушная операция против 2-й танковой группы Гудериана на брянском направлении. Для осуществления этого удара привлекалась вся авиация Брянского и Резервного фронтов и авиации Резерва Главного командования. В боевых вылетах участвовало около пятисот самолетов. В ночь на 30 августа Еременко было приказано использовать этот мощный удар, перейти в наступление и уничтожить группу Гудериана. Это означало бы крах правого фланга немецкой группы армий «Центр».

Однако, несмотря на столь уверенные обещания Еременко, войска Брянского фронта не смогли этого выполнить и оказать эффективную помощь Юго-Западному фронту. В течение 16 суток они не добились ощутимых успехов, а Гудериан за эти 16 суток проник глубоко в тыл войск Юго-Западного фронта.

Второго сентября от Верховного Главнокомандующего генералу Еременко была послана телеграмма:

«Ставка все же недовольна вашей работой. Несмотря на работу авиации и наземных частей, Почеп и Стародуб остаются в руках противника. Это значит, что вы противника чуть-чуть пощипали, но с места сдвинуть его не сумели. Ставка требует, чтобы наземные войска действовали во взаимодействии с авиацией, вышибли противника из района Стародуб, Почеп и разгромили его по-настоящему. Пока это не сделано, все разговоры о выполнении задания остаются пустыми словами. Ставка приказывает: ... всеми соединенными силами авиации способствовать решительным

успехам наземных войск. Гудериан и вся его группа должны быть разбиты вдребезги. Пока это не сделано, все ваши заверения об успехах не имеют никакой цены».

Прикрывшись частью сил от не очень инициативных действий Брянского фронта, Гудериан главными силами продолжал углубляться в тыл войскам Юго-Западного фронта. 10 сентября его передовые части ворвались в город Ромны.

В это время ниже, на юге, сложилась такая обстановка, которая благоприятствовала фашистам для нанесения удара по тому же Юго-Западному фронту: наши войска Южного фронта были оттеснены за Днепр. Прикрываясь этой широкой водной преградой, командование немецкой группы армий «Юг» оставило там лишь небольшой заслон, а основную массу войск 17-й полевой армии и 1-й танковой группы Клейста собрало в мощный кулак и бросило на соединение с группой Гудериана.

Самоотверженно сражалась 38-я армия генерала Фекленко, остатками своих сил она нанесла контрудар во фланг Клейсту, но силы были неравны, и Клейст, обогнув 38-ю армию, пошел вперед на соединение с Гудерианом.

Командование Юго-Западным фронтом обратилось в Ставку с предложением об отводе войск на восточный берег Днепра, чтобы избежать их полного окружения.

Ночью, в 1 час. 15 мин. 11 сентября, состоялся разговор с военным советом Юго-Западного фронта. Вел переговоры с М. П. Кирпоносом непосредственно Сталин. Он сказал:

— Ваши предложения о немедленном отводе войск без того, что вы заранее подготовите рубеж на реке Псёл и поведете отчаянные атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Брянским фронтом, повторяю, без этих условий ваши предложения об отводе войск являются опасными и могут создать катастрофу.

И как вывод, обидный для героически сражающихся войск:

«Перестать, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления, а искать пути для сопротивления...» И еще: «Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки...»

Шапошников как начальник Главного штаба пытался убедить Сталина в необходимости отвода войск Юго-Западного фронта и основной группировки 5-й армии за Днепр, чтобы они не остались в окружении. Шапошников понимал, что если такое решение не будет принято немедленно, то оно опоздает. Но Сталин был непреклонен, он упрекал и Шапошникова, и Буденного, командующего Юго-Западным направлением, что они, вместо того чтобы биться с врагом, продолжают отходить и пятиться.

А. М. Василевский пишет в своих воспоминаниях: «При одном упоминании о жестокой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание».

Но обстановка на фронте не считалась с желаниями или нежеланиями Сталина, она неумолимо складывалась так, к чему приводил ход боевых действий.

14 сентября в 3 часа 25 мин. начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор В. И. Тупиков по собственной инициативе обратился к начальнику Генштаба и начальнику штаба главкома Юго-Западного направления с телеграммой, в которой, охарактеризовав тяжелое положение войск фронта, закончил изложение своей точки зрения следующей фразой: «Начало понятной вам катастрофы — дело пары дней».

Это была горькая правда. На другой день в районе Лохвицы соединились немецкие части 2-й танковой группы, наступавшей с севера, и 1-й танковой группы, прорвавшейся с кременчугского плацдарма. Кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й, 37-й и части сил 38-й армии замкнулось.

Обстановка, как мы видим, была тяжелая, но, несмотря на это, начальник Генерального штаба был вынужден на телеграмму Тупикова отправить следующий ответ, продиктованный ему Сталиным:

«Командующему ЮЗФ, копия Главкому ЮЗН.

Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое положение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецова (21А) и Потапова (5А) прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно выполнить указания тов. Сталина, данные вам 11.9.

14.IX.1941 г. 5 ч. 00 м. Б. Шапошников».

* * *

Вот что писал Гудериан в своих мемуарах об этих днях:

«16 сентября мы перевели наш передовой командный пункт в Ромны. Окружение русских войск успешно продолжалось. Мы соединились с танковой группой Клейста... С того времени, как были начаты бои за Киев, 1-я танковая группа захватила 43 000 пленных, 6-я армия — 63 000. Общее количество пленных, захваченных в районе Киева, превысило 290 000 человек».

А в окружении оставались еще четыре наши армии!

Кирпонос доложил в Генштаб: «Фронт перешел к боям в условиях окружения и полного пересечения коммуникаций. Переношу командный пункт в Киев, как единственный пункт, откуда имеется возможность управлять войсками. Прошу подготовить необходимые мероприятия по снабжению армий фронта огнеприпасами при помощи авиатранспорта».

16 сентября новый (назначенный вместо Буденного) командующий Юго-Западным направлением Тимошенко вызвал к себе в кабинет прилетевшего от Кирпоноса заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта Баграмяна. В кабинете находился и член Военного совета Н. С. Хрущев. Тимошенко, размышляя, сказал Баграмяну:

— Сейчас мы делаем все, чтобы помочь фронту: стягиваем на Ромны и Лубны все силы, которые смогли собрать, в том числе усиленный танками корпус Белова и три отдельные танковые бригады. Через несколько дней к нам подойдут дивизии Руссиянова и Лизюкова. Этими силами мы попытаемся пробиться навстречу окруженным войскам фронта. Мы отдаем себе отчет, что разгромить две прорвавшиеся фашистские танковые армии мы не сможем, но создадим бреши, через которые смогут выйти окруженные войска. Вот цель наших ударов. Мы уверены, что в создавшейся обстановке Верховный Главнокомандующий разрешит Юго-Западному фронту отойти к реке Псёл, поэтому и решили отдать сейчас приказ на организацию выхода из окружения. Сегодня же мы снова попытаемся поговорить с Москвой. Я надеюсь, что нам удастся убедить Ставку. А пока мы будем вести переговоры, Кирпонос и его штаб должны воспользоваться тем, что у противника еще нет сплошного фронта окружения.

Как пишет Баграмян в своих воспоминаниях, ему казалось, что маршал Тимошенко, говоря эти слова, внутренне все-таки еще не был готов на отдачу более категоричного приказа об отходе войск, но уже в ходе этого распоряжения он, понимая всю сложность положения и предстоящие неминуемые колоссальные потери, вроде бы решился и уже твердо сказал:

— Доложите, товарищ Баграмян, генералу Кирпоносу, что в создавшейся обстановке Военный совет Юго-Западного направления единственно целесообразным решением для войск Юго-Западного фронта считает организованный отход. Передайте командующему фронтом мое устное приказание: оставив Киевский укрепленный район и прикрывшись небольшими силами по Днепру, незамедлительно начать отвод главных сил на тыловой оборонительный рубеж. Основная задача — при содействии наших резервов разгромить противника, вышедшего на тылы войск фронта, и в последующем перейти к обороне по реке Псёл. Пусть Кирпонос проявит максимум активности, решительнее наносит удары в направлении на Ромны и Лубны, а не ждет, пока мы его вытащим из кольца.

Из-за непогоды Баграмяну не удалось вылететь в штаб фронта Кирпоноса в тот же день, он добрался туда с большим трудом только на следующий. В присутствии членов Военного совета Баграмян передал распоряжение главкома Кирпоносу. Кирпонос так долго сидел задумавшись, что начальник штаба фронта Тупиков не выдержал и сказал:

— Михаил Петрович, это приказание настолько соответствует обстановке, что нет никакого основания для колебания. Разрешите заготовить распоряжение войскам?

— Вы привезли письменное распоряжение на отход? — не отвечая начальнику штаба, спросил командующий у Баграмяна.

— Нет, маршал приказал передать устно.

Кирпонос долго молча шагал по комнате, потом сказал:

— Я ничего не могу предпринять, пока не получу документ. Вопрос слишком серьезный. Все, на этом закончим.

Наступило тяжелое молчание. Начальник штаба попытался что-то сказать, но Кирпонос перебил его:

— Василий Иванович! Подготовьте радиограмму в Ставку. Сообщите о распоряжении главкома и запросите, как поступить нам.

Из этого короткого эпизода видно, насколько были непросты взаимоотношения даже на уровне очень высоких военачальников, как велика боязнь ответственности за действия, которые могут не совпасть с мнением и желанием Сталина, за что могут спросить со всей строгостью, — таково уж было то время. Это вынуждало Кирпоноса не предпринимать решительных действий и не выполнить даже прямой приказ, переданный, как говорится, из уст в уста, от маршала Тимошенко через генерала Баграмяна.

Вечером 17 сентября в Москву была отправлена радиограмма следующего содержания: «Главком Тимошенко через заместителя начальника штаба фронта передал устное указание: основная задача — вывод армий фронта на реку Псёл с разгромом подвижных групп противника в направлениях на Ромны, Лубны. Оставить минимум сил для прикрытия Днепра и Киева. Письменные директивы главкома совершенно не дают указаний об отходе на реку Псёл и разрешают взять из киевского УР только часть сил. Налицо противоречие. Что выполнять? Считаю, что вывод войск фронта на реку Псёл правилен. При этом условии необходимо оставить полностью киевский укрепленный район, Киев и реку Днепр. Срочно просим ваших указаний».

На следующий день 18 сентября пришла радиограмма за подписью начальника Генерального штаба, она коротко сообщала: Ставка разрешает оставить киевский укрепленный район и переправить войска 37-й армии на левый берег Днепра. Но как быть с главными силами фронта и разрешается ли общий отход на тот рубеж, который запрашивал Кирпонос, — ответа на это в телеграмме не было. Тут уж, размышляя логически, Военный совет фронта решил, что если разрешают оставить укрепленный киевский район, то на необорудованных рубежах восточнее города войскам и вовсе не удержаться. Было принято решение выполнять устное распоряжение главкома Тимошенко.

Непросто и нелегко было осуществить выход войск из окружения, все армии, корпуса и дивизии вели напряженные бои с обступившим их противником. Кирпонос принял решение, не теряя времени, немедленно, с утра 18 сентября, нанести удар в нескольких направлениях созданными для этого ударными группами и вывести войска фронта из окружения.

Большой героизм проявили воины и командиры 37-й армии, защищавшей Киев. Постоянными контрударами они не давали противнику возможности вступить в город. Баграмян в своих воспоминаниях пишет: «Защитников Киева не в чем было упрекнуть. Они выполнили свой долг. Киев оставался непокоренным. Враг так и не смог взять его в открытом бою. Только в силу неблагоприятно сложившейся для войск Юго-Западного фронта обстановки по приказу Ставки наши воины покидали дорогой им город и твердо верили, что обязательно вернутся». Не случайно за эту самоотверженную оборону Киеву присвоено звание «Город-герой».

Взорвав мосты через реку Днепр, 37-я армия отходила с тяжелыми боями и медленно, но упорно продвигалась к своим. Многие погибли во время этого отхода, но все же большая часть бойцов и командиров пробилась сквозь вражеские войска.

В послевоенной литературе, в том числе и в воспоминаниях И. Х. Баграмяна, которые я цитирую, читатели не найдут имени руководителя героической обороны Киева, командующего 37-й армией. Почему? Наверное, потому, что это был генерал Власов, который позднее перешел к гитлеровцам. Я снова упоминаю о нем потому, что нам еще предстоит разобраться в том парадоксальном явлении, которое представляет собой «власовщина». Дело это шире личной измены генерала Власова. Обратимся к этому позднее, когда по ходу событий приблизимся к тем дням.

С боями, постоянно отбиваясь от наседающего со всех сторон и пересекающего пути отхода противника, отходил штаб Юго-Западного фронта. Но в конце концов гитлеровцы окружили управление фронта, и заключительный бой выглядит, по рассказу И. Х. Баграмяна, так:

«Враг атаковал рощу с трех сторон. Танки вели огонь из пушек и пулеметов, за ними шли автоматчики. В гром и треск вплетались редкие выстрелы наших пушек — их было мало, да и приходилось беречь каждый снаряд. Танки прорвались к восточной опушке рощи. С ними вступили в схватку офицеры, вооруженные гранатами и бутылками с бензином. Две вражеские машины загорелись, остальные откатились.

Командующий, члены Военного совета фронта генералы Тупиков и Потапов стали совещаться, как быть дальше: сидеть в роще до вечера или прорваться сейчас же. Но тут началась новая атака. Подъехавшая на машинах немецкая пехота с ходу развернулась в цепь и двинулась в рощу под прикрытием огня танков. Когда она достигла опушки, окруженные во главе с Кирпоносом, Бурмистенко, Рыковым, Тупиковым, Потаповым и Писаревским бросились в контратаку. Гитлеровцы не выдержали рукопашной и отступили.

В контратаке генерал Кирпонос был ранен в ногу. Его на руках перенесли на дно оврага, к роднику. Сюда же доставили раненого и тяжело контуженного командарма Потапова. Его боевой начальник штаба генерал Писаревский геройски пал на поле боя.

Дивизионный комиссар Рыков и генерал Тупиков вместе с подполковником Глебовым обошли опушку, беседовали с людьми, ободряли их.

Примерно в половине седьмого вечера Кирпонос, Бурмистенко и Тупиков в кругу командиров обсуждали варианты прорыва, который намечалось осуществить с наступлением темноты. В это время противник начал интенсивный минометный обстрел. Одна мина разорвалась возле командующего. Кирпонос без стона приник к земле. Товарищи кинулись к нему. Генерал был ранен в грудь и голову. Через две минуты он скончался. Адъютант командующего майор Гненный со слезами на глазах снял с кителя генерала Золотую Звезду и ордена...»

После окончания войны у родника, в овраге, была установлена мраморная плита с надписью: «На этом месте 20 сентября 1941 года погиб командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос М. П.». В 1943 году останки генералов Кирпоноса и Тупикова были перевезены в Киев. Они покоятся в парке Вечной славы, у обелиска возле могилы Неизвестного солдата.

В бессознательном состоянии попал к фашистам дивизионный комиссар Рыков, его подвергли зверским пыткам и казнили. Схватили раненого генерала М. И. Потапова. Его долгое время считали погибшим. Но крепкий организм помог ему выздороветь, преодолеть свои раны и контузию. Почти всю войну он находился в фашистских лагерях, а после освобождения из гитлеровского плена продолжал служить в Советской Армии. В последние годы жизни был первым заместителем командующего Одесским военным округом, умер в 1965 году. Но одному из славных защитников Отечества в труднейших боях 1941 года не нашлось места в восьмитомной военной энциклопедии, изданной в 1978 году, через 25 лет после смерти Сталина. Вот как еще гнетет сила репрессивной инерции!

Гудериан так рассказал о своей встрече с Потаповым:

«Командующий 5-й армией попал к нам в плен. Я беседовал с ним и задал ему несколько вопросов:

1. Когда они заметили у себя в тылу приближение моих танков?

Ответ: Приблизительно 8 сентября.

2. Почему они после этого не оставили Киев?

Ответ: Мы получили приказ фронта оставить Киев и отойти на восток и уже были готовы к отходу, но затем последовал другой приказ, отменивший предыдущий и требовавший оборонять Киев до конца.

Выполнение этого контрприказа и привело к уничтожению всей киевской группы русских войск. В то время мы были чрезвычайно удивлены такими действиями русского командования».

Как известно читателям, контрприказ «Киева не оставлять...» был отдан лично Сталиным вопреки советам Жукова, Шапошникова и других военачальников, так что 290 000 пленных, о которых пишет Гудериан, плюс еще сотни тысяч погибших — жертвы этого контрприказа. И это лишь малая часть наших потерь при замыкании гитлеровцами клещей под Киевом. Четыре армии, которые остались в окружении — 5-я, 21-я, 26-я, 37-я и часть 38-й, значительно увеличили число погибших и пленных только в этом сражении.

Упрямство Сталина, его самонадеянность, привычка к тому, что все должно вершиться по его желаниям, были одной из причин и этой катастрофы на завершающем этапе приграничных сражений.

Немалая доля вины ложится и на маршала Еременко. Ему были отданы большие силы, которыми он не сумел распорядиться должным образом. Кстати, Еременко в своих мемуарах задним числом так оправдывает свои действия: «...отдельные историки считают, что Брянский фронт 16-го августа был создан Ставкой якобы в предвидении возможного развития наступления врага в направлении Чернигов, Конотоп, Прилуки. Это толкование искажает реальные исторические факты. Общеизвестно, что по плану «Барбаросса» гитлеровцы стремились как можно быстрее овладеть Москвой, нанося удар на Смоленском направлении. Но упорное сопротивление и контрудары наших войск в районе Смоленска, Ярцева, Ельни заставили врага оттянуть танковую группу Гудериана несколько южнее с целью захватить Брянск. Ставка своевременно поняла этот замысел и весьма обоснованно решила создать Брянский фронт с задачей прикрыть с юга Московский стратегический район, не дать гитлеровцам возможности прорваться через Брянск на Москву и нанести им поражение. Эта задача была поставлена мне устно Верховным Главнокомандующим при моем назначении командующим Брянским фронтом. Именно эта задача подчеркивалась Ставкой и в последующих ее директивах. Таким образом, приведенное выше мнение об иной задаче фронта совершенно не соответствует действительности. К сожалению, на основании этого домысла, хотя и намеком, командование Брянского фронта упрекается в том, что оно допустило поворот и удар вражеской группы армий «Центр» на юг».

Вот так после войны по-разному объясняются одни и те же действия войск. Уже забыты обещания разбить «подлеца Гудериана», уже забыто, что войска Гудериана именно тогда двинулись на юг и окружали войска Юго-Западного фронта, а Брянский фронт не воспрепятствовал этому. Теперь маршал Еременко пытается убедить всех, что он успешно выполнил задачу, поставленную ему лично Сталиным: «Мы можем сказать, что войска Брянского фронта добросовестно выполнили основную задачу, поставленную перед нами Ставкой, не допустить прорыва группы Гудериана через Брянск на Москву». Но Гудериан и не шел в то время на Москву, а двигался вдоль реки Днепр для соединения с Клейстом, окружая войска Юго-Западного фронта. Недостоверность утверждения Еременко сегодня очевидна, так как он «защитил» Москву от удара, который по ней в то время не наносился.

Свершилось то, чего так опасался Жуков, — войска нескольких армий оказались отрезанными. Чтобы понять тяжесть этой беды, напомню, сколько радостей принесло нам окружение только одной гитлеровской 6-й армии под Сталинградом, сколько цифр с многими нулями мы приводили, подсчитывая пленных и трофеи, захваченные в результате того окружения остатков одной армии. Но мы всегда «скромно» умалчивали о наших армиях, оставшихся в «котлах» еще в ходе приграничных сражений до рубежа реки Днепр.

В своем докладе на торжественном собрании в Москве 6 ноября 1941 года Сталин сказал:

«За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек... За тот же период враг потерял убитыми, ранеными и пленными более 4-х с половиной миллионов человек».

Сегодня мы с горечью можем воскликнуть: «Если бы так было!..» Теперь, когда открылись архивы, можно с великим сожалением сказать, что цифры, приведенные Сталиным, очень далеки от реальности. К тому времени не немецкая, а наша армия только пленными потеряла более трех миллионов!

ЕЛЬНИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вернемся немного назад, к последним дням июля.

30-го числа, в середине дня, генерал Жуков выехал на машине из Москвы и по Минскому шоссе направился в штаб Резервного фронта, который находился в Гжатске.

Не нужно быть особенно проницательным, чтобы представить себе состояние Жукова после той стычки, которая произошла у него вчера со Сталиным. Он был хмур, неразговорчив, ежеминутно готов взорваться, но явно сдерживался.

Мне кажется, тяжелое настроение Жукова объяснялось не только изменением отношения Сталина лично к нему, но главным образом теми неудачами на фронте, которые могут последовать из-за отказа Верховного посчитаться с оценкой обстановки и предложениями, которые сделал Жуков. Именно это особенно угнетало его.

Сразу же по прибытии в штаб, пока оборудовалась комната для отдыха нового командующего, начальник штаба фронта доложил Жукову обстановку.

На следующий день — 1 августа Жуков выехал в 24-ю армию, которой командовал генерал К. И. Ракутин. Штаб его армии размещался в небольшой деревне Волочек, недалеко от Ельни.

Прибыв к генералу Ракутину, Жуков, верный своей привычке, не стал долго засиживаться в штабе, а вместе с командующим отправился в части поближе к противнику, чтобы самому увидеть и оценить обстановку. Весь день они ездили по наблюдательным пунктам командиров частей, и Жуков убедился, что здесь против 24-й армии — хорошо организованная, прочная оборона противника.

Ельнинский выступ образовался в ходе Смоленского сражения, которое все еще продолжалось. Сильным рывком своего танкового кулака Гудериан выдвинулся здесь вперед и захватил Ельню. Конфигурация фронта этого клина, собственно, и породила название «Ельнинский выступ». Именно эта конфигурация наводила Жукова на мысль о том, что хорошо бы с двух сторон ударить под основание клина и окружить находящиеся в нем войска противника. Однако, взвесив силы своих войск, находившихся на этом направлении, Жуков понял, что осуществить такое окружение не так-то просто, нужно было подтянуть сюда еще несколько дивизий и, самое главное, побольше артиллерийских частей, так как прорвать оборону противника, очень мощную, да еще с закопанными в землю танками и бронетранспортерами, наступающим будет очень трудно.

По указанию Жукова была организована тщательнейшая разведка обороны и огневой системы противника. Особенно большую помощь оказал здесь Жукову и в разведке, и в подавлении огневой системы генерал-майор Л. А. Говоров, большой мастер артиллерийского дела. Пока шла подготовка операции, пока подвозились боеприпасы и перегруппировывались войска, Жуков занимался изучением противника, допрашивал пленных. В те дни гитлеровские солдаты еще были полны энтузиазма, вели себя нагло, были уверены, что они скоро захватят Москву, которая была уже так близко.

Однажды взяли в плен немецкого танкиста. Его допрашивал сам Жуков.

— Кто вы?

— Механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то дивизии.

— Какая задача вашей дивизии?

Пленный не отвечает.

— Почему вы не отвечаете?

— Вы военный человек и должны понимать, что я, как военный человек, ответил на все то, на что должен был вам ответить — кто я и к какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу, потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести...

— Если не будете отвечать, расстреляем вас — и все.

Пленный побледнел, но не сломился:

— Ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что уже ответил, не буду.

Жуков не стал дальше допрашивать и, обратившись к окружающим, сказал:

— Молодец! Держится таким наглецом, просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать!

После таких допросов Жуков уходил, не столько получив необходимые ему сведения, сколько расстроенный этой крепостью и уверенностью солдат противника. Но он был убежден: надо знать, что представляет собой противник, каково моральное состояние, уровень выучки и дисциплины солдат. Недооценка этого может привести к ошибкам и просчетам.

Однажды он допрашивал пленного, который оказался более разговорчивым и так запомнился Жукову, что он передает разговор с ним в своих воспоминаниях, и даже не забыл его фамилию — Миттерман.

Этот допрос происходил 12 августа, и ради характеристики боевого духа войск врага в то время я приведу его почти полностью.

Пленный был молод, ему было 19 лет, и, как он сказал, большинство солдат в этой дивизии в таком же возрасте — 19—20 лет. Это была дивизия СС, и сам он был эсэсовец. Его дивизия пришла сюда вслед за 10-й танковой дивизией, которая прорвалась к Ельне. Миттерман сказал, что на этой позиции они долго не засидятся, сейчас идет подтягивание сил и необходимых средств, и он понимает, что такая временная пауза необходима для того, чтобы продолжить наступление на Москву. Именно так разъясняют офицеры солдатам причины этой остановки. (Интересен, мне кажется, комментарий Жукова по поводу такого заявления пленного: «Любопытный вариант разъяснительной работы среди немецких солдат и объяснение задержки и перехода к обороне! Что называется, выдали нужду за добродетель...»). Дальше пленный сказал: «Наш полк «Дойчланд» понес большие потери, и в стрелковые подразделения переведены многие из тех, кто находился раньше в тыловых подразделениях. Особенно много неприятностей нам причиняет ваша артиллерия, она бьет сильно и прицельно и морально подавляет наших солдат».

Пленный сказал еще, что из-за больших потерь, из-за того, что остановились и перешли к обороне, некоторые командиры были сняты со своих должностей.

* * *

Жуков всегда уделял большое внимание разведке, он, повторю, хотел знать о противнике как можно больше, как можно подробнее. Но приведенные выше личные допросы пленных гитлеровцев имеют, на мой взгляд, и определенный подтекст. Мне кажется, Жуков не только хотел получить от них необходимые сведения (это могли выяснить и изложить опытные специалисты-разведчики). Думаю, что в данном случае пленные интересовали Жукова и в более широком, человеческом смысле. Дело в том, что именно в первых числах августа 1941 года немецкие самолеты сбрасывали листовки, в одной из которых была напечатана фотография пленного, беседующего с двумя немецкими офицерами. Подпись под снимком такая: «Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубично-артиллерийского полка, 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов...».

Как выяснилось позднее, 16 июля 1941 года Яков, будучи контуженным, попал в плен вместе с другими сослуживцами под городом Лиозно, недалеко от Витебска. На сборном пункте Якова выдали, сказав, чей он сын. На первом допросе 18 июля (текст был позднее найден и публиковался не раз, я приведу лишь часть его. — **В. К.**). Яков держался с достоинством, отвечал смело.

— Вы сдались в плен добровольно или вас захватили силой?

— Меня взяли силой.

— Каким образом?

— 12 июля наша часть была окружена. Началась сильнейшая бомбежка. Я решил пробиваться к своим, но тут меня оглушило. Я бы застрелился, если бы смог.

— Вы считаете плен позором?

— Да, считаю.

— Считаете ли вы, что советские войска еще имеют шанс добиться поворота в войне?

— Война еще далеко не закончена.

— А что произойдет, если мы вскоре займем Москву?

— Я такого себе представить не могу.

— А ведь мы уже недалеко от Москвы.

— Москвы вам никогда не взять.

— Для чего в Красной Армии комиссары?

— Обеспечивать боевой дух и политическое руководство.

— Вы считаете, что новая власть в России больше соответствует интересам рабочих и крестьян, чем в царские времена?

— Без всякого сомнения.

— Когда вы последний раз разговаривали с отцом?

— 22 июня, по телефону. Узнав, что я ухожу на фронт, он сказал: «Иди и воюй!»

Якову предложили послать письма семье, отцу. Он отказался, понимая, что эти письма могут использовать не по назначению. Его обещали хорошо устроить и содержать, но за это просили написать обращение к красноармейцам, чтобы они сдавались в плен. Яков на это лишь презрительно усмехнулся.

Но гитлеровцам и не нужно было согласие Джугашвили, они все равно напечатали листовку, в которой была фотография и говорилось: «В июле 1941 года старший лейтенант и командир батареи Яков Джугашвили писал своему отцу Иосифу Сталину: «Дорогой отец, я нахожусь в плену. Я здоров. Скоро меня переведут в офицерский лагерь, в Германии. Обращение хорошее. Желаю тебе здоровья. Привет всем, Яша». Следуйте примеру сына Сталина! Он сдался в плен. Он жив и чувствует себя прекрасно. Зачем же вы хотите идти на смерть, когда даже сын вашего высшего начальника сдался в плен? Мир измученной Родине. Штык в землю!»

Были сброшены и другие листовки, их, конечно же, показывали Жукову. Размышляя о таком исключительном случае — шутка ли, сын вождя! — и о пленных вообще, Георгий Константинович, наверное, и пожелал сам побеседовать с несколькими гитлеровцами, проверить их стойкость.

Дальнейшая судьба Якова Джугашвили известна, об этом писали много раз. Он прошел через психологически тяжелые испытания, его долго пытались сломить, в конце концов он не выдержал своего положения и 14 апреля 1943 года бросился на колючую лагерную ограду, крикнув: «Застрелите меня!», и часовой его убил...

Ходили разговоры, будто бы через посольство нейтральной страны Сталину предлагали обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, попавшего в плен под Сталинградом, а Сталин якобы ответил: «Я солдата на маршала не меняю».

Я думаю, большое количество пленных в первых же сражениях плюс к этому личная беда — пленение Якова, — все это еще больше озлобило Сталина, подтолкнуло его к изданию одного из самых беспощадных приказов, от изуверских последствий которого и по сей день страдают многие тысячи защитников Родины, побывавших в плену. В соответствии с этим приказом сотни тысяч и даже миллионы солдат и офицеров, попавших в плен, объявлялись «предавшими свою Родину дезертирами». По мнению Сталина, все они должны были не сдаваться живыми — стреляться, вешаться, топиться!

А по отношению к тем, кто этого не сделал и уцелел, обезумевший от жестокости вождь требовал: «Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения ...уничтожать их (сдающихся в плен.— В. К.) всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и помощи».

Весь командный и рядовой состав нашей армии в годы войны жил под постоянной угрозой расстрела. В прочитанных мною тысячах политдонесениях, почти в каждом с первого до последнего дня войны, сообщалось о расстрелах или предании суду военного трибунала, что лишь оттягивало расстрел. Была еще и такая формулировка: «Расстрелян в несудебном порядке».

Десятки тысяч побывавших в плену после освобождения перекочевали в наши советские лагеря. Многие из них вели себя героически на поле боя и в немецких застенках, но приказ был одинаково беспощаден ко всем: пленный — значит предатель. Напомню только один широкоизвестный пример, подтверждающий это. Майор Гаврилов Петр Михайлович, командир 44-го стрелкового полка, руководил обороной Восточного форта Брестской крепости с 22 июня 1941 года; 23 июля 1941 года был ранен и контужен взрывом снаряда, попал в плен в бессознательном состоянии. Освобожден советскими войсками в мае 1945 года. После этого 10 лет отсидел в советском лагере и только благодаря усилиям писателя С. С. Смирнова, написавшего правду о героических делах Петра Михайловича Гаврилова, ему в 1957 году было присвоено звание Героя Советского Союза. И таких тысячи! И сотни тысяч не доживших до снятия позорного клейма и не получивших достойной оценки за свои мужественные дела только потому, что угодили в плен. Причем очень многие попали в плен по вине Сталина: немало таких сражений, завершенных массовым пленением наших бойцов, которыми он или неумело руководил, или мешал руководить военачальникам.

А сколько было невинно пострадавших семей — стариков, жен, детей, родственников тех, кто попал в плен! Их — в соответствии с приказом № 270 — подвергали репрессиям. Сталин не пощадил даже жену Якова Юлию Мельцер, ее арестовали в 1941 году и два года держали в одиночке, пока не стало известно, что муж ее умер не сломившись. Выполнил приказ вождя!

Жуков по поводу этих приказов сказал в мае 1957 года:

— Зачем понадобилось Сталину издавать приказы, позорящие нашу армию? Я считаю, что это сделано с целью отвести от себя вину и недовольство народа за неподготовленность страны к обороне, за допущенные лично им ошибки в руководстве войсками и те неудачи, которые явились их следствием... В отношении бывших военнопленных была создана обстановка недоверия и подозрительности, им предъявлялись необоснованные обвинения в тяжких преступлениях и применялись массовые репрессии, включая высшую меру наказания, вследствие чего наши солдаты, сержанты и офицеры, попавшие в плен к врагу, из-за боязни расправы над ними не стремились бежать из плена на Родину, чтобы вновь встать в ряды Советской Армии...

Только 29 июня 1956 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей». Но надо сказать, что вопиющая несправедливость в отношении бывших военнопленных и до сих пор не ликвидирована в полной мере.

* * *

Однако вернемся к ельнинской операции.

Руководя подготовкой, а затем и проведением такой сложной, напряженной операцией под Ельней, когда, казалось бы, он был весь в делах и заботах этого сражения, Жуков не забывал и общее состояние дел на всех фронтах. Вот одна только фраза из его воспоминаний, относящаяся к этому периоду: «Несмотря на всю остроту боевых событий и успех этой операции, из памяти не выходил разговор в Ставке 29-го июля. Правильный ли стратегический прогноз мы сделали в Генштабе?»

Думая об этом, Жуков 19 августа, не боясь вызвать гнев Сталина своей настойчивостью и строптивостью, послал ему ту самую телеграмму,

о которой говорилось в предыдущей главе — о возможном замысле противника: разгромить армии Юго-Западного фронта. Кроме того, Жуков не раз говорил по телефону с Генеральным штабом, с Шапошниковым, все время обращая внимание на опасность окружения войск этого фронта и Центрального и подсказывая меры, какими можно было бы не допустить такую беду.

Готовя наступление под Ельней, Жуков в течение недели провел подготовку и перегруппировку стоящих там войск. Всего для осуществления этой операции переходило в наступление десять дивизий. Главный удар наносила 24-я армия, шедшая с северо-востока. Навстречу ей, с юго-востока, двигалось несколько соединений 43-й армии. 30 августа наступление началось. После артиллерийской подготовки войска успешно прорвали оборону противника. К 4 сентября, постоянно отражая сильные контратаки, северная и южная обходящие группировки приблизились друг к другу,— над гитлеровцами нависла явная угроза окружения. Под этой угрозой противник начал быстрый отход из района Ельни, 5 сентября наши войска (19-я стрелковая дивизия) ворвались в Ельню и к утру 6-го освободили город. Преследование противника продолжалось, войска продвинулись на запад еще на 25 километров и были остановлены новым, заранее подготовленным оборонительным рубежом немцев на реках Устрон и Стряна.

Жуков был доволен ходом событий, но в то же время и огорчен, потому что удачно развивавшееся наступление не было завершено окружением, не хватило сил, чтобы окончательно замкнуть коридор, через который ускользала уже фактически взятая в кольцо группировка немцев. Было бы побольше танков и авиации в распоряжении Жукова, он бы не выпустил из этого кольца части фон Бока.

И все же значение ельнинской операции в ходе Великой Отечественной войны очень весомо. Это была первая значительная наступательная операция советских войск, которая закончилась так удачно. И не случайно, отмечая в приказе именно наступательный успех и высокий боевой дух дивизий, которые участвовали в этой операции, Ставка присвоила этим дивизиям гвардейские звания. Их получили 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии, которые, соответственно, стали называться 1-й и 2-й гвардейскими стрелковыми дивизиями. Так в боях, руководимых Жуковым, родилась советская гвардия.

Вполне естественно, и наша пресса, и политические работники использовали этот успех первого наступления для поднятия боевого духа войск, так много дней отступавших под натиском врага. Это первая победа воодушевила и придала силы всей Красной Армии.

* * *

Я встречался и беседовал не раз с командиром 1-й гвардейской дивизии генерал-майором И. Н. Руссияновым. В восемьдесят лет у него был вполне строевой вид, генеральская форма сидит на нем ладно, веселые голубые глаза.

С первых слов проявились обстоятельность, неспешность, широта суждений генерала. А я подумал: наверное, вот так и в боях, принимая решения, он спокойно и всесторонне учитывал и оценивал все обстоятельства.

— Рассказать о боях под Ельней, о рождении гвардии? Хорошо, расскажу. Только рождалась она не в один и не в два дня. Под Ельней наши бойцы и командиры показали мужество и боевое мастерство, которые вырабатывались и накапливались во многих боях. Если хотите, давайте коротко, вместе, пройдем по этому пути становления?

— Именно этого я и хотел.

— Так вот, 100-я дивизия, которая стала первой гвардейской, получила это звание не случайно. Мы были подняты по тревоге в первый же час войны. А 25 июня встали на пути танково-механизированного клина фашистов, который несся к Минску. Командир фашистского головного танкового полка, полковник Роттенберг, затребовал подвезти из тыла парадную форму, одел в нее своих подчиненных и так вот, с шиком, хотел войти в первую на своем пути столицу советской республики — Минск.

Наша дивизия была хорошо обучена, имела боевой опыт финской кампании. Нас просто так не собьешь! Однако сразу же встали перед нами трудности, на первый взгляд непреодолимые. Чем бить танки? Они прут, их много, а бороться с ними нечем. В первые дни войны не было еще ни бутылок зажигательных, ни гранат противотанковых. Если вы служили до войны, то, наверное, помните, имелись в некоторых наших частях стеклянные фляги в чехле. Не любили их командиры — бьются, при отчетах — начеты всякие появляются. Вот и у нас были такие фляги. Они нас выручили. Стали мы их наполнять бензином, а в горлышко фитиль из пакли затыкали. Вот такое «сооружение» надо было поджечь спичкой, прежде чем бросить на моторную часть танка. Но выхода иного не было. Бойцы быстро приспособились, в батальоне Тыртычного в первых же схватках подожгли десять танков! А всего за три дня, с 26 по 28 июня, мы сожгли больше ста танков и уничтожили один пехотный и один танковый полк, тот самый, что был переодет в парадную форму! Вот так мы встретили фашистов и отбросили их от Минска на двенадцать — четырнадцать километров.

Позднее нас обошли, пришлось отступать. Какой горький и тяжкий это был отход, — шли через городок, где стояли наши части до начала боев, через новый стадион, который празднично открывали всего несколько дней назад, 22 июня! Да, именно в то воскресенье!

В этот день отступления я увидел, как бойцы-белорусы набирали в платочки и в кисеты родную землю и говорили: «Мы вернемся!». А я дал себе клятву, что тоже вернусь сюда, и с этими же людьми. В этой клятве, между прочим, и ответ на вопрос, который мне нередко задают: почему я не имел перемещений по должности и всю войну командовал 1-й гвардейской дивизией и 1-м гвардейским корпусом. Я сдержал клятву, вернулся с этой же дивизией к советской границе, изгнав врага.

После боев под Минском мы шестнадцать суток вырывались из полуокружения и, наконец, ушли за Днепр, а в конце августа вели бои восточнее Ельни. Здесь 25 августа мы получили приказ овладеть сильно укрепленным районом Ушаково. Приказ выполнили, взяли этот населенный пункт и еще несколько, по соседству с ним. Конечно, понесли потери. Затем, обороняясь на широком фронте одними частями, другими я пытался все же продвигаться вперед. В конце концов мы совсем выдохлись. А тут приказ взять Ельню. Брать нечем, нет сил. Пытались, не выходит. И вот приезжает генерал армии Жуков. Я хотел доложить ему обстановку, но он был очень сердит, слушать не стал, и говорит:

— Пусть мне и вам дадут винтовки, и мы поведем дивизию брать Ельню!

Жукова я знал еще, когда он командовал четвертой кавалерийской дивизией, стоявшей в городе Слуцк. Я тогда командовал стрелковым полком, мы часто встречались на совещаниях, на вечерах и по другим поводам. Я знал его крутой характер, бывают минуты, когда возражать ему не следует. Я приказал принести нам винтовки. Мы взяли их и пошли. Я знал, до какого места от НП идти относительно безопасно. А дальше нельзя: большую группу комсостава противник может обнаружить и обстрелять артиллерией. Вот я и говорю:

— Прикажите, товарищ генерал армии, вашим сопровождающим остаться.

— Что, струсил?

— Нет, я не струсил, не хочу, чтобы нас демаскировали.

Прошли мы еще немного, и я опять говорю:

— А теперь прошу отложить винтовку и выслушать мой доклад.

Он остановился, хмуро говорит:

— Кто тут командует: ты или я?

— Согласно проекту полевого устава, я. Я ответственный за боевой участок, и поэтому здесь командую я. Дальше мы не пойдем. И дело совсем не в моей жизни.

— Что ты хочешь?

— Хочу доложить обстановку, хотя бы в течение пятнадцати минут. Пойдемте на КП.

— ...Пришли мы в блиндаж оперативного отделения, — сказал далее Иван Никитич, — я сообщил о состоянии дивизии, как мало бойцов осталось в подразделениях, как мало огневых средств. Почти нет командиров, ротами командуют сержанты. Жуков слушал молча и хмуро, коротко бросал адъютанту: «Запишите». И еще, говорю, я слышал, появилось новое оружие под названием «Катюша», может быть, нам его на поддержку дадите? Жуков обещал. Он выполнил все — через три дня мы получили пополнение, боеприпасы и даже батарею «Катюш».

Тут генерал Руссиянов взял из шкафа книгу «Воспоминаний...» Г. К. Жукова, раскрыл, где была закладка, и прочитал: «С 22 по 29 августа 100-я дивизия готовилась к наступлению... В ходе подготовки мне довелось неоднократно побывать в этих частях, и я был вполне уверен в успехе... Преодолевая упорное сопротивление противника, части 100-й дивизии к исходу 5 сентября глубоко вклинились в обороиу врага и вышли на тыловые пути его группировки, содействуя тем самым другим соединениям армии в овладении городом... В результате успешно проведенной операции по разгрому ельнинской группировки в войсках фронта поднялось настроение, укрепилась вера в победу».

Руссиянов помолчал, закрыл книгу и поставил ее на место; он не стал читать высокую оценку маршала Жукова, данную ему лично.

...В историю Великой Отечественной войны бои под Ельней вошли как завершающий этап, и этап победный, двухмесячного Смоленского сражения. Его значение определяется тем, что на главном, московском, направлении рушилась надежда на «блицкриг», и враг впервые был вынужден перейти к обороне.

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

После завершения ельнинской операции, 9 сентября, Сталин вызвал к себе Жукова. Как всегда, вызов Сталина означал что-то срочное и, конечно же, сложное. И в этот раз Жуков не ошибся.

Когда он прибыл в Кремль, в приемной его встретил Власик и проводил на квартиру Сталина, которая была здесь же, этажом выше.

Сталин ужинал с Молотовым, Щербаковым, Маленковым и другими членами Политбюро. Поздоровавшись, пригласил Жукова к столу и, как будто не было никакой размолвки, легко сказал:

— А неплохо у вас получилось с Ельнинским выступом. — И понимая все-таки, что Жуков помнит о том неприятном разговоре, после которого он был отправлен под Ельню, Сталин продолжил:

— Вы были тогда правы. Я не совсем правильно вас понял. — Услышать такое из уст Сталина было необычайно. В этой фразе явно звучало что-то вроде извинения. И, видимо, желая побыстрее сменить не очень приятную для него тему, Сталин сказал: — Плохо идут дела у нас на Юго-Западном направлении. Буденный там не справляется. Как вы думаете, кем можно его заменить?

Жуков сначала подумал, что, может быть, Сталин имеет в виду назначить его командующим Юго-Западным направлением, но, ничего не сказав об этом, ответил:

— Я думаю, самый подходящий командующий там был бы маршал Тимошенко, он знает хорошо театр действий и все возможности проведения операций на Украине. За последнее время он получил большую практику в организации боевых действий, вдобавок он по национальности украинец, что тоже имеет значение. Я бы рекомендовал послать его.

Сталин подумал, посмотрел на членов Политбюро, но никто из них не высказал ни своего несогласия, ни одобрения. Сталин произнес:

— Пожалуй, вы правы. А кого поставим вместо Тимошенко командовать Западным фронтом?

И опять Жуков имел все основания подумать, что Сталин подразумевает его кандидатуру, но и на сей раз сделал вид, что не понимает намека, и ответил:

— Мне кажется, хорошим командующим Западного фронта будет генерал-лейтенант Конев, который командует сейчас 19-й армией.

Сталин ничего не ответил на это предложение Жукова и, не спросив мнения членов Политбюро, сидевших за столом, тут же подошел к телефону, позвонил Шапошникову и попросил его вызвать в Москву маршала Тимошенко и подготовить приказ о назначении Конева на должность командующего Западным фронтом.

Возвратившись к столу, Сталин, как бы продолжая обычный, ни к чему не обязывающий разговор, спросил Жукова:

— Что вы думаете делать дальше?

Жуков пожал плечами и ответил то, что он считал естественным в его положении:

— Поеду обратно к себе на фронт.

Сталин задумался и, словно бы размышляя вслух, стал говорить:

— Очень тяжелое положение сложилось сейчас под Ленинградом, я бы даже сказал положение катастрофическое,— помолчав, Сталин явно подбирал еще какое-то слово, которым хотел подчеркнуть сложность обстановки на Ленинградском фронте и, наконец, вымолвил: — Я бы даже сказал безнадежное. С потерей Ленинграда произойдет такое осложнение, последствия которого просто трудно предвидеть. Окажется под угрозой удара с севера Москва.

Жукову стало ясно, что Сталин явно клонил к тому, что ликвидировать ленинградскую катастрофу, наверное, лучше всего сможет он, Жуков. Понимая, что Сталин уже решил послать его на это «безнадежное дело», Георгий Константинович сказал:

— Ну, если там так сложно, я готов поехать командующим Ленинградским фронтом.

Сталин, как бы пытаясь проникнуть в состояние Жукова, снова произнес то же слово, внимательно при этом глядя на него:

— А если это безнадежное дело?

Жукова удивило такое повторение. Он понимал, что Сталин делает это неспроста, но почему, объяснить не мог. А причина, действительно, была.

Еще в конце августа под Ленинградом сложилась критическая обстановка, и Сталин послал в Ленинград комиссию ЦК ВКП(б) и ГКО в составе Н. Н. Воронова, П. Ф. Жигарева, А. Н. Косыгина, Н. Г. Кузнецова, Г. М. Маленкова, В. М. Молотова. Как видим, комиссия была очень представительная и с большими полномочиями. Она предприняла много усилий для того, чтобы мобилизовать имеющиеся войска и ресурсы и организовать стойкую оборону. Но этого оказалось недостаточно, и после отъезда комиссии положение Ленинграда ничуть не улучшилось. Противник продолжал продвигаться в сторону города, остановить его было нечем и некому. Ворошилов явно не был способен на это. Сталин понимал, что принятые им меры ни к чему не привели. Поэтому и пульсировали в его сознании эти неприятные, но точные слова: «Положение безнадежно». Жуков оставался последней надеждой, и Сталин почти не скрывал этого.

— Разберусь на месте, посмотрю, может быть, оно еще окажется и не таким безнадежным, — ответил Жуков.

— Когда можете ехать? — считая вопрос решенным, спросил Сталин.

— Предпочитаю отправиться туда немедленно.

— Немедленно нельзя. Надо сначала организовать вам сопровождение истребителей, не забывайте, Ленинград теперь окружен со всех сторон фронтами.

Это тоже для Сталина было необычным в отношении к Жукову — теперь он проявлял о нем заботу.

Сталин подошел к телефону и приказал сообщить прогноз погоды. Ему быстро ответили. Повесив трубку, Сталин сказал Жукову:

— Дают плохую погоду, но для вас это самое лучшее, легче будет перелететь через линию фронта.

Сталин подошел к столу, взял лист бумаги и написал записку:

«Ворошилову.

ГКО назначает командующим Ленинградским фронтом генерала армии Жукова. Сдайте ему фронт и возвращайтесь тем же самолетом.

Сталин».

Сталин протянул эту записку Жукову, он прочитал ее, сложил вдвое, положил в карман и спросил:

— Разрешите отбыть?

— Не торопитесь. Как вы расцениваете дальнейшие планы и возможности противника?

И Жуков снова решил сказать о том, что его все время волновало:

— Я думаю, кроме Ленинграда, в настоящий момент самым опасным участком для нас является Юго-Западный фронт. Считаю, что в ближайшие дни там может сложиться тяжелая обстановка. Группа армий «Центр», вышедшая в район Чернигов — Новгород-Северский, может смять 21-ю армию и прорваться в тыл Юго-Западного фронта. Уверен, что группа армий «Юг», захватившая плацдарм в районе Кременчуга, будет осуществлять оперативное взаимодействие с армией Гудериана. Над Юго-Западным фронтом нависает серьезная угроза. Я вновь рекомендую немедля отвести всю Киевскую группировку на восточный берег Днепра и за ее счет создать резервы где-то в районе Конотопа.

Наступила напряженная тишина, опять создалась обстановка, похожая на ту, которая была перед конфликтом со Сталиным, когда Жуков предлагал оставить Киев. Георгий Константинович ждал, что на этот раз скажет Сталин, надеясь все же, что, отправляя его на такое тяжелое дело, как спасение Ленинграда, Сталин едва ли теперь вспылит, а скорее всего, сдержит гнев, может быть, промолчит. Так и произошло. После паузы Сталин спросил:

— А как же Киев?

Зная непредсказуемость вспышек гнева Сталина, Жуков все же твердо ответил:

— Как ни тяжело, а Киев придется оставить. Иного выхода у нас нет.

Сталин ничего не ответил, подошел к телефону и позвонил Шапошникову.

— Что будем делать с Киевской группировкой?

Жуков не слышал ответа Бориса Михайловича, а Сталин сказал слушающему его Шапошникову:

— Завтра прибудет Тимошенко. Продумайте с ним этот вопрос, а вечером переговорим с Военным советом фронта.

Здесь я хочу напомнить читателям то, что рассказано было в одной из предыдущих глав. Свое предложение Жуков высказал 9 сентября, а 11 сентября последовал контрприказ Сталина: «Киев не оставлять» — и все, что за этим последовало...

* * *

10 сентября 1941 года, как пишет в своих воспоминаниях Жуков, он вместе с генерал-лейтенантом М. С. Хозиным и генерал-майором И. И. Федюнинским вылетел в блокадный Ленинград.

А вот как вспоминает об этом Федюнинский: «Утром 13 сентября самолет ЛИ-2 поднялся с Внуковского аэродрома и под охраной звена истребителей взял курс на Ленинград. В самолете находились генерал армии Г. К. Жуков, назначенный командующим Ленинградским фронтом, генералы М. С. Хозин, П. И. Кокарев и я».

Начальник же охраны Жукова, Н. Х. Бедов, рассказал мне вот что:

— Случилось так, что ни в этот день, 9 сентября, ни в следующий Георгий Константинович Жуков вылететь в Ленинград не смог... Утром 10-го числа мы прибыли на Центральный аэродром. Самолет был готов к полету, но его не выпустили. И только утром 11 сентября удалось вылететь из Москвы.

Вот видите, какие случаются шероховатости в воспоминаниях; все летели в одном самолете, и каждый называет иную дату: Жуков — 10 сентября, Бедов — 11, а Федюнинский — 13. И даже аэродромы вылета разные: Федюнинский утверждает, что вылетели с Внуковского, а Бедов — с Центрального. Я привожу этот мелкий факт, чтобы показать, как иногда непросто разобраться даже в воспоминаниях непосредственных участников.

Бедов еще рассказал мне, что на Центральном аэродроме (все же это происходило именно здесь) 11 сентября, перед тем как садиться в самолет, Жуков сказал генералам, которых он отобрал для работы на Ленинградском фронте:

— Полетим в Ленинград через линию фронта. Немецкие войска вышли к Ладожскому озеру и полностью окружили город. На подступах к городу идут очень тяжелые бои. Сталин сказал мне: либо отстоите город, либо погибнете там вместе с армией, третьего пути у вас нет.

Жуков помолчал, посмотрел поочередно в лицо каждому из собеседников и закончил:

— Кто согласен, проходите в самолет.

Все присутствующие генералы были опытные военачальники, некоторые не раз смотрели смерти в глаза, хотя бы тот же Федюнинский, который был с Жуковым в боях на Халхин-Голе. Они не стали говорить громких фраз о своем согласии, а просто пошли к трапу самолета.

На пути ЛИ-2 сделал посадку в Тихвине, где дозаправился, здесь же подключились для сопровождения истребители. Вся группа пошла на низкой высоте. На подступах к Ленинграду появилось несколько «мессершмиттов», но прикрывающие истребители вступили с ними в бой и отогнали от самолета, в котором летел Жуков.

Рассказывая об этом полете, Бедов признался, что лететь было очень неприятно: самолет болтало на низкой высоте, внизу — линия фронта, там видны взрывы, идет артиллерийская стрельба, а сверху — немецкие истребители, тоже видны трассы пролетающих пулеметных очередей.

В Ленинграде прибывших генералов никто не встретил, хотя о том, что туда вылетел Жуков, не знать не могли. Взяли первую попавшуюся под руку машину и поехали на ней в Смольный. Во двор Смольного машину не пропустили. Жуков сказал, кто он, но дежурный коротко ответил: «Пропуска нет, а я без него вас пропустить не могу». Жуков потребовал вызвать начальника караула. Время шло. Наконец, прибыл начальник караула, старший лейтенант. К нему подошел Бедов, предъявил ему документы и сказал, с кем он имеет дело. Но старший лейтенант стал звонить кому-то из своих начальников и, только получив от того разрешение, повел Жукова и прибывших с ним генералов к зданию Смольного. В приемной тоже не проявили к Жукову даже элементарного внимания.

Я слышал или где-то читал о том, что Жуков якобы вошел в кабинет командующего фронтом, пнув дверь ногой. Даже если это и было, то все, что предшествовало этому, мне кажется, объясняет такое нервное состояние Георгия Константиновича.

Не снимая шинели и фуражки, Жуков вошел в кабинет маршала Ворошилова. В это время в кабинете заседал Военный совет фронта, на котором присутствовали Ворошилов, Жданов, Кузнецов и другие члены Военного совета. Они рассматривали вопрос, как уничтожать важнейшие объекты города, потому что удерживать его уже считалось почти невозможным, когда и как подготовить к взрыву боевые корабли, чтобы их не захватил противник.

Жуков сел на свободный стул и некоторое время слушал происходивший разговор. Тема разговора еще больше его взвинтила. Он приехал в Ленинград для того, чтобы отстаивать его, а тут говорят о сдаче. Он подал записку Сталина о своем назначении Ворошилову. Маршал прочитал эту записку, как-то сник и ничего не сказал присутствующим. Пришлось Жукову самому сообщить, что он назначен командующим фронтом. Он коротко предложил закрыть совещание Военного совета и вообще не вести никаких обсуждений о сдаче города, а принять все необходимые меры для того, чтобы отстоять его, и закончил такими словами:

— Будем защищать Ленинград до последнего человека!

В одной из бесед с Симоновым об этом совещании Военного совета Жуков рассказал:

«Моряки обсуждали вопрос, в каком порядке им рвать суда, чтобы они не достались немцам. Я сказал командующему флотом Трибуцу: ,,Как командующий фронтом запрещаю вам это. Во-первых, извольте разминировать корабли, чтобы они сами не взорвались, а во-вторых, подведите их ближе к городу, чтобы они могли стрелять всей своей артиллерией''. Они, видите ли, обсуждали вопрос о минировании кораблей, а на них, на этих кораблях, было по сорок боекомплектов. Я сказал им: ,,Как вообще можно минировать корабли? Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя''. И когда потом немцы пошли в наступление на Приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! Шестнадцатидюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища?»

* * *

Жуков приказал Хозину вступить в должность начальника штаба фронта, а генералу Федюнинскому немедленно направиться в 42-ю армию на самый напряженный участок фронта — на Пулковских высотах и под Урицком, и разобраться там с обстановкой на месте.

Всю ночь Жуков с помощью Жданова, Кузнецова и адмирала флота Исакова, начальника штаба, начальников родов войск и служб разбирался в обстановке, и все его действия с первых же минут командования фронтом были направлены на мобилизацию сил для обороны Ленинграда, никаких разговоров о сдаче города с момента его прибытия больше не было.

Город был окружен со всех сторон. Ленинград беспощадно бомбила гитлеровская авиация, пожары полыхали во всех районах, вела обстрел тяжелая артиллерия противника, снаряды рвались на улицах, разрушали жилые дома, уничтожали гражданское население. Немцы стремились не только наступлением на фронтах, кольцом окружавших город, но и беспощадным истреблением жителей сломить волю обороняющихся и вынудить их к сдаче.

Работая в штабе фронта, Жуков во время бомбежек и обстрела города крупнокалиберной артиллерией не уходил в бомбоубежище, он оставался в своем кабинете. Под зданием Смольного было хорошее бомбоубежище с подведенными туда средствами связи, но за все время пребывания в Ленинграде Жуков спустился туда только один раз, и то для осмотра. У него не было времени на беготню вниз и обратно, дорога была каждая минута, а бомбежки и обстрелы шли почти непрерывно.

Не имея никакой надежды получить помощь извне, Жуков стал собирать те силы, которые еще находились здесь, в окружении, и маневрировать ими. Для отражения танков и предотвращения прорыва он приказал на самых опасных направлениях, особенно на Пулковских высотах, поставить часть зенитных орудий из противовоздушной обороны города. На самый опасный участок — Урицк-Пулковские высоты — приказал сосредоточить огонь корабельной артиллерии. На наиболее уязвимых направлениях немедленно организовал инженерные работы, которым придавал огромное значение, мобилизовал население, инженерные части и войска для создания глубоко эшелонированной обороны. Работы шли в сверхскоростном темпе, в предельном напряжении сил и, добавлю, нервов. Представление о том, в каком взвинченном состоянии был в это время Жуков, дает рассказ начальника Инженерного управления Ленинградского фронта Бориса Владимировича Бычевского. Это был немолодой, интеллигентный человек, и тот разговор, который произошел у него при первом знакомстве с Жуковым, его обескуражил. Но я привожу его рассказ для того, чтобы мы с вами увидели Жукова еще и глазами человека, которого, по сути дела, незаслуженно обижают.

«Первое мое знакомство с новым командующим носило несколько странный характер. Выслушав мое обычное в таких случаях представление, он несколько секунд рассматривал меня недоверчивыми холодными глазами. Потом вдруг резко спросил:

— Кто ты такой?

Вопроса я не понял и еще раз доложил:

— Начальник Инженерного управления фронта подполковник Бычевский.

— Я спрашиваю, кто ты такой? Откуда взялся?

В голосе его чувствовалось раздражение. Тяжеловесный подбородок Жукова выдвинулся вперед. Невысокая, но плотная, кряжистая фигура поднялась над столом.

,,Биографию, что ли, спрашивает? Кому это нужно сейчас?'' — подумал я, не сообразив, что командующий ожидал увидеть в этой должности кого-то другого. Неуверенно стал докладывать, что начальником Инженер-

ного управления округа, а затем фронта работаю почти полтора года, во время советско-финляндской войны был начинжем 13-й армии на Карельском перешейке.

— Хренова, что ли, сменил здесь? Так бы и говорил! А где генерал Назаров? Я его вызывал.

— Генерал Назаров работал в штабе Главкома Северо-Западного направления и координировал инженерные мероприятия двух фронтов, — уточнил я. — Он улетел сегодня ночью вместе с маршалом.

— Координировал... улетел... — пробурчал Жуков. — Ну и черт с ним! Что там у тебя, докладывай.

Я положил карты и показал, что было сделано до начала прорыва под Красным Селом, Красногвардейском и Колпино, что имеется сейчас на пулковской позиции, что делается в городе, на Неве, на Карельском перешейке, где работают минеры и понтонеры.

Жуков слушал, не задавая вопросов... Потом — случайно или намеренно — его рука резко двинула карты так, что листы упали со стола и разлетелись по полу, и, ни слова не говоря, стал рассматривать большую схему обороны города, прикрепленную к стене.

— Что за танки оказались в районе Петрославянки? — неожиданно спросил он, опять обернувшись ко мне и глядя, как я складываю в папку сброшенные на пол карты. — Чего прячешь, дай-ка сюда! Чушь там какая-то...

— Это макеты танков, товарищ командующий, — показал я на карте условный знак ложной танковой группировки, которая бросилась ему в глаза. — Пятьдесят штук сделано в мастерской Мариинского театра. Немцы дважды их бомбили...

— Дважды! — насмешливо перебил Жуков. — И долго там держишь эти игрушки?

— Два дня.

— Дураков ищешь? Ждешь, когда немцы сбросят тоже деревяшку? Сегодня же ночью убрать оттуда! Сделать еще сто штук и завтра с утра поставить в двух местах за Средней Рогаткой. Здесь и здесь, — показал он карандашом.

— Мастерские театра не успеют за ночь сделать сто макетов, — неосторожно сказал я.

Жуков поднял голову и осмотрел меня сверху вниз и обратно.

— Не успеют — под суд пойдешь... Завтра сам проверю.

Отрывистые угрожающие фразы Жукова походили на удары хлыстом. Казалось, он нарочно испытывал мое терпение.

— Завтра на Пулковскую высоту поеду, посмотрю, что вы там наковыряли... Почему так поздно начали ее укреплять? — И тут же, не ожидая ответа, отрезал: — Можешь идти...»

Во всем, рассказанном Бычевским, явно сквозит обида. Сделаем на нее скидку. Но при всем при том в прямой речи и, я бы сказал, в жестах командующего присутствует «жуковский колорит».

Следует при этом учесть и то, что речь шла о последних перед городом рубежах.

* * *

О том, как Жуков оценивал обстановку сразу после прибытия в Ленинград, дает представление телеграфный разговор между ним и начальником Генштаба Шапошниковым, который они вели 14 сентября.

Жуков сказал тогда Борису Михайловичу, что обстановка в южном секторе фронта значительно сложнее, чем казалось Генеральному штабу. К исходу этого дня противник, развивая прорыв тремя-четырьмя пехотными дивизиями и введя в бой до двух танковых дивизий, вышел на фронт, что был южнее Пулково всего на два километра, и развивает наступление в северном направлении. Красногвардейск и дороги, идущие от Красногвардейска в Пулково, также занимаются им. Положение усугубляется тем, что у командования в районе Ленинграда нет никаких резервов. Сдерживать наступление и развитие прорыва приходится с помощью случайных отрядов, отдельных полков и вновь формируемых рабочих дивизий. Затем Георгий Константинович доложил о тех мерах, которые он

предпринял, — об организации системы артиллерийского огня, включая морскую, зенитную и прочую артиллерию, о том, что на заводах экстренно собираются минометы и до сотни танков, о действиях авиации фронта и Балтийского флота. Как обстояло дело с авиацией, видно из таких его слов: «Мною принято на Ленинградском фронте всего 268 самолетов, из них исправных только 163. Очень плохо с бомбардировщиками и штурмовиками. Имеется шесть самолетов Пе-2, два самолета Ил-2, два самолета АР-2, 11 самолетов СБ. Такое количество не обеспечит выполнения задачи. Очень прошу Ставку дать хотя бы один полк Пе-2 и полк Ил-2».

* * *

А вот как обстановку под Ленинградом оценивал противник.

В день приезда Жукова в Ленинград Гальдер записал в своем дневнике: «На фронте группы армий „Север" отмечены значительные успехи в наступлении на Ленинград. Противник начинает ослабевать...».

Запись Гальдера 13 сентября: «У Ленинграда значительные успехи. Выход наших войск к внутреннему обводу укреплений может считаться законченным».

Прибыв в Ленинград, Жуков как бы вступал в единоборство с главнокомандующим группы армий «Север» — фельдмаршалом фон Леебом. Этот противник был опытным и знающим военачальником. В 1895 году, еще за год до рождения Жукова, он уже служил в армии. В 1909—1911 годах занимал офицерские должности в генеральном штабе Пруссии. В первую мировую войну участвовал в боях и приобрел немалый опыт. Любопытная деталь из биографии Лееба: он участвовал в подавлении мюнхенского гитлеровского путча в 1923 году. Как помнит читатель, этот «пивной путч» был разогнан войсками в течение короткого времени, тогда Гитлер, испугавшись обстрела, убежал с улицы, сказавшись раненым. Вот в этой стрельбе по нацистам участвовал Лееб. После прихода к власти Гитлер, знавший об этой подробности в биографии Лееба, все же не придал ей значения, так как не желал ссориться с генералами, и старый военный аристократ был назначен командиром соединения, которое позже, после Мюнхенского соглашения, входило в Судеты. В боях против Франции Лееб командовал группой «Ц». Он провел молниеносный удар энергично, в полном соответствии с указаниями Гитлера и планами Генерального штаба. После победы над Францией, в июле 1940 года, Гитлер наградил Лееба рыцарским крестом и присвоил ему звание фельдмаршала. При нападении на Советский Союз фон Лееб вел группу армий «Север», овладел Прибалтикой и подступил к Ленинграду.

Вопрос о падении Ленинграда и Лееб, и Гитлер считали решенным. Гитлер даже прислал специального офицера в штаб Лееба, который был обязан немедленно доложить о вступлении войск в Ленинград.

Как видим, в свое единоборство Лееб и Жуков вступали в весьма неравных условиях и с неравными силами. Лееб — имея в распоряжении огромное количество войск, воодушевленных предшествующими победами, будучи поддерживаем с тыла хорошо организованным снабжением. А у Жукова — истекающие кровью остатки соединений, которые с момента нападения гитлеровцев вели непрерывные бои, не имели в своем распоряжении достаточного количества боеприпасов и всего необходимого для обороны, и за спиной у них был не снабжающий, а трагический тыл — горящий город, гибнущие в нем женщины и дети.

В нашу историю как легенда вошло мужественное сопротивление войск и жителей города, оборона Ленинграда справедливо названа героической. Но надо сказать, что около 900 тысяч ленинградцев, похороненных на Пискаревском и других кладбищах города, сегодня заставляют нас подумать и о том, что все эти сотни тысяч женщин, детей, стариков могли быть эвакуированы до того, как Ленинград был окружен. И если бы наше командование да и правительство были более дальновидными, то, эвакуировав этих людей и избежав, таким образом, ненужных жертв, можно было облегчить и действия обороняющихся, так как в этом случае на долю оставшихся пришлось бы больше продовольствия, да и всего, необходимого для стойкой защиты города.

* * *

Жуков постоянно требовал не только удерживать до последней возможности занимаемые рубежи, но и контратаковать. Для многих такая его тактика казалась труднообъяснимой — сил не хватает для того, чтобы обороняться, а он бросает и бросает в бой части, которые, казалось, теряют последние силы в этих, вроде бы напрасных, контратаках. Поступают сообщения о том, что противник занял поселок Володарского, и Жуков тут же приказывает 8-й армии вернуть этот поселок и нанести удар в направлении Красного Села. Немцы овладели Слуцком и Пушкинским парком, и опять Жуков категорически требует от 55-й армии вернуть немедленно эти захваченные немцами пункты.

Главные усилия противника были сосредоточены в направлении Урицка и Пулковских высот. Жуков понимает это и всем, чем возможно, усиливает 42-ю армию, которую принял генерал Федюнинский.

Фон Лееб все наращивал и наращивал силы именно на направлении Пулковских высот. В критический момент, когда стало ясно, что оборона может быть вот-вот прорвана, хотя Федюнинский и не говорил об этом, Жуков сам выехал на участок 42-й армии. Наблюдательный пункт Федюнинского находился на седьмом этаже большого дома. Жуков поднялся туда и стал вглядываться в расположение немцев, которое было всего на расстоянии 700—800 метров от дома. В это время немецкие наблюдатели, видимо, заметили движение на этажах дома (как предполагает Бедов, возможно, увидели и красные лампасы на одежде генералов). На дом был сделан сильный артиллерийский налет, было несколько точных попаданий, разбило лестницу, по которой поднимались Федюнинский и Жуков на наблюдательный пункт. Пришлось немедленно уходить под сильным обстрелом, снаряды рвались внутри помещений. Кое-как выбрались и укрылись за противоположной стороной дома. В этот день Жуков едва не погиб.

Полковник Панченко, командир 21-й дивизии, контратакой отбил Урицк и тут же получил приказание генерала Федюнинского продолжать продвижение вперед. Это было вполне естественное решение — использовать успех и развивать его. Но поскольку дивизия не закрепила того, чем она овладела, когда двинулась вперед, противник неожиданно ударил во фланг силами более 50 танков с пехотой и отрезал почти всю дивизию, ушедшую из Урицка дальше. С большим трудом дивизия вырвалась из окружения, но Урицк был сдан. Можно понять гнев Жукова, который потребовал от командующего 42-й армии во что бы то ни стало вернуть Урицк.

* * *

54-я армия, которой командовал маршал Г. И. Кулик, находилась за пределами ленинградского окружения. Ставка поставила Кулику задачу: пробить кольцо блокады в районе станции Мга. Шапошников, сообщив об этом Жукову, просил его организовать встречный удар.

Для того чтобы увязать взаимодействие и договориться о времени совместных боевых действий, в ночь на 15 сентября Жуков связался с маршалом Куликом. У них состоялся разговор, который я привожу (с небольшими сокращениями) с тем, чтобы читатели могли сравнить уровень мышления двух военачальников.

«**Жуков**. Приветствую тебя, Григорий Иванович! Тебе известно о моем прибытии на смену Ворошилову? Я бы хотел, чтобы у нас с тобой побыстрее закипела работа по очистке территории, на которой мы могли бы пожать друг другу руки и организовать тыл Ленинградского фронта. Прошу коротко доложить об обстановке. В свою очередь, хочу проинформировать, что делается под Ленинградом».

Далее Жуков коротко изложил обстановку, известную читателям.

«**Кулик**. Здравия желаю, Георгий Константинович! Очень рад с тобой вместе выполнять почетную задачу по освобождению Ленинграда. Также жду с нетерпением момента встречи. Обстановка у меня следующая: в течение последних двух-трех дней я веду бой на своем левом фланге в районе Вороново, то есть на левом фланге группировки, которая идет на соединение с тобой. Противник сосредоточил против основной моей группировки за последние два-три дня следующие дивизии...»

Здесь Кулик перечислил до пяти дивизий противника и районы их действий и продолжил:

«Противник сосредоточивает на моем правом фланге довольно сильную группировку... Жду с завтрашнего дня перехода его в наступление. Меры для отражения наступления мною приняты, думаю отбить его атаки и немедленно перейти в контрнаступление.. Но противник все время, в особенности сегодня, начал проявлять большую активность...»

Из рассуждений Кулика Жуков понял, что в течение ближайшего времени его армия наступать не собирается.

«Григорий Иванович... У меня к тебе настойчивая просьба — не ожидать наступления противника, а немедленно организовать артподготовку и перейти в наступление в общем направлении на Мгу.

— Понятно. Я думаю, 16—17-го.

— 16—17-го поздно! Противник мобильный, надо его упредить... Если не сможешь все же завтра наступать, прошу всю твою авиацию бросить на разгром противника в районе Поддолово—Корделево—Черная Речка—Аннолово. Все эти пункты находятся на реке Ижора, в 4—5 километрах юго-восточнее Слуцка. Сюда необходимо направлять удары в течение всего дня, хотя бы малыми партиями, чтобы не дать противнику поднять головы. Но это как крайняя мера. Очень прошу атаковать противника и скорее двигать конницу в тыл противника.

— Завтра перейти в наступление не могу, так как не подтянута артиллерия, не проработано на месте взаимодействие и не все части вышли на исходное положение. Мне только что сообщили, что противник в 23 часа перешел в наступление в районе Шлиссельбург—Липка—Синявино—Гонтовая Липка. Наступление отбито. Если противник завтра не перейдет в общее наступление, то просьбу твою о действиях авиации по пунктам, указанным тобою, выполню...»

Кулик явно не представлял себе или не хотел понять крайнего напряжения обстановки под Ленинградом. Не скрывая раздражения, Жуков сказал:

«Противник не в наступление переходил, а вел ночную силовую разведку! Каждую разведку или мелкие действия врага некоторые, к сожалению, принимают за наступление... Ясно, что вы прежде всего заботитесь о благополучии 54-й армии и, видимо, вас недостаточно беспокоит создавшаяся обстановка под Ленинградом. Вы должны понять, что мне приходится прямо с заводов бросать людей навстречу атакующему противнику, не ожидая отработки взаимодействия на местности. Понял, что рассчитывать на активный маневр с вашей стороны не могу. Буду решать задачу сам. Должен заметить, что меня поражает отсутствие взаимодействия между вашей группировкой и фронтом. По-моему, на вашем месте Суворов поступил бы иначе. Извините за прямоту, но мне не до дипломатии».

Маршал Кулик никогда не отличался полководческим талантом, доказал он это и в боях под Ленинградом. Он не смог организовать удар 54-й армии и пробить хотя бы узкую отдушину к окруженным войскам Жукова. Сталин несколько раз требовал от Кулика энергичных действий. Кулик, конечно же, боялся Сталина и пытался организовать необходимые боевые действия, но так ничего и не смог сделать.

Жуков в кольце окружения, не имея ни своих резервов, ни подкреплений извне, все же находил возможности путем внутренних перегруппировок наносить контрудары, а Кулик в более благоприятных условиях, с обеспеченным тылом и снабжением, не сумел помочь ленинградцам.

17 сентября, в тот самый день, о котором Жуков предупреждал Кулика, когда просил его предпринять наступательные действия, чего тот не сделал, — бои под Ленинградом, как пишет Жуков, «достигли наивысшего напряжения», ситуация создалась «исключительно опасная». Фон Лееб, пытаясь спасти свою репутацию и избежать гнева Гитлера, собрал более шести дивизий в кулак и нанес мощный удар — старым проверенным спо-

собом, на узком участке фронта, предварительно обработав этот участок массированными бомбежками авиации.

Надо представить себе истекающие кровью остатки частей, оборонявших Пулковские высоты, и вот по ним, выбивающимся из последних сил, был нанесен этот удар. Отразить его, казалось, было выше человеческих возможностей. Жуков понимал, что долго они не продержатся.

Наступил тот самый момент, о котором Жуков сказал генералам перед вылетом из Москвы то самое «или — или». И вот это «или» склонялось в сторону безвыходности. Как спасти — нет, не себя — Ленинград? Над городом висело и непрерывно бомбило его до 300 самолетов врага, артиллерия вела интенсивный обстрел жилых кварталов.

Представьте себе, что в этих обстоятельствах командующим Ленинградским фронтом был бы Г. И. Кулик, а мог бы быть — маршал! Не хочу его обижать задним числом, но своей инертностью и непониманием беды ленинградцев он дал мне право на такое предположение, — ведь будь он на этом месте, ворвались бы в тот день гитлеровцы в город Ленина со всеми вытекающими из этого последствиями. А каковы эти последствия, наглядно показывает то, что оставили немцы от Петергофа после своего пребывания там...

Но Жуков — это Жуков! В те дни его приказы были крайне строги, своей твердостью он стремился укрепить защитников атакованного рубежа, повторяя, что эти рубежи «ни при каких обстоятельствах не могут быть оставлены». Но не только удержанием каждого метра укреплял Жуков оборону. Его принцип активного противодействия и здесь сыграл решающую роль. Он нашел выход в ослаблении удара врага путем нанесения ему удара в другом месте. Этим он добился того, что Лееб оказался перед необходимостью снять силы с пулковского направления и отбиваться там, где ударил Жуков. В короткое время — за сутки — Жуков создал ударную группировку. Легко сказать, создал — из чего? где взял силы? На участке 8-й армии ведь были всё те же оборонявшиеся там дивизии. Он только уплотнил их боевые порядки, отдал на их усиление все, что мог отдать, и 19 сентября ударил во фланг наступающему клину Лееба.

Это было совершенно неожиданно для противника. Представьте себе состояние фон Лееба, уже торжествовавшего в душе и видевшего, наверное, перед собой улицы взятого Ленинграда. И вдруг этот удар по флангу, удар буквально под дых! Лееб ведь собрал все, чем располагал, бросаясь в последнее и решительное наступление на пулковском направлении. Отражать удар Жукова на фланге этой группировки было нечем, надо снимать силы оттуда, где наметились удача и победа. Ждать помощи из глубины нельзя, Лееб понимал — пока подойдут резервы, части Жукова вырвутся на тылы и перемелют все так, что вообще придется отходить от Ленинграда.

И Лееб дает приказ снять механизированный корпус, уже нацеленный для удара там, где виделся наибольший успех, и бросает этот корпус для спасения фланга.

Но именно в этом и состояла цель Жукова. Напор на пулковском рубеже ослаб. 8-я армия хоть и не вонзилась глубоко в расположение противника, но задачу свою выполнила.

Обе стороны в полном изнеможении остановились на достигнутых рубежах. Какой же это был удобный момент для удара 54-й армии! Сталин 20 сентября послал Кулику телеграмму, я бы сказал, не только приказывающую, но скорее взывающую к здравому рассудку маршала:

«В эти два дня, 21 и 22-го, надо пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами, а потом уже будет поздно. Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, если вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам никогда уже не придется соединиться с ленинградцами».

К сожалению, и это увещевательно-приказное распоряжение Верховного не подействовало. Как и следовало ожидать, Кулик был освобожден от командования 54-й армией, она была подчинена Жукову, который назначил командующим генерала М. С. Хозина по совместительству с исполнением им должности начальника штаба фронта. Как видим, не было под рукой генералов, кто бы мог вступить в командование армией. И снова тут с горечью вспомним, сколько прекрасных военачальников уничтожил Сталин перед войной!

Гальдер 23 сентября записал в своем дневнике: «В районе Ладожского озера наши войска продвинулись незначительно и, по-видимому, понесли большие потери. Для обороны сил тут вполне достаточно, но для решительного разгрома противника их, вероятно, не хватит». А 25 сентября он сделал такую запись: «День 24.9 был для ОКВ в высшей степени критическим днем. Тому причиной неудача наступления 16-й армии у Ладожского озера, где наши войска встретили серьезное контрнаступление противника, в ходе которого 8-я танковая дивизия была отброшена и сужен занимаемый участок на восточном берегу Невы».

Критическим этот день для ОКВ был не только из-за контрудара, организованного Жуковым, но и из-за той истерики, которую Гитлер закатил в Верховном главнокомандовании сухопутных войск. Он негодовал по поводу того, что вместо ожидаемого скорого взятия Ленинграда гитлеровские войска там даже отброшены. А он уже включил их в расчет для наступления на Москву. Отпор Жукова ломал планы фюрера, ставил под угрозу срыва готовящуюся операцию «Тайфун». Гитлер не мог этого допустить и, наверное, скрежеща зубами, все же приказал осуществить намеченную перегруппировку.

Вскоре начальник разведотдела Ленинградского фронта доложил Жукову о том, что он получил сведения о перемещениях в расположении противника. Но на этот раз противник перебрасывал части не в пределах фронта, а передвигал мотопехоту от Ленинграда на Псков. Кроме этого, были сведения и о том, что противник грузит танки на платформы и тоже перебрасывает их куда-то.

Фельдмаршал фон Лееб понимал, что катастрофа постигла не только его войска, но и его лично, что Гитлер, возлагавший так много надежд на захват Ленинграда, не простит ему эту неудачу. Лееб написал Гитлеру доклад о якобы предпринимающихся дальнейших действиях по овладению Ленинградом, на самом же деле это была попытка объяснить свои неудачи и как-то смягчить удар. В докладе были указаны и большая растяжка коммуникаций, и отставание тылов, что влияло на снабжение войск, и потери в людях и технике, понесенные в предыдущих успешных боях, и плохие погодные условия, которые мешали действиям танков и подвозу всего необходимого, и то, что Ленинград очень сильно укреплен и представляет собой уже не город, а настоящую крепость и не просто сухопутную крепость, а сухопутно-морскую, которую своей артиллерией поддерживает мощный флот. Далее Лееб просил несколько дивизий и обещал все же взять Ленинград. Старый, опытный Лееб, конечно, понимал при этом, что в той обстановке, которая создалась на Московском направлении и на юге, Гитлер не сможет найти для него подкреплений. В этой связи он высказал такое предложение: если не будут даны подкрепления, то надо перейти в глухую оборону и сохранить войска для наступательных действий в более благоприятных условиях, которые несомненно — он верит в это — в будущем появятся.

После неудачи под Ленинградом Гитлер сильно гневался на Лееба. На одном из совещаний он с возмущением говорил:

— Лееб не выполнил поставленную перед ним задачу, топчется вокруг Ленинграда, а теперь просит дать ему несколько дивизий для штурма города. Но это значит ослабить другие фронты, сорвать наступление на Москву. И будет ли взят Ленинград штурмом, уверенности нет. Если не штурм, то Лееб предлагает перейти к глухой обороне. Ни то, ни другое не годится, он не способен понять и осуществить мой замысел скорейшего захвата Ленинграда. Этот город надо уморить голодом, активными действиями перерезать все пути подвоза, чтобы мышь не могла туда проскочить, нещадно бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как перезрелый плод... Что же касается Лееба, то он явно устарел и не может выполнить эту задачу.

Таким образом, первая встреча или — назовем ее так — схватка Жукова и фон Лееба закончилась победой Жукова, несмотря на то, что у Лееба было гораздо больше сил и возможностей. Начинал наступление на Ленинград Лееб, пожалуй, в самый пик своего полководческого взлета, пос-

ле удач в первые дни войны он думал, что просто по инерции, на крыльях этих удач влетит в Ленинград. К тому же, перед началом наступления и перед прибытием Жукова в Ленинград, 5 сентября Лееб отпраздновал свое 64-летие. Гитлер поздравил фельдмаршала и отметил его день рождения щедрым подарком — 250 тысяч марок. Хотя это была не круглая дата, Гитлер явно рассчитывал этим подарком подбодрить и дать аванс командующему группой армий «Север» в счет будущего его успеха в Ленинграде. С этим известием и прибыл к Леебу специальный офицер от Гитлера, тот самый, который должен был первым сообщить фюреру о взятии Ленинграда. И вот, как видим, все радужные планы, касающиеся Ленинграда, рухнули. Жуков измотал наступающие части Лееба своими активными непрерывными контратаками на разных направлениях. Самого же фон Лееба под предлогом болезни освободили от командования группой армий «Север» и отправили в отставку.

В своих воспоминаниях о тех днях главный маршал авиации А. А. Новиков приходит к такому заключению: «И ничего, казалось бы, особенного при Жукове не случилось, просто изменился характер нашей обороны — она стала более активной. Возможно, то же самое сделали бы и без него. Обстановка все равно заставила бы. Но если бы произошло это позже, менее твердо и централизованно, без такой, как у Жукова, жесткости и смелости, должный результат сказался бы не столь быстро, как того требовалось. Контрудары наших войск все время держали гитлеровское командование в напряжении... Все это сказывалось на темпах вражеского наступления. Фашисты теряли время, а время, как показала история, играло на нас. Но все это ясно теперь. А в сентябре 1941 года такой ясности в оценке общей обстановки на фронте и уверенности в провале гитлеровского плана захвата Ленинграда не было...

Я не знаю, как и что именно думал тогда Георгий Константинович, прозревал или нет он ход событий, но и сами эти события подтвердили правильность и своевременность его действий как командующего войсками Ленинградского фронта. Он сумел, причем в самый критический момент, мобилизовать на отпор врагу те дополнительные силы, которые еще имелись в войсках и в городе... Все это нынче бесспорно, а для меня как участника событий тех дней и подавно. Но, к сожалению, роль Жукова в обороне Ленинграда до сих пор не оценена должным образом в нашей военно-исторической литературе. Сам же Георгий Константинович в своих мемуарах из скромности об этом умолчал, отведя в них рассказу о своей деятельности на посту командующего войсками Ленинградского фронта неоправданно мало места».

Положение, которого достиг за короткое время Жуков под Ленинградом, лучше всего, на мой взгляд, характеризуется записями в дневнике Гальдера. Вспомните, как он восторженно восклицал в день приезда Жукова о больших успехах войск в наступлении на Ленинград. А теперь, 5 октября, Гальдер фиксирует: «ОКХ[1] отодвинуло срок начала наступления на Ладожском участке фронта. (Оно было намечено командованием группы армий на 6.10.). И отдало приказ об отводе с фронта подвижных соединений, которые могут только зря понести потери в этом районе, поскольку условия местности здесь крайне неблагоприятны для действий подвижных соединений. Наступление будет начато, как только удастся сосредоточить достаточное количество пехоты за счет перебрасываемых сюда пехотных частей из тыла. Тем временем подвижные соединения отдохнут и пополнят личный состав и материальную часть».

Из этой записи с несомненностью вытекает, что Жуков за короткое время полностью лишил войска, руководимые Леебом, наступательных возможностей. Теперь уже ни о каком последнем штурме или ближайшем наступлении на Ленинград не идет и речи: надо пополнять механизированные, танковые части, надо сосредоточивать новые пехотные части из тыла и только после этого можно будет думать о новом наступлении на Ленинград.

[1] Верховное командование сухопутных сил.

Таким образом, за короткий срок Жуков, который объединил всех своей могучей волей, воодушевил своей решимостью удерживать каждый метр ленинградской земли теми силами, которые были в окружении и которые собирались медленно отходить и уничтожать объекты в городе, чтобы они не достались врагу, — теми же силами, сделав соответствующую перегруппировку, он достиг решительных, коренных перемен на Ленинградском фронте, показав свое высокое мастерство не только в наступлении, но и в обороне.

НА ТОЙ СТОРОНЕ, АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1941 ГОДА

Серьезные неудачи, постигшие наши войска на южном крыле советско-германского фронта, дали возможность гитлеровскому командованию с одной стороны усилить нажим и вплотную прорваться к Ленинграду (о чем рассказано в предыдущей главе), а с другой — начать подготовку решающей операции на главном направлении.

На одном из совещаний в «Волчьем логове» Гитлер сказал:

— Наши успехи, достигнутые смежными флангами групп армий «Юг» и «Центр», дают возможность и создают предпосылки для проведения решающей операции против группы армий Тимошенко[1], которая безуспешно ведет наступательные действия перед фронтом группы армий «Центр»... В полосе группы армий «Центр» надо подготовить операцию таким образом, чтобы по возможности быстрее, не позднее конца сентября, перейти в наступление и уничтожить противника, находящегося в районе восточнее Смоленска, посредством двойного окружения, в общем направлении на Вязьму, при наличии мощных танковых сил, сосредоточенных на флангах...

Большая работа по подготовке наступления, конечной целью которого назначался захват Москвы, была проделана и в Генеральном штабе сухопутных войск, проведено несколько совещаний, предприняты меры для доукомплектования частей и соединений группы армий «Центр». 6 сентября Гитлер подписал директиву № 35 на проведение этой операции, которая получила кодовое наименование «Тайфун».

Операция должна была быть осуществлена в самое короткое время, до начала осенней распутицы и зимы, и обязательно завершиться победой. Эта мысль отразилась и в ее названии, которое придумал сам Гитлер, — наступающие войска должны, как тайфун, смести все на своем пути к Москве.

Гитлеру так не терпелось осуществить свой замысел, что вначале он потребовал сразу же начать наступление, через 8—10 дней после того, как ему пришла в голову эта мысль. Однако Гальдер точными расчетами и логическими аргументами убедил его, что сразу начать и провести такое широкомасштабное наступление невозможно, потому что 2-я армия и 2-я танковая группа еще повернуты на юг, а группа армий «Центр», после продолжительных боев восточнее Смоленска, требует пополнения и людьми и материальными средствами. С большим нежеланием, как говорится, скрепя сердце, Гитлер в конце концов согласился на солидную, планомерную подготовку этого наступления.

Группе армий «Центр» пришло значительное пополнение в 151 тысячу человек, но это не довело ее до первоначального состава, так как в предыдущих боях она потеряла 219 тысяч человек. Были отданы ей последние три дивизии из резерва ОКХ, и в распоряжении верховного командования вообще больше не осталось резерва. В танковых группах, которые тоже понесли большие потери в предыдущих боях, несмотря на

[1] Так немцы называли наш Юго-Западный фронт.

поступление новых танков и ремонт тех, которые можно было привести в боевое состояние, набралось всего до 60% машин, пригодных для боя. Были большие потери в автомобильной технике во время боев, бомбардировок, да и просто многие тягачи и автомобили износились и пришли в негодность. Но все же и того, чем располагала группа армий «Центр», было достаточно для очень мощного удара.

Всего для наступления в группе армий «Центр» к началу октября изготовилось около двух миллионов солдат и офицеров, распределенных в три армии и три танковые группы, насчитывавших в общей сложности 76 дивизий. Авиационное обеспечение осуществлял 2-й воздушный флот под командованием генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга. По замыслу гитлеровского командования, эти силы могли и должны были осуществить одну из самых решительных операций восточной кампании.

Главное командование вермахта и генеральный штаб большое значение при подготовке этой операции придавали ее скрытности, внезапности, что, по их мнению, во многом обеспечило бы успех. Были изданы специальные указания о секретности подготовки, все перемещения частей предписывалось проводить только в ночное время, предусматривалось немало мероприятий по дезинформации советского командования. И — как это ни странно, — но и после того, как мы уже испытали огромные беды в результате оказавшегося для нас внезапным нападения 22 июня, противнику и при наступлении на Москву удалось достичь внезапности. Маршал Василевский так пишет об этом в своих воспоминаниях: «Генеральный штаб, к сожалению, точно не предугадал замысла действий противника на московском направлении».

А действия противника здесь можно было не только предугадать, но и просто выявить соответствующими разведывательными мероприятиями. Тем более что сюда, в группу армий «Центр», подтягивались огромные резервы: была передана 4-я танковая группа и два армейских корпуса из группы армий «Север», переместились с юга 2-я армия и 2-я танковая группа. Прибывало очень много пополнений — дивизии были доведены до 15-тысячного состава каждая, подвозились боеприпасы, техника, горючее и много другого необходимого обеспечения.

24 сентября в Смоленске в штабе группы армий «Центр» состоялось заключительное совещание по вопросу о проведении наступления. На совещании присутствовали главнокомандующий сухопутными войсками Браухич и начальник генерального штаба Гальдер. Было решено, что вся группа армий «Центр» начнет наступление 2 октября, а 2-я танковая группа Гудериана, которая будет действовать на правом фланге, перейдет в наступление раньше — 30 сентября. Генерал Гудериан вспоминает: «Эта разница во времени начала наступления была установлена по моей просьбе, ибо 2-я танковая группа не имела в районе своего предстоящего наступления ни одной дороги с твердым покрытием. Мне хотелось воспользоваться оставшимся коротким периодом хорошей погоды для того, чтобы до наступления дождливого времени по крайней мере достигнуть хорошей дороги у Орла и закрепить за собой дорогу Орел — Брянск, обеспечив тем самым себе надежный путь для снабжения. Кроме того, я полагал, что только в том случае, если я начну наступление на два дня раньше остальных армий, входящих в состав группы армий «Центр», мне будет обеспечена сильная авиационная поддержка».

Итак, «Тайфун» разразился 30 сентября ударом танковой группы Гудериана и 2-й немецкой армии по войскам Брянского фронта. Не встречая серьезного сопротивления, Гудериан рвался к Орлу, оказались под угрозой окружения 3-я и 13-я армии Брянского фронта. Нанеся мощный удар на правом фланге, гитлеровцы приковали все внимание нашего командования к этому направлению, а 2 октября нанесли еще более мощные удары по войскам Западного и Резервного фронтов. Все три наши фронта вступили в тяжелейшие бои.

Так началась великая московская битва.

Противнику удалось прорвать оборону наших войск, и в результате охватывающих действий с севера и с юга в направлении Вязьмы наши 19-я, 20-я, 24-я, 32-я и почти вся 16-я армии оказались в окружении, в районе западнее этого города.

БИТВА ЗА МОСКВУ

К началу октября Жуков и руководимые им войска Ленинградского фронта выполнили возложенную на них задачу — непосредственная опасность захвата Ленинграда была ликвидирована.

5 октября 1941 г. Жукова вызвал к аппарату «Бодо» Сталин и спросил:

— Товарищ Жуков, не можете ли вы незамедлительно вылететь в Москву? Ввиду осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта в районе Юхнова Ставка хотела бы с вами посоветоваться.

Жуков ответил:

— Прошу разрешения вылететь утром 6 октября.

— Хорошо, — согласился Сталин. — Завтра днем ждем вас в Москве.

Однако ввиду некоторых важных обстоятельств, возникших на участке 54-й армии, 6 октября Жуков вылететь не смог, о чем доложил Верховному.

Вечером вновь позвонил Сталин.

— Как обстоят у вас дела? Что нового в действиях противника?

— Немцы ослабили натиск. По данным пленных, их войска в сентябрьских боях понесли тяжелые потери и переходят под Ленинградом к обороне. Сейчас противник ведет артиллерийский огонь по городу и бомбит его с воздуха.

Доложив обстановку, Жуков спросил Верховного: остается ли в силе его распоряжение о вылете в Москву?

— Да! — ответил Сталин. — Оставьте за себя генерала Хозина или Федюнинского, а сами завтра немедленно вылетайте в Ставку.

Почему Сталин так настаивал на возможно быстром приезде Жукова, читателям будет ясно из следующего эпизода.

5 октября в 17 часов 30 минут члену Военного совета Московского военного округа генералу К. Ф. Телегину поступило сообщение из Подольска: комендант Малоярославецкого укрепрайона комбриг Елисеев сообщал, что танки противника и мотопехота заняли Юхнов, прорвались через Малоярославец, идут на Подольск. От Малоярославца до Москвы около ста километров, и притом — прекрасное шоссе, по которому это расстояние танки могут пройти за два с половиной часа. Телегин понимал опасность такого прорыва, доложил в оперативное управление Генерального штаба о случившемся и стал перепроверять эти сведения через командующего ВВС полковника Сбытова, который несколько раз высылал к Юхнову опытных летчиков. Из Генерального штаба, видимо, доложили об этом и Верховному, потому что вскоре у Телегина зазвонил телефон и он услышал голос Берия, который резко и сухо задал вопрос:

— Откуда вы получили сведения, что немцы в Юхнове, кто вам сообщил?

Телегин доложил, откуда им получены такие сведения.

— Слушайте, что вы там принимаете на веру всякую чепуху? Вы, видимо, пользуетесь информацией паникеров и провокаторов...

Телегин стал убеждать Берия, что сведения точные, их доставили летчики, которым можно верить.

— Кто вам непосредственно докладывал эти сведения?

— Командующий ВВС округа полковник Сбытов.

— Хорошо...

Прошло немного времени, и позвонил сам Сталин. Звонок лично Сталина — это было событие экстраординарное. Телегин пишет в своих воспоминаниях, что у него было такое чувство, «будто его ошпарили кипятком».

— Телегин? Это вы сообщили Шапошникову, что танки противника прорвались через Малоярославец?

— Да, я, товарищ Сталин.

— Откуда у вас эти сведения?

— Мне доложил из Подольска комбриг Елисеев. А я приказал ВВС

немедленно послать самолеты и перепроверить, и еще также проверку осуществляю постами ВНОС[1]...

— Это провокация. Прикажите немедленно разыскать этого коменданта, арестовать и передать в ЧК, а вам на этом ответственном посту надо быть более серьезным и не доверять всяким сведениям, которые приносит сорока на хвосте.

— Я, товарищ Сталин, полностью этому сообщению не доверял, немедленно принял меры для проверки и просил генерала Шарохина до получения новых данных Ставке не докладывать.

— Хорошо. Но впредь такие сведения надо проверять, а потом докладывать.

В это же время, когда происходили эти телефонные разговоры, командующего ВВС Московского военного округа полковника Н. А. Сбытова вызвал к себе начальник Особого отдела Красной Армии Абакумов. Он потребовал прибыть к нему немедленно. Когда Сбытов вошел к нему в кабинет, Абакумов резко и грозно спросил:

— Откуда вы взяли, что к Юхнову идут немецкие танки?

— Это установлено авиационной разведкой и дважды перепроверено.

— Предъявите фотоснимки.

— Летали истребители, на которых нет фотоаппаратов, но на самолетах есть пробоины, полученные от вражеских зениток. Разведка велась с малой высоты, летчики отчетливо видели кресты на танках.

— Ваши летчики — трусы и паникеры, такие же, видимо, как и их командующий. Мы такими сведениями не располагаем, хотя получаем их, как и Генштаб. Предлагаю вам признать, что вы введены в заблуждение, что никаких танков противника в Юхнове нет, что летчики допустили преступную безответственность и вы немедленно с этим разберетесь и сурово их накажете.

— Этого сделать я не могу. Ошибки никакой нет, летчики боевые, проверенные, и за доставленные ими сведения я ручаюсь.

— А чем вы можете подтвердить такую уверенность, какие у вас есть документы?

— Прошу вызвать командира 6-го истребительного авиакорпуса ПВО полковника Климова. Он, вероятно, подтвердит.

Абакумов стал вызывать Климова, а до его прибытия Сбытова задержали. Когда прибыл Климов, Сбытова снова вызвали в кабинет Абакумова.

— Чем вы можете подтвердить, что летчики не ошиблись, сообщив о занятии Юхнова танками противника?—обратился Абакумов к Климову.

— Я такими данными не располагаю, летали летчики округа.

Тогда Сбытов попросил вызвать начальника штаба корпуса полковника Комарова с журналом боевых действий, рассчитывая, что в журнале есть соответствующие записи. Комаров прибыл, но так же, как и Климов, заявил, что работу летчиков корпус не учитывает и в журнал боевых действий не заносит. После тяжелого и мрачного молчания Абакумов, повернулся к Сбытову, сказал:

— Идите и доложите Военному Совету округа, что вас следует освободить от должности как не соответствующего ей и судить по законам военного времени. Это наше мнение.

Сбытова спасло только то, что танки противника действительно оказались в Юхнове. Эти части от Юхнова не пошли на Москву, а повернули на Вязьму, в тыл армиям Резервного и Западного фронтов, отрезая им путь отхода к Можайскому оборонительному рубежу, а для развития наступления в сторону Москвы с этого рубежа вводились резервы противника, подход которых также был замечен нашей воздушной разведкой.

* * *

После разговора со Сталиным Жуков в своем ленинградском кабинете всю ночь отдавал необходимые распоряжения заместителям, начальнику штаба. Временное командование Ленинградским фронтом было передано им генералу И. И. Федюнинскому.

[1] Посты воздушного наблюдения, оповещения, связи.

По прибытии в Москву Жукова встретил начальник охраны генерал Власик. Он сообщил, что Верховный болен и работает на квартире, куда просил немедленно приехать.

Когда Жуков вошел в комнату, там был Берия. Сталин, заканчивая с ним разговор, произнес:

— Ты поищи через свою агентуру подходы и прозондируй—на критический случай—возможности и условия заключения мира...

Берия ушел. Георгий Константинович сначала не придал значения концу фразы, которую услышал. Лишь много позднее понял, как он сам говорил, что речь шла о возможности заключения мира с гитлеровцами[1]. Поражения, понесенные в первые месяцы войны, падение Киева, окружение пяти наших армий под Вязьмой, выход немцев на подступы к Москве явно сломили стального Сталина, он был в полной растерянности и был готов заключить мир, о кабальных условиях которого можно без труда догадаться...

...Жукова Сталин встретил сухо, в ответ на приветствие только кивнул головой. В нервном, гневном настроении он подошел к карте и, указав на район Вязьмы, сказал следующее—далее я цитирую воспоминания Жукова, восстанавливая в скобках текст, выброшенный при редактировании из его рукописи:

— Вот смотрите. (Плоды командования Западного фронта.—В этих словах слышалась горечь переживаний, и я слышал нотку упрека за свою рекомендацию о назначении Конева командующим фронта.) Здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Я не могу добиться от Западного и Резервного фронтов исчерпывающего доклада об истинном положении дел. А не зная, где и в какой группировке наступает противник и в каком состоянии находятся наши войска, мы не можем принять никаких решений. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать.

Перед уходом Сталин спросил Жукова:

— Как вы считаете, могут ли немцы в ближайшее время повторить наступление на Ленинград?

— Думаю, что нет. Противник понес большие потери и перебросил танковые и моторизованные войска из-под Ленинграда куда-то на центральное направление. Он не в состоянии оставшимися силами провести новую наступательную операцию.

— А где, по вашему мнению, будут применены танковые и моторизованные части, которые перебросил Гитлер из-под Ленинграда?

— Очевидно, на московском направлении. Но, разумеется, после пополнения и проведения ремонта материальной части.

Посмотрев на карту Западного фронта, Сталин сказал:

— Кажется, они уже действуют на этом направлении.

Простившись с Верховным, Жуков отправился к начальнику Генерального штаба Шапошникову, подробно изложил ему обстановку, сложившуюся на 6 октября в районе Ленинграда.

— Только что звонил Верховный,—сказал Шапошников,—приказал подготовить для вас карту западного направления. Карта сейчас будет. Командование Западного фронта находится там же, где был штаб Резервного фронта в августе, во время Ельнинской операции.

Борис Михайлович познакомил Жукова в деталях с обстановкой на московском направлении и вручил ему распоряжение Ставки.

«Командующему Резервным фронтом.

Командующему Западным фронтом.

Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования в район действий Резервного фронта командирован генерал армии тов. Жуков в качестве представителя Ставки.

Ставка предлагает ознакомить тов. Жукова с обстановкой. Все решения тов. Жукова в дальнейшем, связанные с использованием войск фронтов и по вопросам управления, обязательны для выполнения.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования начальник Генерального штаба Шапошников.

6 октября 1941 г. 19 ч. 30 м.».

[1] См. «Литературная газета», 1989 г., 22 марта.

* * *

От Шапошникова Жуков немедленно поехал в штаб Западного фронта. Он так спешил, что не заехал домой. Ехали на двух машинах, в одной—охрана, в другой—Жуков на переднем сиденье, а на заднем—полковник Кузнецов и начальник охраны Бедов. По рассказу последнего я и воспроизвожу некоторые события этой ночи.

Направились в Можайск. На выезде из Москвы, в районе Поклонной горы, патруль приказал выключить фары. Дорогой Жуков изучал обстановку, посвечивая фонариком на карту, полученную у Шапошникова.

Около полуночи приехали в Можайск, здесь Жуков заслушал полковника С. И. Богданова—коменданта укрепрайона и отдал ему распоряжения по подготовке обороны под Можайском.

Около 3 часов ночи выехали в штаб Западного фронта. Где он находился, точно не знали. При переезде Нары вброд машина застряла, пришлось ее вытаскивать тягачом. И вообще, дороги были очень плохие, «бьюик» часто застревал в колдобинах. Жуков нервничал, уходил вперед, пока вытаскивали машину.

Нашли штаб Западного фронта поздно ночью. Несмотря на поздний час, командование фронта заседало. В комнате, куда провели Жукова, были: командующий фронтом генерал-полковник И. С. Конев, начальник штаба фронта генерал В. Д. Соколовский, член Военного Совета Н. А. Булганин и начальник оперативного отдела генерал-лейтенант Г. К. Маландин. Вид у них был не только усталый, но, как сказано в рукописи Жукова, какой-то «потрясенный».

Булганин сказал Жукову:

— Я только что говорил со Сталиным, но ничего не мог доложить, так как мы сами еще не знаем, что происходит с войсками фронта, окруженными западнее и северо-западнее Вязьмы.

Жукову стало понятна их «потрясенность»—она происходила не только от катастрофического положения войск, но и от разноса Сталина. И дальше Жуков пишет: «В эту минуту никого из них не хотелось расспрашивать о том, что произошло на фронте».

Добавим от себя: Жуков понимал, что в таком состоянии они едва ли способны толково обрисовать обстановку. Он попросил доложить о положении войск начальника оперативного отдела генерал-лейтенанта Г. К. Маландина и начальника разведотдела полковника Корнеева.

Обстановка была катастрофическая.

Огромное количество войск, которые могли бы наносить мощные удары по врагу, оказалось в окружении под Вязьмой. Это, несомненно, стало результатом ошибок, допущенных и Ставкой, и командованием фронтов, прикрывавших столицу.

Немецкой группе армий «Центр» противостояли на подступах к Москве три фронта: Западный (командующий генерал-полковник И. С. Конев), Резервный (командующий маршал С. М. Буденный) и Брянский (командующий генерал-лейтенант А. И. Еременко).

Жуков в своей книге (и в рукописи) подробно анализирует и эти ошибки, и действия войск (я в дальнейшем буду приводить краткие выдержки из этих двух источников).

«Войска всех этих трех фронтов около полутора месяцев стояли в обороне и имели достаточно времени на подготовку и развитие обороны в инженерном отношении, на отработку всей системы огня и увязку тактического и оперативного взаимодействия».

Скучная вещь цифры, в литературе принято избегать их, но в то же время цифры—убедительный и бесстрастный аргумент, они без эмоций, спокойно показывают, когда и сколько было сил у воюющих сторон. При сопоставлении этих цифр наглядно видно, каких сил было больше.

У кого хватит терпения, вникните в цифры, показывающие, как выглядели две огромные противостоявшие армии перед началом битвы за Москву. Кому это неинтересно, перелистните страницу.

Итак, у гитлеровцев три полевые армии, три танковые группы, 16 армейских корпусов, 8 моторизованных корпусов. Всего в этих объединениях было 76 дивизий, из них 50 пехотных, 14 танковых, 8 моторизованных, 3 охранных, 1 кавалерийская. И еще три отдельные бригады—

две моторизованных и одна кавалерийская. Все дивизии полнокровные: пехотные—15 200 человек, танковые—14 400 человек, моторизованные—12 600 человек. Всего в группе армий «Центр» было около 2 миллионов человек, что превосходило наполеоновскую армию, вступившую в Россию (600 тысяч человек), в три с лишним раза. И это только на одном направлении, а фронт был от Северного до Черного моря.

Наши три фронта под Москвой имели 15 армий: Западный—6, Резервный—6, Брянский—3. Всего дивизий—83, из них танковых—1, мотострелковых—2, кавалерийских—9, танковых бригад—13. Наши дивизии имели среднюю численность между 10 000 и 6500 человек. Очень мало артиллерии и танков.

Таким образом, по количеству соединений по цифрам наша сторона вроде бы имела преимущество над противником. Но когда раскрывается истинное содержание этих цифр, их наполненность реальными силами, то получается, что преимущество явно у гитлеровцев.

Надо еще учесть, что дело не всегда решают силы, большое значение имеет умение их применить, то самое военное искусство, которым владеют или не владеют военачальники, возглавляющие войска.

На первом этапе при подготовке битвы за Москву, надо признать, военное мастерство было на стороне гитлеровцев. Они не только сумели за короткий срок восстановить боеспособность ослабевших в предыдущих боях дивизий, но еще мастерски провели перегруппировку (которую мы не заметили!) и создали на главных направлениях такие мощные ударные кулаки, что удержать их наши малочисленные на этих участках подразделения не могли. Именно подразделения — батальоны, роты, а не дивизии.

Почему так получилось? Да очень просто. Немцы стремились к концентрированному сосредоточению сил и достигли этого, а наши командиры выстраивали фронт с почти равномерным распределением количества километров на дивизию. Например, в 30-й армии на дивизию приходилось 17,5 километра фронта, в 19-й армии — 8 километров на дивизию. И вот в стык между этими армиями гитлеровцы бросили 12 дивизий! Только в стык! Значит, превосходство сил противника здесь было подавляющее. Если в 30-й армии дивизия удерживала 17 км, то на полк приходилось 8—9 км (два полка в первом эшелоне), а на батальон—до 4 км (два батальона полка в первом эшелоне). А у немцев на эти 4 километра были 1—2 дивизии! Несколько полков на роту! Кто же удержит такую силищу? Солдаты голыми руками? Винтовками и пулеметами? На них прут сотни танков, а у нас на Западном фронте тактическая плотность на 1 километр: танков—1,5 шт., противотанковых орудий—1,5 шт., орудий 76-мл калибра — 4,5 шт. Вот и все. Вот и попробуй удержать такую армаду врага. Не на главном направлении, там, где у немцев сил было поменьше, наши 16-я, 19-я, 20-я, 24-я и 32-я армии сдержали напор, но гитлеровцы на это и рассчитывали: пробив на флангах (на главных направлениях) наш фронт, ударные группировки обошли и окружили эти пять армий, создав вяземский котел!

Напомню уже приводившееся ранее высказывание Жукова:

— Для нас оказалась неожиданной ударная мощь немецкой армии. Неожиданностью было и шести — восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях. Это и есть то главное, что предопределило наши потери первого периода войны.

Добавлю от себя: даже отступив до Москвы, наши полководцы еще не понимали этой тактики врага, а если и понимали, то не умели ей противостоять. Начало операции «Тайфун», окружение сразу пяти армий, убедительно подтверждает это.

Соотношение сил сторон все же создавало нашим обороняющимся войскам возможность вести успешную борьбу с наступающим врагом и, уж во всяком случае, возможность не дать себя разгромить и окружить свои основные группировки. Но для этого нужны были правильная оценка сложившейся обстановки, правильная определение, в каком направлении подготовляется удар врага, и своевременное сосредоточение своих главных сил и средств на тех участках и направлениях, где ожидается главный удар противника. Этого не сделали, и линейная оборона наших войск не выдержала удара. В результате, как уже говорилось, пять наших

армий Западного фронта и оперативная группа Болдина оказались в окружении. На Брянском фронте немцы окружили еще две армии: 3-ю и 13-ю. Часть сил фронтов, избежав окружения и понеся большие потери, отходили туда, куда им позволяла обстановка.

Сплошного фронта обороны на Западном направлении фактически уже не было, образовалась большая брешь, которую нечем было закрыть, так как никаких резервов в руках командования Брянского, Западного и Резервного фронтов не было. Нечем было закрыть даже основное направление на Москву. Все пути на Москву, по существу, были открыты. Никогда с самого начала войны гитлеровцы не были так реально близки к захвату Москвы.

В штабе Западного фронта Жуков спросил у командующего И. С. Конева, что он намерен предпринять в этой тяжелой обстановке?

— Я приказал командующему 16-й армии Рокоссовскому отвести армию через Вязьму, сосредоточившись в лесах восточнее Вязьмы, но части армии были отрезаны противником и остались в окружении. Сам Рокоссовский со штабом армии успели проскочить и сейчас находятся в лесу восточнее Вязьмы. Связи с Лукиным — командармом 19-й, Ершаковым — командармом 20-й — у нас нет. Я не знаю, в каком они положении. С группой Болдина связь также потеряна. Нет у нас связи и с соседними фронтами. В 22-ю, 29-ю и 30-ю армии правого крыла фронта, которые меньше пострадали, послан приказ отходить на линию Ржев — Сычевка. Закрыть центральное направление на Москву фронт сил не имеет.

Было 2 часа 30 минут ночи 8 октября, Жуков позвонил Сталину. Доложив обстановку на Западном фронте, сказав об окружении армий, Жуков произнес:

— Главная опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на Можайской линии обороны. Бронетанковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать войска откуда только можно на Можайскую линию.

Сталин спросил:

— Что вы намерены делать?

— Выезжаю сейчас же к Буденному.

— А вы знаете, где штаб Резервного фронта?

— Буду искать где-то в районе Малоярославца.

— Хорошо, поезжайте к Буденному и оттуда сразу же позвоните мне.

Моросил мелкий дождь, густой туман стлался по земле, видимость была плохая. Утром 8 октября, подъезжая к полустанку Оболенское, увидели двух связистов, тянувших кабель в Малоярославец со стороны моста через реку Протву.

Жуков спросил:

— Куда тянете, товарищи, связь?

— Куда приказано, туда и тянем, — не обращая на спросившего внимания, ответил рослый солдат.

Жуков назвал себя и сказал, что ищет штаб Резервного фронта.

Подтянувшись, тот же солдат ответил:

— Извините, товарищ генерал армии, мы вас в лицо не знаем, потому так и ответили. Штаб фронта вы уже проехали. Он был переведен сюда два часа назад и размещен в домиках в лесу, вон там, на горе. Там охрана вам покажет, куда ехать.

Машины повернули обратно. Вскоре Жуков был в комнате представителя Ставки армейского комиссара 1 ранга Л. З. Мехлиса, где находился также начальник штаба фронта генерал-майор А. Ф. Анисов. Мехлис говорил по телефону и кого-то здорово распекал. На вопрос, где командующий, начальник штаба ответил:

— Неизвестно. Днем он был в 43-й армии. Боюсь, как бы чего-нибудь не случилось с Семеном Михайловичем.

— А вы приняли меры к его розыску?

— Да, послали офицеров связи, они еще не вернулись.

Закончив разговор по телефону, Мехлис, обращаясь к Жукову, спросил:

— А вы с какими задачами прибыли к нам?

Здесь я прерву пересказ из книги Жукова и сообщу читателям весьма любопытный комментарий Бедова, который присутствовал при этом разговоре.

— Мехлис, как это было в его характере, задал свой вопрос бесцеремонно и грубо. Жуков и раньше его недолюбливал. Больших усилий стоило Георгию Константиновичу, человеку вспыльчивому, сдержать себя и не ответить Мехлису в том же тоне. Жуков поступил мудро, нельзя было в такой сложной обстановке обострять еще и личные отношения. Поэтому Георгий Константинович не стал разговаривать с Мехлисом, подчеркнув тем самым свое к нему отношение, он просто достал предписание Ставки и молча протянул его. Мехлис прочитал и в прежнем вызывающем тоне огрызнулся:

— Так бы и сказали!..

Из разговоров с Мехлисом и Анисовым Жуков узнал очень мало конкретного о положении войск Резервного фронта и о противнике. Сел в машину и поехал в сторону Юхнова, надеясь на месте, в войсках, скорее выяснить обстановку.

И далее Жуков вспоминает: «Всю местность в этом районе я знал прекрасно, так как в юные годы исходил ее вдоль и поперек. В десяти километрах от Обнинского, где остановился штаб Резервного фронта, — моя родная деревня Стрелковка. Сейчас там остались мать, сестра и ее четверо детей. Как они? Что если заехать? Нет, невозможно, время не позволяет! Но что будет с ними, если туда придут фашисты? Как они поступят с моими близкими, если узнают, что они родные генерала Красной Армии? Наверняка расстреляют! При первой же возможности надо вывезти их в Москву.

Через две недели деревня Стрелковка, как и весь Угодско-Заводский район, была занята немецкими войсками. К счастью, я успел вывезти мать и сестру с детьми в Москву».

Но тогда времени для личных дел не было, и Жуков не заехал в родную деревню.

Проехав до центра Малоярославца, он не встретил ни одной живой души. Город казался покинутым. Около здания райисполкома увидел две легковые машины. Как выяснилось, это были машины Буденного.

Войдя в исполком, Жуков увидел маршала, тот удивился:

— Ты откуда?

— От Конева.

Далее цитирую по рукописи Жукова, так как в ней были важные, на мой взгляд, детали, которые в книге не остались.

«— Ну как у него дела? Я более двух суток не имею с ним никакой связи. Вот и сам сижу здесь и не знаю, где мой штаб.

Я поспешил порадовать Семена Михайловича:

— Не волнуйся, твой штаб на сто пятом километре от Москвы, в лесу налево, за железнодорожным мостом через реку Протва. Там тебя ждут. Я только что разговаривал с Мехлисом и Богдановым. У Конева дела очень плохи. У него большая часть Западного фронта попала в окружение, и хуже всего то, что пути на Москву стали для противника почти ничем не прикрыты.

— У нас не лучше, — сказал Буденный, — 24-я и 32-я армии разбиты, и фронта обороны не существует. Вчера я сам чуть не угодил в лапы противника между Юхновом и Вязьмой. В сторону Вязьмы вчера шли большие танковые и моторизованные колонны, видимо, с целью обхода с востока.

— В чьих руках Юхнов? — спросил я Семена Михайловича.

— Сейчас не знаю, — ответил С. М. Буденный. — Вчера там было до двух пехотных полков народных ополченцев 33-й армии, но без артиллерии. Думаю, что Юхнов в руках противника.

— Кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Малоярославец?

— Когда я ехал сюда, — сказал Семен Михайлович, — кроме трех милиционеров в Медыни никого не встретил. Местные власти из Медыни ушли.

— Поезжай в штаб фронта, — сказал я Семену Михайловичу. — Разберись с обстановкой и доложи в Ставку о положении дел на фронте, а я поеду в район Юхнова. Доложи Сталину о нашей встрече и скажи, что

я поехал в район Юхнова, а затем в Калугу. Надо выясиить, что там происходит».

Жуков не доехал до Юхнова километров 10—12, здесь его остановили наши воины, они сообщили, что в Юхнове гитлеровцы и что в районе Калуги идут бои.

Георгий Константинович направился в сторону Калуги. Тут ему сообщили, что Верховный приказал ему к исходу 10 октября быть в штабе Западного фронта. А было на исходе 8 октября. Вспомните, сколько уже успел объехать и сделать Жуков за двое бессонных суток!

Скажем прямо, разве это дело—представителю Ставки мотаться по бездорожью, подвергаясь опасности, ради того, чтобы выяснить положение своих войск? Все это могли бы проделать офицеры Генштаба, а еще лучше и быстрее—офицеры штабов фронтов. Но тут, видимо, сказались не только плохая организация командования по сбору информации, но и характер, и стиль работы самого Жукова. Он всегда хотел все увидеть своими глазами, самому соприкоснуться и с противником, и со своими войсками.

Жуков еще раз заехал в штаб Резервного фронта. Здесь ему сказали, что поступил приказ о назначении его командующим Резервным фронтом. Однако он уже имел приказ Верховного о прибытии к исходу 10 октября в штаб Западного фронта. Жуков позвонил Шапошникову и спросил: какой же приказ выполнять?

Шапошников пояснил:

— Ваша кандидатура рассматривается на должность командующего Западным фронтом. До 10 октября разберитесь с обстановкой на Резервном фронте и сделайте все возможное, чтобы противник не прорвался через Можайско-Малоярославецкий рубеж, а также в районе Алексина на серпуховском направлении.

Вот такой авторитет, такая вера в организаторские способности Жукова у Сталина и Ставки были уже тогда: за два неполных дня ему поручалось организовать крупнейшие мероприятия фронтового масштаба!

Утром 10 октября Жуков прибыл в штаб Западного фронта, который теперь располагался в Красновидове — в нескольких километрах северо-западнее Можайска.

Дальше я опять привожу текст из рукописи. Здесь рассказывается об очень важных, на мой взгляд, событиях, показывающих, в каких условиях работали командующие, как сковывала их инициативу постоянно нависавшая над ними опасность расправы, сохранившаяся и в годы войны.

«В штабе работала комиссия Государственного Комитета Обороны в составе Молотова, Ворошилова, Василевского, разбираясь в причинах катастрофы войск Западного фронта. Я не знаю, что докладывала комиссия Государственному Комитету Обороны, но из разговоров с ее членами и по своему личному анализу, основными причинами катастрофы основных группировок Западного и Резервного фронтов были... (далее Жуков излагает эти причины, я их приводил выше, поэтому не повторяю.— **В. К.).**

Во время работы комиссии вошел Булганин и сказал, обращаясь ко мне:

— Только что звонил Сталин и приказал, как только прибудешь в штаб, чтобы немедля ему позвонил.

Я позвонил. К телефону подошел Сталин.

Сталин: Мы решили освободить Конева с поста командующего фронтом. Это по его вине произошли такие события на Западном фронте. Командующим фронтом решили назначить вас. Вы не будете возражать?

— Нет, товарищ Сталин, какие же могут быть возражения, когда Москва в такой смертельной опасности.

Сталин: А что будем делать с Коневым?

— Оставьте его на Западном фронте моим заместителем. Я поручу ему руководство группой войск на калининском направлении. Это направление слишком удалено и необходимо иметь там вспомогательное управление,—доложил я Верховному.

Сталин подозрительно спросил:

— Почему защищаете Конева? Он ваш дружок?

— Мы с ним никогда не были друзьями, знаю его по службе в Белорусском округе.

Сталин: Хорошо. В ваше распоряжение поступают оставшиеся части Резервного фронта, части, находящиеся на Можайской оборонительной линии и резервы Ставки, которые находятся в движении к Можайской линии. Берите быстрее все в свои руки и действуйте.

— Принимаюсь за выполнение указаний, но прошу срочно подтягивать более крупные резервы, так как надо ожидать в ближайшее время наращивания удара гитлеровцев на Москву.

Войдя в комнату, где работала комиссия, я передал ей свой разговор со Сталиным.

Разговор, который был до моего прихода, возобновился. Конев обвинял Рокоссовского в том, что он не отвел 16-ю армию, как было приказано, в лес восточнее Вязьмы, а отвел только штаб армии.

Рокоссовский сказал:

— Товарищ командующий, от вас такого приказания не было. Было приказание отвести штаб армии в лес восточнее Вязьмы, что и выполнено.

Лобачев: Я целиком подтверждаю разговор командующего фронтом с Рокоссовским. Я сидел в это время около него.

С историей этого вопроса, сказал я, можно будет разобраться позже, а сейчас, если комиссия не возражает, прошу прекратить работу, так как нам нужно проводить срочные меры. Первое: отвести штаб фронта в Алабино. Второе: товарищу Коневу взять с собой необходимые средства управления и выехать для координации действий группы войск на калининское направление. Третье: Военный совет фронта через час выезжает в Можайск к командующему Можайской обороной Богданову, чтобы на месте разобраться с обстановкой на можайском направлении.

Комиссия согласилась с моей просьбой и уехала в Москву».

Против этой цитаты на полях рукописи написано редакторское замечание: «Надо ли это все ворошить?». Мне же кажется, что о таком поведении Жукова нам знать необходимо. Не нужно быть очень проницательным человеком, чтобы понять: описанное выше очень похоже на случившееся не так давно на Западном направлении, когда в результате разбирательства менее представительной комиссии во главе с Мехлисом были расстреляны командующий фронтом генерал армии Павлов, начальник штаба фронта генерал-лейтенант Климовских и другие генералы и офицеры. Здесь Жуков, по сути дела, спас Конева и других. Сталин по отношению к Коневу за катастрофу на Западном фронте был настроен однозначно отрицательно. Не сносить бы ему головы! Жуков это понял и, используя напряженность обстановки, умело и тонко вывел Конева из-под удара, попросив его к себе в заместители. (Знал бы Георгий Константинович, что много лет спустя Конев отплатит ему за это спасение, как говорится, черной неблагодарностью! Но об этом рассказ впереди.)

В одной из бесед с Константином Симоновым Жуков, вспоминая этот эпизод, сказал:

— Думаю, что это решение, принятое Сталиным до выводов комиссии, сыграло большую роль в судьбе Конева, потому что комиссия, которая выехала к нему на фронт во главе с Молотовым, наверняка предложила бы другое решение. Я, хорошо зная Молотова, не сомневался в этом...

Через два дня после того, как я начал командовать фронтом, Молотов позвонил мне. В разговоре с ним шла речь об одном из направлений, на котором немцы продолжали продвигаться, а наши части продолжали отступать. Молотов говорил со мной в повышенном тоне. Видимо, он имел прямые сведения о продвижении немецких танков на этом участке, а я к тому времени не был до конца в курсе дела. Словом, он сказал нечто вроде того, что или я остановлю это угрожающее Москве наступление, или буду расстрелян. Я ответил ему на это:

— Не пугайте меня, я не боюсь ваших угроз. Еще нет двух суток, как я вступил в командование фронтом, я еще не полностью разобрался в обстановке, не до конца знаю, где что делается. Разбираюсь в этом, принимаю войска.

В ответ он снова повысил голос и стал говорить в том духе, что, мол, как же это так, не суметь разобраться за двое суток. Я ответил, что если он способен быстрее меня разобраться в положении, пусть приезжает и вступает в командование фронтом. Он бросил трубку, а я стал заниматься своими делами.

* * *

Читая воспоминания Жукова о его приезде на Западный фронт, о том, как он искал штабы фронтов, не создается ли у вас впечатление о каком-то вакууме, о какой-то пустоте? Жуков ездит, преодолевая большие пространства, и не встречает наших войск. Почему же немцы не продвигаются к Москве и не овладевают ею? Очевидно, такое впечатление возникает из-за того, что Жуков ездил по тылам, в районе штабов фронтов, где войск, собственно, и не должно быть, за исключением резервов, которых к тому времени в распоряжении командования ни Западного, ни Резервного фронта уже не было.

Ну, а на передовой, там, где непосредственно соприкасались наступающие и отступающие части, там бои продолжались. И если мы мало знаем об этих боях и о тех мужественных людях, которые сдерживали там врага, то это из-за того, что было потеряно управление войсками — от дивизионных штабов до Верховного Главнокомандующего. Напомню слова Сталина, сказанные Жукову: он не может выяснить, что происходит на линии фронта, кто остался в окружении, кто оказывает сопротивление. Штабы фронтов тоже, как видим, не знали обстановки и положения частей. Вот в такие трудные минуты как раз и совершают свои подвиги герои, которые чаще всего остаются неизвестными.

Там, на передовой и в окружении, из последних сил выбивались роты и батальоны, остатки полков и дивизий, делая все, чтобы сдержать наступление врага. О них не писали в эти дни в газетах, не оформляли наградные документы на отличившихся, потому что всем было не до того. Надо было остановить могучий вал войск противника, который, превосходя во много раз силы обороняющихся, продвигался вперед. Потом политработники и журналисты найдут героев этих боев, но, увы, только тех, кто остался в живых, кто может рассказать о том, что делал сам или видел, как мужественно сражались другие. Ну а те, кто погиб в бою и совершил, может быть, самые главные подвиги? О них так никто и не узнает. Да и не принято в дни неудач, после отступлений, после того как оставлены города, села, говорить о геройских делах. Какое геройство, если драпали на десятки и сотни километров? Какие наградные реляции, когда столько погибло людей и потеряно техники?

Но все же в те часы и дни, когда Георгий Константинович искал в тылу командование фронтов, воины в передовых частях сражались и сдерживали противника. И это были герои! Жуков в своей книге пишет: «Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной группировки, оказались не напрасными. Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой советских воинов, внесших великий вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет должной оценки».

Собственно, такую оценку дает сам Жуков вышеприведенными словами, но все же некоторые эпизоды из боевых действий в районе окружения мне хочется привести из тех политдонесений трудных и славных месяцев героической обороны Москвы, которые я просмотрел в архивах. Вот некоторые выписки из них.

Из донесения от 5 октября 1941 года зам. нач. политуправления Западного фронта бригадного комиссара Ганенко, которое он направил в три адреса: армейскому комиссару I ранга Мехлису, командующему войсками Западного фронта генерал-полковнику Коневу, члену военного совета Западного фронта Булганину.

«Под натиском превосходящих сил противника, поддержанного танками и большим количеством самолетов, части 19-й армии отошли. Отход на новый рубеж 244-я и 91-я СД [стрелковые дивизии] провели организованно. На всех участках этих дивизий фашисты шли в наступление пьяными. Наступление противника сдерживалось нашими частями. Части 89-й СД и 127-й ТБР [танковой бригады] ведут наступление. Перед фронтом этих дивизий противник несет большие потери.

Личный состав частей 19-й армии дерется мужественно, некоторые части были отрезаны, попали в окружение, но не было паники и замешательства... Храбро сражались пулеметчики 561-го и 913-го СП (244-й СД). Они прикрывали отход стрелковых подразделений и сдерживали наступление противника, пока все части дивизии не заняли новый рубеж...

Вместе с этим из-за неорганизованности и невыполнения приказа в частях армии имелись напрасные жертвы; это дало возможность противнику прорваться на стыке 19-й и 30-й армий.

Производя отход, части 91-й и 89-й СД не предупредили об этом командование артиллерийских подразделений и частей, которые, оставшись без прикрытия пехоты, понесли большие потери. Командир 45-й КД [кавалерийской дивизии] генерал-майор Дреер не выполнил приказания командующего 19-й армии, оставил занимаемые позиции, оголил стык между частями 19-й и 30-й армий, и на этом участке просочилась мотопехота и танки противника, которые вышли в район 15 км сев. Бадино. Поставлен вопрос о снятии Дреера с должности и предании его суду военного трибунала...»

Я не знаю судьбы генерала Дреера, но абсолютно убежден в его невиновности, потому что в стык между 19-й и 30-й армиями, как уже говорилось, наносили удар двенадцать (!) дивизий противника, и 45-я дивизия просто не могла сдержать эти силы.

На другом участке происходило следующее:

«Главный удар был нанесен частям 162-й и 243-й СД. Только на участке 162-й СД действовало около двухсот танков и сто самолетов противника. 162-я дивизия оказывала упорное сопротивление, личный состав дрался геройски. Командир дивизии полковник Хознев погиб. Противник, по численности и технике превосходящий силы 162-й СД, сумел прорвать фронт. Личный состав дивизии попал в очень тяжелое положение и был рассеян. Прорвав фронт 162-й СД, противник обрушился на 1-й батальон 897-го СП [стрелкового полка] 242-й СД, на участке которого наступало еще свыше 70 танков и полк пехоты. 1-й батальон дрался героически, он в полном составе погиб, но занимаемые рубежи не оставил. Героически погибло боевое охранение 897-го СП, которое дралось до последнего бойца. В последнюю минуту начальник радиостанции этого боевого охранения младший командир тов. Морозов донес: «Взрываю радиостанцию».

Но было в эти трудные дни и такое:

«Командир 244-й СД генерал-майор Щербачев в течение последних двух дней все время пьянствовал, боевыми действиями не руководит, мешает в работе начальнику штаба и комиссару дивизии. В результате дивизия попала в тяжелое положение, два полка попали в окружение. Никто выходом частей из окружения не руководит. Щербачев по вызову командующего 19-й армией прибыл пьяным. Военным советом 19-й армии Щербачев отстранен от должности и направлен в распоряжение командующего фронтом...»

В донесении отмечается, что даже недавнее пополнение, еще не обстрелянное, держалось в бою мужественно:

«В частях 107-й МСД [мотострелковой дивизии] и 250-й СД не было паники и бегства с поля боя, несмотря на то, что в большинстве своем дивизии состояли из пополнения, прибывшего 30 сентября. 4 октября под давлением большого количества танков и пехоты противника части указанных дивизий с большими потерями отошли (в полках осталось по 100—160 человек)».

Но для того, чтобы читатели представляли, как нелегко и непросто было руководить Жукову организацией отпора врагу и какие были реальные обстоятельства, приведу из тех же донесений несколько примеров другого рода. Вот хотя бы о поведении пополнения, которое в одном случае вело себя мужественно, но в другом...

Передо мной результаты расследования факта сдачи в плен почти целого красноармейского батальона 811-го полка 229-й дивизии. В доне-

сении говорится: этот маршевый батальон прибыл в составе 990 человек, в нем было уроженцев Могилевской области 821 человек, Полесской области — 80 человек, западных областей Белоруссии, Украины и Прибалтики — 12 человек, остальные — из внутренних областей СССР. Батальон был весь влит в 229-ю СД, где разделен на две равные части, для 811-го и для 804-го полков. В течение трех дней с пополнением работали командиры и политработники, была организована боевая подготовка, принятие присяги, проведены беседы, в том числе и о законе, карающем за измену Родине. Затем батальон был выведен на передовую, занялся дооборудованием окопов и под вечер был накормлен горячим обедом. Дальше цитирую из донесения: «Примерно в 23-00 немцы интенсивным огнем обстреляли батальон из минометов и пулеметов. За это время командиры и политработники разбежались, и что произошло с людьми, никто из них не видел и не знает. Но все бежавшие командиры и политработники говорят всякие небылицы о каких-то командах, белых флагах, хотя сами, убежав с позиций, конечно, видеть ничего не могли... Всего перешло к немцам 261 человек. Командир дивизии наказан, комиссар дивизии снят, как не справившийся с задачей конкретного политического руководства».

В донесении рассказывается о славных делах, которые вершили в те дни наши летчики: «Частями ВВС фронта с 2 по 8 октября в воздушных боях сбито 96 самолетов противника и штурмовыми налетами уничтожено: 205 танков, 605 автомашин, 14 батарей, 54 зенитных орудия и 101 огневая точка. Кроме того, расстреляно большое количество вражеской пехоты». К сожалению, в этом же донесении говорится и о несовершенстве работ на Можайской линии обороны, той самой, на которую так много надежд возлагал Жуков и куда сосредоточивал имеющиеся у него силы. «Нашим работником установлено, что 22-й ВПС МВО [Московского военного округа] намеченное строительство УР Волоколамск — Можайск не обеспечил. Окончание строительства было намечено на 12 октября, но к этому времени оно не закончено...» Далее перечисляются участки, на которых должны были быть отрыты противотанковые рвы, но они только начаты или отрыты очень небольшой протяженностью. Не хватает рабочих: «Население, прилегающее к линии обороны, в большинстве эвакуировано вместе с имеющимся транспортом. Большинство рабочих строительных батальонов не подготовлены к работе в условиях заморозков. Они в большинстве своем не имеют теплой одежды и обуви. По пяти вышеуказанным секторам недостает 800 пар обуви и совершенно нет теплой одежды. Среди рабочих батальонов, направленных московскими организациями (Бауманский РК ВКП(б)), наблюдается огромная текучесть: стремление скорей уехать в Москву. Направленные в распоряжение УР рабочие строительные батальоны НКВД до сего времени не прибыли, и когда прибудут — неизвестно. Командование и инженерно-технический персонал этих строительных батальонов в количестве 200 человек прибыли в УР на машинах, бросив свои батальоны, и четыре дня сидят без дела».

* * *

Бои не затихали ни на секунду, они велись днем и ночью, но это если рассматривать ситуацию в тактическом отношении. Что же касается оперативного масштаба, то здесь случилась пауза. Дело в том, что, окружив столько наших армий, гитлеровцы должны были их удержать в этом кольце и уничтожить. На это им требовалось больше 28 дивизий. А это значит, что из ударных группировок, из тех могучих таранов, которые были направлены севернее и южнее Москвы для ее охвата, эти двадцать восемь дивизий были вынуты и остались в тылу.

Как же немецкое командование пыталось выйти из тех трудностей, с которыми оно встретилось, несмотря на победное начало наступления? Давайте опять заглянем в дневник Гальдера. Вот что он пишет 5 октября, в день, когда Сталин, почувствовав, что катастрофа произошла, звонил Жукову в Ленинград и просил его немедленно приехать:

«Сражения на фронте группы армий «Центр» принимают все более классический характер (Канны всегда были образцом для всех немецких генералов, и вот в этой операции они, как это было уже не раз в приграничных сражениях, вновь стремились к достижению этого классического образца. — **В. К.**). Танковая группа Гудериана вышла на шоссе Орел — Брянск. Части противника, контратаковавшие левый фланг танковой группы Гудериана, отброшены и будут в дальнейшем окружены. 2-я армия быстро продвигается своим северным флангом, почти не встречая сопротивления противника. Танковая группа Гёпнера, обходя с востока и запада большой болотистый район, наступает в направлении Вязьмы. Перед войсками правого фланга танковой группы Гёпнера, за которым следует 57-й моторизованный корпус из резерва, до сих пор не участвовавший в боях, противника больше нет».

Запись 6 октября: «В целом можно сказать, что операция, которую ведет группа армий «Центр», приближается к своему апогею — полному завершению окружения противника».

Запись 7 октября, в тот день, когда Жуков уже ездил по тылам Западного фронта: «Сегодня танковая группа Гёпнера соединилась с танковой группой Гота в районе Вязьмы. Это крупный успех, достигнутый в ходе 5-дневных боев. Теперь необходимо как можно скорее высвободить танковую группу Гёпнера для нанесения удара по юго-восточному участку московского оборонительного фронта, быстро перебросив к Вязьме пехотные соединения 4-й армии».

Вот в этой записи и видна причина паузы, возникшей в наступлении противника: танковые соединения только-только сомкнулись, но полевые армии еще не подошли, поэтому действительно наступление должно было приостановиться.

Запись 8 октября: «Окружение группировки противника в районе Вязьмы завершено и обеспечено от возможных ударов противника извне с целью деблокирования окруженных соединений».

9 октября Гальдер, несмотря на сухость и точность его военного языка, все же с явным восторгом записывает: «Бои против окруженной группировки противника в районе Вязьмы носят прямо-таки классический характер. Вне котла 4-я армия наступает правым флангом на Калугу, а 9-я сосредоточивает силы на северном фланге для удара по району Ржева».

Это, как видим, уже вытягиваются щупальца, а точнее, клинья в сторону Москвы для охвата ее с севера и с юга.

Такова была обстановка, в которой Жуков 10 октября 1941 года в 17 часов получил тот самый приказ Ставки, согласно которому Западный и Резервный фронты объединялись в Западный фронт, командовать которым поручалось ему.

Из этого приказа, из того, что Жукову отдаются все силы фронтов, которые еще остались под Москвой, и выполняется его пожелание насчет назначения Конева его заместителем, отчетливо видно, что Сталин как бы говорит: делай все, что хочешь, но только не допусти гитлеровцев в Москву.

Но что можно было сделать в такой тяжелейшей обстановке? Большинство сил оказалось в окружении. Тех частей, которые отходят перед наступающим противником, безусловно, недостаточно для того, чтобы остановить его продвижение. Резервов нет — Ставка не располагает готовыми частями, а с Дальнего Востока и из других районов прибытие войск задерживается. Если Сталин, отправляя Жукова в Ленинград, назвал сложившуюся там ситуацию безнадежной, то, наверное, к тому, что сейчас происходило под Москвой, это слово можно было применить с еще большим основанием.

И вот здесь, под Москвой, мы еще раз убедимся, что для талантливого полководца, каким был Жуков, действительно не существует безвыходных положений. Быстро и реально оценив создавшуюся обстановку и прекрасно зная тактику врага, Жуков приходит к выводу, что противник не может сейчас наступать на ширине всего фронта. У него не хватит для этого сил, много соединений он вынужден использовать для уничтожения наших окруженных армий. Следовательно, и нам нет необходимости создавать сплошной фронт обороны перед Москвой. Зная повадки врага: наступать вдоль дорог и наносить удары танковыми и механизированными клиньями, Жуков принимает решение — в первую очередь организовать прочную оборону на направлениях вдоль дорог, где противник будет пытаться наступать, охватывая Москву, а именно — на Волоколамском, Мо-

жайском, Калужском шоссе. Здесь надо сосредоточить все, что окажется сейчас под руками, главным образом артиллерию и противотанковые средства. Сюда нацелить силы имеющейся авиации.

Самым опасным было можайское направление. Там, на подступах к Бородино, к тому самому Бородинскому полю, где в 1812 году наши предки дали генеральное сражение Наполеону, уже находились части противника. На Можайскую линию обороны, как мы знаем, сосредоточивало силы и командование Московского Резервного фронта. Именно сюда, на наиболее угрожающее направление, и выезжает Жуков с членом Военного совета Н. А. Булганиным.

На этом рубеже особенно стойко сражалась стрелковая дивизия под командованием полковника В. И. Полосухина. Жуков убедился, что на Полосухина можно положиться, что он удержит занимаемые позиции, но тем не менее, не теряя времени, искал другие части, чтобы укрепить здесь оборону. На этом направлении войсками 5-й армии и всем, что можно было сюда собрать, командовал генерал-майор Д. Д. Лелюшенко, а после его ранения генерал-майор Л. А. Говоров.

Волоколамское направление он приказал оборонять генерал-лейтенанту К. К. Рокоссовскому, в распоряжении которого было только командование его 16-й армии, войска же этой армии, как помним, остались в окружении. Жуков подчинил Рокоссовскому все, что можно, из отходящих частей, он знал Рокоссовского как умелого и волевого генерала и надеялся, что он удержит волоколамское направление.

33-я армия во главе с генерал-лейтенантом М. Г. Ефремовым сосредоточилась на нарофоминском направлении. На малоярославецком направлении получила задачу обороняться 43-я армия генерал-майора К. Г. Голубева. Калужское направление перекрыла 49-я армия генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина. На калининское направление, наиболее удаленное от штаба фронта, где действия противника и обороняющихся носили более самостоятельный характер, Жуков направил своего вновь назначенного заместителя генерала И. С. Конева с оперативной группой.

Поставил боевые задачи Жуков и войскам, находившимся в окружении. Он объединил командование всеми окруженными частями в руках командующего 19-й армией генерала М. Ф. Лукина и поручил ему руководить боями и выводом частей из кольца. По давно установившемуся правилу, известному не только из теории, но и из практики, окруженную группировку противника надо дробить и уничтожать по частям. Гитлеровцы и пытались это сделать в районе Вязьмы. Но, понимая их замысел, генерал Лукин старался не допустить дробления войск и организовал упорное сопротивление внутри кольца. В течение недели окруженные войска активными действиями приковывали к себе значительные силы противника. Затем они предприняли попытку прорыва. Немногие соединились со своими частями, но все-таки часть сил прорвалась.

Для того чтобы более реально представить себе, как сражались выходящие из окружения войска, я приведу (сокращенно) подлинный документ — итоговое донесение начальника политуправления Западного фронта дивизионного комиссара Лестева, которое он направил 17 ноября армейскому комиссару I ранга Мехлису.

«О политико-моральном состоянии войск и характеристика ком. нач. состава, вышедшего из окружения.

По данным отдела укомплектования фронта, вышло из окружения нач. состава 6 308 человек, младшего нач. состава 9 994 человека, рядового состава 68 419 человек. Данные далеко не полные, ибо много бойцов, командиров и политработников, вышедших из окружения, сразу же были влиты в свои части, а также часть задержанных бойцов и командиров с оружием заградотрядами формировалось в подразделения и направлялось на передовые позиции на пополнение частей...»

В донесении подробно излагаются некоторые примеры боев и организованного выхода из окружения.

«Морально-политический облик бойцов, командиров и политработников, выходящих из окружения организованными боевыми подразделениями и частями, продолжающими жить уставными положениями Красной Армии, оставался высоким. Эти группы, подразделения и части не избегали встреч с противником, а, наоборот, разыскивали его, смело вступали в бой и громили его.

Волевые командиры и политработники в сложных условиях окружения сумели сохранить целостность своих частей или сформировать новые боевые подразделения из бегущих бойцов и командиров, наладить в них надлежащий воинский порядок, дисциплину и с боями вести эти части и подразделения на соединение с главными силами, нанося противнику огромный урон.

Командир 203-го СП капитан Нагорный и комиссар этого полка тов. Азаренок до конца выхода из окружения сумели сохранить свой полк как боевую единицу, несмотря на то, что полк в течение двух недель проходил с боями.

Группа командиров и политработников: Герой Советского Союза батальонный комиссар тов. Осипов, полковник Смирнов, батальонный комиссар Швейнов и другие по заданию Военного совета 30-й армии возглавили группу войск. Из отдельных частей и одиночных бойцов они сколотили боевые воинские подразделения, наладили в них партийно-политическую работу, установили железную воинскую дисциплину, ведя борьбу с малейшими проявлениями трусости и паникерства. Группа полковника Смирнова в течение двух недель дралась с противником, установила связь со штабом 29-й армии и действовала, выполняя его боевые приказы. Группа полковника Смирнова не скрывалась от врага, наоборот, нащупывала наиболее слабые места у противника, делала смелые налеты, разбивала узлы сопротивления, часто обращая противника в бегство. Группа вышла из окружения в составе 1870 человек... Все бойцы и командиры были вооружены и, кроме того, имели 14 станковых пулеметов, 33 ручных пулемета, 6 122-мм минометов, 3 76-мм пушки, 2 328 гранат и 160 тысяч винтовочных патронов, 19 автомашин и 36 повозок.

Генерал-майор Орлов координировал действия групп, созданных из отходящих частей 20-й, 24-й и других армий, и с боями вывел из окружения более 5 тысяч вооруженных бойцов и командиров...

Особо следует отметить героизм танкистов 126-й, 127-й и 128-й танковых бригад. Личный состав этих бригад вел бой до последнего снаряда, до последнего патрона, до последнего танка. Они смело вступили в бой с превосходящими силами противника, сгорали вместе с танками, но поля не покидали...»

Отнюдь не желая принижать подвига героически сражавшихся людей, но помня о своем обещании приоткрывать там, где это возможно, покров над «неизвестной войной», я приведу из того же донесения и некоторые факты, не украшающие наших бойцов и командиров.

«В ряде случаев командиры и политработники, в том числе штабы армий, дивизий и полков, оказавшись в окружении, растерялись и очень быстро потеряли связь со своими частями, перестали совершенно руководить ими. При прорыве противником левого фланга 20-й армии части 24-й армии стали в беспорядке отходить, открыв тем самым фланг 20-й армии и деморализовав ее части.

Получив приказ об отходе на новый рубеж, штаб 20-й армии и многие штабы частей и соединений потеряли управление своими частями и подразделениями...

То же самое произошло и со штабом 24-й армии, который шел отдельно от своих частей, не пытаясь восстановить связь со своими дивизиями и полками, восстановить порядок и боеспособность частей, не заботясь о судьбе своих людей, боевой техники и материальных ценностей... В результате командирской неорганизованности целые дивизии и полки рассыпались на мелкие разрозненные группы и перестали быть боевыми единицами. Эти разрозненные группы, действуя самостоятельно, не могли прорваться из окружения... Политрук 166-й СД Комиссаров доложил: «В одной из деревень в районе Вязьмы группа безоружных красноармейцев осталась ночевать, зная о том, что противник находится в 3—4 километрах. Некоторые красноармейцы заявляли: „Нам некуда больше идти, нам все равно". Эта группа людей в количестве 800 человек была захвачена в плен без единого выстрела... Много красноармейцев, и в первую очередь уроженцев областей, занятых противником, разбежались по домам и остались на территории, занятой противником».

Причину такого поведения комиссар видит не в тех трагических бедах сталинского периода нашей истории, о которых мы сегодня говорим и пишем открыто, а совсем в ином. Нельзя, конечно, с позиций сегодняшнего дня упрекать комиссара, но все же то, в чем он видел тогда причины низкого морального духа, было весьма характерно для некоторой категории наших руководителей: «Это свидетельствует о том, что требование приказа Ставки Верховного Главнокомандования № 270... (О репрессиях по отношению к попавшим в плен.— **В. К.**) многими не понято и не выполняется».

Однако рядом порой приводятся и другие причины, дающие более всестороннее представление о происходящем:

«Особенно следует отметить, что раненые бойцы и командиры, как правило, оставались без всякой медицинской помощи... Тяжелораненые или раненные в ноги, которые не могли идти и даже ползти, в лучшем случае оставались в деревнях или просто бросались на поле боя, в лесах, и погибали медленной смертью от голода и потери крови.

Все это происходило на глазах у людей и являлось одной из причин того, что многие красноармейцы и командиры стремились уклониться от боя и скрытыми путями пробраться к своим частям, ибо в ранении видели неизбежность гибели».

* * *

10 октября, когда Жуков вступил в командование фронтом, на полосах газеты «Фёлькишер беобахтер» пестрели такие заголовки: «Великий час пробил: исход восточной кампании решен», «Военный конец большевизма...», «Последние боеспособные советские дивизии принесены в жертву». Гитлер, выступая в Спортпаласте, на торжестве по случаю одержанной победы, произнес: «Я говорю об этом только сегодня потому, что сегодня могу совершенно определенно заявить: противник разгромлен и больше никогда не поднимется!»

Командующего группой армий «Центр» фон Бока даже испугала такая парадная шумиха в фатерланде. Он сказал Браухичу:

— Разве вы не знаете, каково действительное положение дел? Ни Брянский, ни Вяземский котлы еще не ликвидированы. Конечно, они будут ликвидированы. Однако будьте любезны воздержаться от победных реляций!

В ответ главнокомандующий Браухич напомнил фельдмаршалу:

— Не забывайте о намерении Гитлера 7 ноября вступить в Москву и провести там парад. Я советую вам форсировать наступление.

В тот же день, 10 октября, Гальдер во время прогулки верхом упал с лошади и вывихнул ключицу. Его отправили в госпиталь, поэтому в его дневнике отсутствуют записи с 10 октября по 3 ноября. Свою первую запись после излечения Гальдер сделал 3 ноября 1941 года и дал в ней обобщенные сведения за те 23 дня, которые он отсутствовал. Не буду приводить его записи по другим фронтам, познакомимся только с положением группы армий «Центр», которая наступала на Москву против Западного фронта Жукова. Все эти дни продолжалось осуществление плана операции «Тайфун». Гальдер делает свои записи о ходе этого сражения. Вот что он пишет: «Группа армий «Центр» подтягивает 2-ю армию (усиленную подвижными соединениями) на Курск, чтобы в дальнейшем развивать наступление на Воронеж. Однако это лишь в теории. На самом деле войска завязли в грязи и должны быть довольны тем, что им удается с помощью тягачей кое-как обеспечить подвоз продовольствия. Танковая армия Гудериана, медленно и с трудом продвигаясь, подошла к Туле (от Орла). 4-я армия во взаимодействии с танковой группой Гёпнера прорвала оборонительную позицию противника (прикрывающую Москву) на участке от Оки (в районе Калуги) до Можайска. Однако намеченный севернее этого участка прорыв танковой группы Рейнгардта (который принял 3-ю танковую армию от Гота) на Клин, из-за тяжелых дорожных условий осуществить не удалось. 9-й армии после тяжелых боев удалось стабилизировать положение в районе Клина и создать достаточно сильную оборону на своем северном фланге».

Как видим, в этих записях уже нет восторженных восклицаний о классическом развитии операции или о блестящем продвижении вперед

с охватом Москвы. Темп наступления явно сбился, за 20 дней части противника продвинулись еле-еле, и уже нужно искать оправдание этой замедленности. В данном случае это грязь и плохие дороги (потом будут снег и морозы). Разумеется, нельзя отрицать, что распутица и бездорожье затрудняли продвижение танков, артиллерии и автотранспорта гитлеровцев. Но все же главной причиной потери темпа был наш отпор на всех главных направлениях армиям наступающих. Вот чего достиг Жуков небольшими силами, используя их именно на тех направлениях, где было острие наступления противника. Его предположения оправдались, немногие силы, которыми он располагал, оказались там, где нужно, и продвижение противника, как видим, становилось все медленнее и медленнее.

После войны Лев Безыменский, известный журналист и знаток немецких военных документов, во время одной из поездок в Западную Германию обнаружил дневник фельдмаршала фон Бока. Этот документ интересен тем, что писался не для печати и поэтому достаточно достоверен. По этому дневнику можно довольно точно воспроизвести ход решений фон Бока и все детали действий противника, против которых вел бои Жуков во время Московской битвы.

Главным беспокойством фон Бока в начальные дни октября было то, чтобы танковые части его группы армий не ввязались в уничтожение окруженных советских армий, а двигались дальше, дабы не позволить нам создать новый фронт обороны на подступах к Москве.

7 октября Бок приказывает 2-й танковой армии Гудериана взять Тулу и двигаться дальше на Коломну и Серпухов, 4-й танковой группе идти на Москву по шоссе Вязьма — Москва, 4-й и 9-й армиям вместе с 3-й танковой группой двигаться на Калугу и Гжатск и дальше на Москву. На Малоярославец двигалась дивизия СС «Рейх», а за нею шли 57-й и 10-й танковые корпуса.

На пути этой мощной танковой механизированной группы встали курсанты Подольских училищ, пехотного и артиллерийского, батарея 222-го зенитного артиллерийского полка, которая стала вести огонь по танкам, и подразделения 17-й танковой бригады. Шесть суток эти замечательные воины удерживали и отбивали натиск мощнейшей танково-механизированной армады. Шесть суток! Только представьте себе, как молодые курсанты, не имеющие достаточного количества средств для борьбы с танками, несмотря ни на что, сдерживают и не пропускают противника к Москве! Как трудно было Жукову, с какими истерзанными частями он отбивал противника!

В эти дни к Боку прибыл главнокомандующий сухопутными войсками Браухич. Ознакомившись с обстановкой, он настоятельно потребовал послать в обход Москвы с севера, со стороны железной дороги Ленинград — Москва, 3-ю танковую группу. Опытный Бок возражал, предупреждая, что танковые группы Рейнгардта и Гудериана в этом случае разойдутся слишком далеко, но Браухич добился того, что Бок получил на это соответствующий приказ еще и сверху.

Наступающие части 12 октября овладели Калугой. 15 октября Гёпнер со своей танковой группой делает новый рывок вперед и прорывается через московскую линию обороны. В штабе Гёпнера делают такую запись: «Падение Москвы кажется близким».

* * *

В один из этих напряженных дней Сталин позвонил Жукову и спросил:

— Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об этом с болью в душе. Говорите честно, как коммунист.

Жуков некоторое время думал, наверное, эти секунды были для Сталина очень тягостны. Жуков же отчетливо понимал, какую ответственность он берет на себя любым — положительным или отрицательным — ответом. Проще было уклониться от однозначного суждения, но это было не в его характере. А главное — он был уверен, что предпринял все возможное и невозможное, чтобы отстоять столицу, поэтому твердо сказал:

— Москву, безусловно, удержим. Но нужно еще не менее двух армий и хотя бы двести танков.

— Это неплохо, что у вас такая уверенность. Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить две резервные армии, которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября. Танков пока дать не сможем.

Этот разговор, очень нехарактерный для Сталина, встревожил и Жукова. Георгий Константинович вызвал к себе начальника охраны Бедова и сказал ему:

— Что-то очень тревожно в Москве. Поезжайте немедля в город, посмотрите, что там делается. Узнайте, где работает Верховный, начальник Генштаба.— Жуков помолчал и добавил доверительно: — Делать это надо очень осторожно. Понимаете?

Бедов попросил:

— Разрешите мне взять вашу машину, на ней пропуск на въезд в Кремль и ваши номера, которые все знают, иначе мне в Кремль не попасть, да и вообще по городу проехать свободнее.

Бедов выполнил поручение Жукова, он побывал в Кремле, узнал, что Сталин работает там. На своем месте в Генеральном штабе был и Шапошников.

Бедов подробно рассказал мне об этой поездке. Чтобы читатели лучше представили себе, что тогда происходило в городе, я добавлю для полноты картины сведения из других источников.

В Москве в эти дни было неспокойно. О новом наступлении немецких войск узнали, конечно, не только в военных учреждениях, но и почти все жители Москвы. Артиллерийская канонада и бомбежки слышны были всем. Вот что сказано в воспоминаниях начальника тыла Красной Армии генерала А. В. Хрулева, человека, которому можно верить и который хорошо знал обстановку:

«Утром 16 октября мне позвонил начальник Генштаба маршал Б. М. Шапошников и передал приказ Сталина всем органам тыла немедленно эвакуироваться в Куйбышев. Ставка должна была согласно тому же приказу переехать в Арзамас. Для вывоза Ставки мне было приказано срочно подготовить специальный поезд. Позднее в тот же день у меня состоялся разговор со Сталиным, который подтвердил это распоряжение»...

Решение об эвакуации государственных учреждений, Генерального штаба и Ставки подтверждается и постановлением Государственного комитета обороны об эвакуации Москвы, где говорилось о необходимости немедленно начать эвакуацию правительства, Верховного Совета, наркоматов, дипломатического корпуса и других учреждений, о вывозе ценностей и исторических реликвий из Оружейной палаты Кремля. В одну из ночей, соблюдая строжайшую тайну, извлекли из Мавзолея тело В. И. Ленина и отправили под особой охраной в специальном вагоне в Куйбышев.

Был в этом постановлении и такой пункт, о существовании которого Сталину очень не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, особенно, когда стало ясно, что Москва выстояла. В нем было сказано, что товарищ Сталин должен эвакуироваться сразу же после издания этого постановления.

Как же можно допустить, чтобы народ узнал о колебаниях великого полководца, о его попытке, прямо скажем, удрать из Москвы, когда войска из последних сил обороняли столицу? Поэтому долгие годы текст этого постановления не публиковался, во всяком случае до 1988 года.

Как только в Москве приступили к широкой эвакуации населения и учреждений, началось то, что назвали позже «московской паникой»,— беспорядки, о которых ходило и до сих пор ходит много слухов. Многие очевидцы подтверждают, что действительно в городе растаскивали товары из магазинов, складов, да, собственно, даже и не растаскивали, а было такое полуофициальное разрешение все разбирать.

О том, что происходило в эти дни в Москве, несколько раз публиковал обширные статьи журналист Лев Колодный. Ниже я пересказываю несколько эпизодов из них. Вот выдержки из двух писем, которые ему прислали читатели. В. Л. Таубен сообщил: «В тот день на Большой Полянке я видел своими глазами: склады магазинов были открыты, продукты выдавались бесплатно всем, кто хотел их взять. Естественно, многие, я в том числе, восприняли это как знак предстоящей сдачи Москвы». Москвичка Э. Борисова пишет: «Утром того дня вдруг заговорило радио (черная тарелка), без всякого представления кто-то сообщил, что Москва находится в угрожающем положении и поэтому предлагается уезжать или

уходить из города кто как может. Единственная дорога свободная — шоссе Энтузиастов, железная дорога — Ярославская. Предлагалось получить двухнедельное пособие на службе. И все. Кто говорил, от чьего имени, так и осталось неизвестным».

На вокзалах грузились эшелоны заводов и учреждений. Множество людей уходило пешком по шоссе — на восток страны.

Лихорадочно, торопливо работало в эти ночи (а по случаю спешки — даже днем) ведомство Берии. Срочно уничтожались арестованные и отбирались те, кого предстояло вывезти. Говорят, именно в эти дни были случаи, когда в тюрьмах Москвы расстреливали сотни человек в сутки. Наиболее «ценных» арестованных, которых готовили в качестве участников грандиозного процесса, похожего на «военный заговор» 1937-38 годов, отправили под усиленным конвоем в Куйбышев. В этой группе были дважды Герой Советского Союза, помощник начальника Генерального штаба Я. Смушкевич, бывший заместитель наркома обороны и командующий советской авиацией генерал-лейтенант авиации Герой Советского Союза П. Рычагов и его жена, тоже летчица, генерал-полковник, начальник управления ПВО страны Герой Советского Союза Г. Штерн...

Только прибыли вагоны с узниками на место, как вслед им, 18 октября, пришло предписание наркома НКВД генерального комиссара государственной безопасности Берии — немедленно расстрелять 25 заключенных, среди которых находились и вышеназванные военачальники. Приказ был выполнен немедленно, все были расстреляны без суда и следствия.

В Москве начались грабежи и беспорядки, которые чинили дезертиры и всякая другая нечисть. 19 октября Государственный комитет обороны принял постановление о введении в Москве осадного положения. В первых строках говорилось о Жукове: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100—120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом, генералу армии т. Жукову». Дальше говорилось о введении комендантского часа и о строжайшем наведении порядка в Москве органами охраны и войсками НКВД и милиции, и предписывалось: «Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду Военного Трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте».

* * *

1 ноября Жукова вызвали в Москву.

Сталин сказал:

— Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества?

Жуков ответил:

— В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он понес в предыдущих сражениях серьезные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов.

Утром 6-го ноября позвонил Сталин:

— Завтра будем проводить парад. А сегодня вечером будет торжественное заседание Моссовета. Для безопасности проведем его на станции метро Маяковская. Позволит ли вам обстановка приехать на заседание?

Жуков присутствовал на этом торжественном заседании. Но на трибуне Мавзолея во время парада он не был, находился на командном пункте, готовый немедленно принять все необходимые меры, если гитлеровцы попытаются кинуться на Москву.

Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе радостным событием. Поэтому мне хочется коротко рассказать о том, что происходило тогда на Красной площади. Рассказать не от себя,— я в этот день был еще заключенным в одном из лагерей Сибири и писал письма Калинину с просьбой отправить меня на фронт.

Это был парад, хотя и традиционный, но необыкновенный. Парад не только военный, но и политический, парад-вызов, парад презрения к врагу, парад-пощечина: вот вам! Вы кричите о взятии Москвы, а мы проводим свой обычный праздничный парад!

В дни, когда враг находился в нескольких десятках километров от города, проведение парада было очень рискованным. Ведь если бы немцы узнали о нем, они могли сосредоточить десятикратное превосходство наземных и воздушных сил, пронзить, как ударом кинжала, нашу оборону на узком участке и ворваться прямо на Красную площадь. Разумеется, это предположение гипотетическое, однако же и не слишком. Немцы ведь не раз прошибали нашу оборону своими клиньями за короткое время и на бо́льшую глубину.

Но на этот раз они удара не подготовили. Их разведка не узнала о готовящемся сюрпризе. Когда начался парад, только в эту минуту была включена радиостанция и пошла трансляция на весь мир. Его, конечно, услышали и в Берлине, и в «Волчьем логове», но все это было так неожиданно, так невероятно, что не знали, что же предпринять. Все боялись доложить Гитлеру о происходящем. Он сам, совершенно случайно, включив радиоприемник, услышал музыку марша и печатные шаги. Фюрер сначала принял это за трансляцию о каком-то немецком торжестве, но, услышав русскую речь, команды на русском языке, понял, что происходит. Гитлер кинулся к телефону. Он понимал — ругать разведчиков и генштабовцев не время, они ничего не успеют предпринять, поэтому позвонил сразу в штаб группы армий «Центр».

Услыхав голос телефониста, стараясь быть спокойным, чтоб не напугать отозвавшегося, сдержанно сказал:

— У телефона Гитлер, соедините меня с командиром ближайшей бомбардировочной дивизии.

Некоторое время Гитлер слышал в трубке только обрывки фраз, щелчки переключения на коммутаторах. В эти секунды в нем, будто переключаясь со скорости на скорость, разгорался гнев.

Взволнованный голос закричал в трубке:

— Где, где фюрер, я его не слышу?

— Я здесь, — сказал Гитлер. — Кто это?

— Командир двенадцатой бомбардировочной авиадивизии генерал...

— Вы осел, а не командир дивизии. У вас под носом русские устроили парад, а вы спите, как свиньи!

— Но погода, мой фюрер... она нелетная... снег... — голос генерала прерывался.

— Хорошие летчики летают в любую погоду, и я докажу вам это. Дайте мне немедленно лучшего летчика вашей дивизии!

Лучшие летчики были где-то далеко, на полковых аэродромах, генерал, глядя на трубку, как на змею, поманил к себе офицера, случайно оказавшегося в кабинете. Офицер слышал, с кем говорил командир дивизии, лихо представился:

— Обер-лейтенант Шранке у телефона!

Гитлер подавил гнев и заговорил очень ласково, он вообще разносил только высших военных начальников, а с боевыми офицерами среднего и младшего звена всегда был добр.

— Мой дорогой Шранке, вы уже не обер-лейтенант, вы капитан, и даже не капитан, а майор. У меня в руках Рыцарский крест — это ваша награда. Немедленно поднимайтесь в воздух и сбросьте бомбы на Красную площадь. Этой услуги я никогда не забуду!

— Немедленно вылетаю, мой фюрер! — воскликнул Шранке и побежал к выходу.

Услыхав потрескивание в трубке, командир дивизии поднес ее к уху — там звучал голос Гитлера:

— Генерал, генерал, куда вы пропали?

— Я здесь, мой фюрер, — сказал упавшим голосом генерал и тоскливо подумал: «Сейчас он меня разжалует». Но Гитлер понимал: сейчас главное — успеть разбомбить парад: времени для разжалования и нового назначения нет.

— Генерал, даю вам час для искупления вины. Немедленно вслед за рыцарем, которого я послал, вылетайте всем вашим соединением. Ведите его сами. Лично! Жду вашего рапорта после возвращения. Все.

Вновь испеченный майор Шранке через несколько минут был уже в воздухе. Он видел, как вслед за ним взлетали тройки других бомбардировщиков. Облачность была плотная, идти надо было по компасу и по расчету дальности. Он приказал штурману тщательно проделать все эти расчеты для точного выхода на цель.

...Шранке не долетел до Москвы, его самолет и еще двадцать пять бомбардировщиков были сбиты на дальних подступах, остальные повернули назад.

Стремясь к максимальной подлинности при описании событий, я дальше воспользуюсь рассказом очевидца, который не только присутствовал на том параде, но и описал его в газете тогда же, в ноябре 1941 года. Писатель Евгений Захарович Воробьев — мой старый добрый друг, я еще расспросил его с пристрастием о том параде, выясняя побольше деталей, и дополнил ими его ранее опубликованную газетную статью.

— Я был корреспондентом газеты Западного фронта «Красноармейская правда», — начал Евгений Захарович. — Корреспонденты других газет на этот раз собрались у левого крыла Мавзолея. На довоенных парадах здесь обычно стояли дипломаты, военные атташе. Теперь дипломатического корпуса на параде не было — посольства эвакуировались в Куйбышев. Мы стояли так близко, что я слышал, как Сталин, выйдя на балкон Мавзолея, где, видимо, ветер был сильнее, чем у нас внизу, сказал:

— А здорово поддувает...

И потом немного позже, радуясь непогоде, которая затрудняла нападение вражеской авиации, Сталин усмехнулся, когда снег пошел еще гуще, и сказал тем, кто стоял с ним рядом:

— Везет большевикам, бог им помогает...

Парад принимал С. М. Буденный, командовал парадом генерал-лейтенант П. А. Артемьев. Вопреки традиции сегодня произнес речь не тот, кто принимал парад, а Сталин. Именно в этот день он сказал запомнившиеся всем слова:

«Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!..»

На парад вышли курсанты военных училищ, полки дивизии особого назначения имени Дзержинского, Московский флотский экипаж.

А отдельные армейские батальоны были незаметно для противника введены в Москву только для участия в параде.

Вслед за частями и подразделениями, прибывшими с фронта, прошагал полк народного ополчения — разношерстное и пестрое войско. Полушубки, бушлаты, стеганые ватники, бекеши и шинели, иные шинели еще помнили Каховку и Царицын, Касторную и Перекоп... Сапоги, валенки, ботинки с обмотками... Шапки-ушанки, буденовки, треухи, картузы, кубанки, папахи... Винтовки вперемежку с карабинами, мало автоматов и совсем нет противотанковых ружей.

Надо признать, вид у бойцов народного ополчения был недостаточно молодцеватый, непарадный. Долговязый парень из тех, кого называют «дядя, достань воробушка», затесался на левый фланг и шагал в соседстве с низенькими, приземистыми. Но кто бы поставил в упрек бойцам народного ополчения плохую выправку? Их ли вина, что не осталось времени на строевые занятия? Люди непризывного возраста и не весьма отменного здоровья учились маршировать под аккомпанемент близкой канонады.

В то праздничное утро, совсем как в годы гражданской войны, парад стал одновременно проводами на фронт. В отличие от мирных парадов сегодня винтовки, пулеметы, орудия, танки были снабжены боеприпасами. И одна из верных примет того, что путь с Красной площади вел не

в казармы, а на позиции,— у многих участников парада заплечные вещевые мешки.

Позже по площади с железным громыханием провезли пушки. Иные из них казались прибывшими из другой эпохи — «времен Очакова и покоренья Крыма». Наверно, то были очень заслуженные пушки, но за выслугой лет им давно пора на музейный покой. И если они дефилировали, то лишь потому, что все боеспособные пушки нужны, до зарезу нужны были на фронте и не могли покинуть своих огневых позиций.

Затем, к нашей радости, прошли танки, их было много, около двухсот, в том числе немало тяжелых. Танкисты оказались в Москве мимоездом. Накануне самого праздника две танковые бригады выгрузились на задворках вокзалов, на станциях Окружной дороги. С Красной площади танки держали путь прямехонько на исходные позиции. Может, для того, чтобы сократить дорогу, танки сегодня не спускались, как обычно, мимо Василия Блаженного к набережной, а возле Лобного места поворачивали налево и через Ильинку и площадь Дзержинского спешили по улице Горького на север и на запад — на Ленинградское, Волоколамское и Можайское шоссе.

Долго по мостовым города громыхали танки, тягачи, броневики, пушки, слышались цоканье копыт, маршевый шаг пехоты, скрип обозов, тянувшихся из города на его окраины, в пригороды, предместья... На фронт!

Евгений Захарович посмотрел на меня, седой, белоголовый. Мне на миг показалось, что это он запорошен снегом, еще тем, что шел над Красной площадью в ноябре сорок первого...

Доклад и выступление Сталина использовались политработниками для поднятия духа сражающихся воинов. Вот о чем говорят документы. Из донесения 11 ноября 1941 года:

«Во всех частях фронта широко развернута работа по изучению доклада товарища Сталина на торжественном заседании Моссовета 6.XI.41 года... Работники политотделов выехали в части. Основной формой работы является индивидуальная и коллективная читка доклада и беседы. Доклад товарища Сталина вызвал большой политический подъем личного состава».

Далее приводятся примеры: «Красноармеец 765-го СП Т. Машков заявил: «Выступление товарища Сталина на Красной площади — самый сильный удар по гитлеровской банде убийц. Мудрого товарища Сталина не запугаешь, он знает цену Гитлера и его банды и знает, как их победить. Выступление товарища Сталина вселяет полную уверенность в победу, зовет на подвиги во имя Родины».

«В октябре месяце подано 386 заявлений о приеме в члены ВКП(б), 1135 заявлений о приеме в кандидаты ВКП(б), 2274 о приеме в члены ВЛКСМ. Особенно выросла тяга в партию и комсомол после опубликования в газетах доклада товарища Сталина. Многие бойцы и командиры подавали заявления сразу же после коллективной читки доклада товарища Сталина...

Бойцы и командиры частей фронта на призыв вождя народов товарища Сталина — никакой пощады немецким оккупантам — отвечают конкретными боевыми делами. Личный состав частей 16-й армии в течение 12—14 ноября уничтожил и захватил 80 танков, три тяжелых орудия, 20 орудий ПТО, 40 пулеметов и много других трофеев. В боях за Скирмантово и Козлово частями 1-й гвардейской и 28-й танковой бригадами захвачено: 30 танков, 3 тяжелых орудия, 12 орудий ПТО, 10 станковых пулеметов, 10 ручных пулеметов, 12 минометов, 30 винтовок, автомашины, мотоциклы, уничтожено до полка пехоты и взято в плен 40 немецких солдат».

Но в эти же дни происходит и такое:

«8 ноября шесть красноармейцев и младший командир 6-й стрелковой роты 774-го СП 222-й СД младший сержант Тонких Ю. Г., рождения 1921 года, уроженец Воронежской области, перешли на сторону противника. Все указанные красноармейцы и младший командир находились в боевом охранении. Изменник Тонких считался лучшим командиром и 7 ноября был награжден ценным подарком».

«Комиссар 67-го железнодорожного батальона 1-й жел. дор. бригады старший политрук Ларин К. И.,рождения 1905 года, член ВКП(б), рабочий, русский, 6 октября, в период отхода наших частей дезертировал, захватив с собой красноармейца Полторацкого... 31 октября Ларин явился в батальон и среди нач. состава вел антисоветские, пораженческие разговоры. Ларин исключен из партии и предан суду ВТ...»

Приведу еще некоторые факты из донесений, свидетельствующие о том, в каких труднейших условиях приходилось Жукову организовывать защиту Москвы.

«Части ощущают большие затруднения в обеспечении личного состава теплым обмундированием. В частях фронта недостает: шапок-ушанок нач. состава 12 877, шапок-ушанок для рядового состава 50 223, телогреек ватных 136 784, шаровар ватных 168 754, гимнастерок суконных нач. состава 6 466, шаровар суконных 8 221, свитеров 25 107, перчаток теплых 89 360, рубах теплых 105 952, кальсон теплых 89 907, подштанников полушерстяных 112 534...

Большой недостаток обуви в 126-й СД (16-я армия), где 1080 человек совершенно не имеют обуви. В частях 49-й армии недостает 4700 пар ботинок... Причины недостачи вещевого имущества: 1. Соединения, прибывшие из внутренних округов, не имеют теплого обмундирования (78-я СД, 58-я ТД). 2. Выходящие из окружения бойцы и командиры теплого обмундирования не имеют. 3. Медленно продвигаются транспорты с оборудованием к месту назначения. Интендантское управление фронта обещало 5-й армии до 13 ноября полностью удовлетворить все заявки на вещевое имущество, за исключением валенок, полушубков и шинелей. Но эти неоднократные обещания не выполнены».

«В результате проводимой работы... бытовое обслуживание бойцов и командиров улучшилось. В большинстве частей бойцы и командиры получают горячую пищу два раза в день. Улучшилось снабжение личного состава водкой и махоркой... Но нет кипятильников, кипятить чай не в чем. Во многих частях недостает большого количества кухонь и котлов. Пища готовится в русских печах в крестьянских избах. В 222-й СД положено иметь 84 кухни, имеется 19...»

* * *

Создалось очень сложное положение на обеих сторонах — и у наступающих, и у обороняющихся. Казалось бы, в самой сложной ситуации полководец волен выбирать любую форму маневра для того, чтобы выполнить задачу, которая перед ним стоит, то есть успешно наступать или успешно обороняться. Но это только теоретически, потому что каждый раз полководец зависит от многих условий, от обстановки, сложившейся в данном конкретном случае. Это особенно наглядно видно в той ситуации, о которой идет речь.

Фельдмаршал фон Бок не мог продолжать наступление в той группировке, которая была создана по прежнему его замыслу. Операция «Тайфун», по сути дела, захлебнулась после ее успешного начала. Фон Бок намеревается теперь уже не завершать операцию «Тайфун», а осуществить новую, он назвал ее «Московские Канны». Как видим, опять «классический образец». Несмотря на сложность обстановки, мечты не покидают немецкого полководца. На сей раз фон Бок решает осуществить двойное окружение только Москвы. Первый внутренний охват войск Западного фронта должны осуществить 4-я танковая группа Гёпнера и 4-я полевая армия фельдмаршала Клюге. Танковая армия должна наступать на истринском направлении с рубежа Волоколамск, а 4-я полевая армия на подольском направлении из района Наро-Фоминск — Серпухов. Кольцо внутреннего охвата они должны замкнуть непосредственно в Москве.

Второй, внешний, охват должны произвести: 3-я танковая группа Рейнгардта ударом севернее Москвы на восток, на Клин и Дмитров и двигающаяся ей навстречу с юга 2-я танковая группа Гудериана ударом из района Тулы на Коломну. Эти две танковые клешни должны были замкнуть кольцо внешнего охвата в районе Ногинска.

Принимая это решение и ставя такие задачи, фельдмаршал фон Бок учел недостаток своего предыдущего решения, когда его части, ввязавшись в бой с окруженными советскими армиями под Вязьмой, вынуждены были отражать активные действия тех, кто пытался вырваться из кольца, и одновременно получали в спину удары контратакующих советских войск, находившихся вне кольца. Теперь, создавая двойное окружение, фон Бок хотел надежно обеспечить соединения, непосредственно окружающие и врывающиеся в Москву. Они могли, по его представлению, спокойно осуществить поставленную задачу, так как их тылы будут обеспечены вторым внешним кольцом окружения.

Подготовку и проведение этой операции надо было вести ускоренными темпами, чтобы не дать советским частям опомниться и организовать оборону. Надо было бить, пока брешь, созданная из-за окружения наших армий под Вязьмой, ничем еще, по сути дела, не была заполнена.

Надо отдать должное организованности и опыту гитлеровских штабов и войск: они сумели в короткое время подготовить эту новую сложную операцию, успели подтянуть резервы и доукомплектовать части людьми и танками и, главное, создать большое превосходство сил на узких участках, там, где наносились главные удары.

В общей сложности фон Бок сосредоточил на московском направлении пятьдесят одну дивизию, в том числе тридцать одну пехотную, тринадцать танковых и семь механизированных. Кроме этих наземных войск, группу армий «Центр» поддерживал 2-й воздушный флот, в котором было более 650 боевых самолетов. Силы немалые! Опасность удара такой огромной армады была очень велика. Фон Бок и главнокомандующий сухопутными войсками Браухич с полным основанием считали, что разработанная ими операция «Московские Канны» должна пройти успешно, сил вполне достаточно, чтобы нанести четыре стремительных удара, окружить и захватить Москву, тем более что, по их представлению, советская сторона не имела реальных возможностей противостоять этому новому мощному наступлению.

К 15 ноября гитлеровские армии готовы были ринуться вперед.

* * *

Командующий Западным фронтом Жуков тоже не терял времени. Все, что можно было найти из частей, не попавших в окружение, а также несколько дивизий народного ополчения, сформированных в Москве, специальные части, военные училища — все он сосредоточивал и ставил на тех направлениях, где ожидал удара противника.

Случаются в жизни полководца неприятности, которые приносит ему не противник, а свой более высокий по рангу начальник. Георгий Константинович уже пережил не одну такую неприятность, вплоть до снятия с должности начальника Генерального штаба. Не одну неприятную ситуацию пришлось пережить ему и в битве за Москву.

Когда дело касалось личных затруднений, незаслуженной обиды, это скрепя сердце он мог перенести, но когда от непонимания его планов могло рухнуть то, что уже сделано, а от этого зависит судьба не только его, Жукова, но и Москвы, тут переживания были особенно тягостны.

Когда Жуков с таким трудом, почти из ничего, слепил оборону на главных направлениях, ему позвонил Сталин. Он звонил нередко и прежде, поэтому Жуков и этот разговор начал в обычном деловом тоне, но когда он понял, что затевает Верховный, то разволновался и тон разговора стал напряженным.

— Как ведет себя противник? — спросил Сталин.

— Заканчивает сосредоточение своих ударных группировок и, видимо, в скором времени перейдет в наступление.

— Где вы ожидаете главный удар?

— Из района Волоколамска. Танковая группа Гудериана, видимо, ударит в обход Тулы на Каширу.

— Мы с Шапошниковым считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе Волоколамска, другой — из района Серпухова во фланг 4-й армии немцев. Видимо, там собираются крупные силы, чтобы ударить на Москву.

— Какими же силами, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы будем наносить эти контрудары? Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы только для обороны.

— В районе Волоколамска используйте правофланговые соединения армии Рокоссовского, танковую дивизию и кавкорпус Доватора. В районе Серпухова используйте кавкорпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии.

— Считаю, что этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросать на контрудары, успех которых сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет тогда подкрепить оборону войск армий, когда противник перейдет в наступление своими ударными группировками.

— Ваш фронт имеет шесть армий. Разве этого мало?

— Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянулась, с изгибами она достигла в настоящее время более 600 километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта.

— Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите сегодня вечером, — недовольно отрезал Сталин.

Минут через пятнадцать к Жукову зашел Булганин и сказал:

— Ну и была мне сейчас головомойка!

— За что?

— Сталин сказал: «Вы там с Жуковым зазнались. Но мы и на вас управу найдем!» Он потребовал от меня, чтобы я сейчас же шел к тебе и мы немедленно организовали контрудары.

Жуков был мастером по контрударам, он это показал особенно ярко в обороне Ленинграда. Может быть, помня об этих успешных действиях, Сталин и Шапошников решили под Москвой применить такую же тактику? Но давно известно: любые тактические приемы приносят успех только при соответствующих условиях. При малых силах и при полном отсутствии резервов, как это было в те дни под Москвой, решиться на контрудары было не только неправильно, но и весьма рискованно.

Жуков выполнил приказ Сталина: удары состоялись. Вот каково мнение Рокоссовского, командовавшего 16-й армией, по поводу контрудара:

«Неожиданно был получен приказ командующего Западным фронтом — нанести удар из района севернее Волоколамска по волоколамской группировке противника. Срок подготовки определялся одной ночью. Признаться, мне было непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ. Сил мы могли выделить немного, времени на подготовку не отводилось, враг сам готов двинуться на нас. Моя просьба хотя бы продлить срок подготовки не была принята во внимание. Как и следовало ожидать, частный контрудар, начатый 16 ноября по приказу фронта, принес мало пользы. На первых порах, пользуясь неожиданностью, нам удалось даже вклиниться километра на три в расположение немецких войск. Но в это время они начали наступление на всем фронте армии. Нашим выдвинувшимся вперед частям пришлось поспешно возвращаться...»

Как вы думаете, что лучше: отражать наступление противника, находясь на позициях, подготовленных к обороне, или выйти ему навстречу в «чисто поле»? В обороне перед траншеями — мины, в боевых порядках пехоты окопались противотанковые пушки, а в тылу — артиллерия, пристрелявшая все подступы к обороне. В траншеях подготовлены гранаты, патроны, бутылки с горючей смесью. Здесь все обжито, здесь, как говорится, и стены помогают. А войска, вышедшие из оборудованных позиций, все эти преимущества потеряли, оставили за спиной и при своей малочисленности, конечно, были обречены на неуспех.

«Поспешно возвращались», — пишет Рокоссовский. А сколько не вернулось, легло в землю, ослабив тем самым и без того малые силы обороняющихся?! В общем, ой, как тяжело слово Верховного! Многих он уложил в братские могилы понапрасну и в этом вот случае. А Рокоссовский, увы, всю ответственность возлагает в своих воспоминаниях на Жукова: «...мне было непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ».

* * *

Итак, 16 ноября войска Западного фронта, выполняя приказ Сталина, нанесли контрудары. Выбиваясь из последних сил, вступили они в схватку с противником. И в это же утро перешли в наступление гитлеровцы! Вот что пишет Жуков о создавшемся критическом положении: «С утра 16 ноября вражеские войска начали стремительно развивать наступление из района Волоколамска на Клин. Резервов в этом районе у нас не оказалось, так как они по приказу Ставки (читай: Сталина. — **В. К.**) были брошены в район Волоколамска для нанесения контрудара, где и были скованы противником».

Несмотря на упорное сопротивление дивизий генерала И. В. Панфилова, полковника А. П. Белобородова, генерала П. Н. Чернышева, курсантского полка С. И. Младенцева, танковой бригады генерал-майора М. Е. Катукова, противник, имея большие силы на узком участке, продолжал продвигаться вперед.

Именно в этот день и ночь совершили свой подвиг 28 панфиловцев, отражая удар врага. А через два дня здесь же, на этом направлении, 18 ноября погиб и сам генерал Панфилов.

Противник, несмотря на превосходство в силах, все же почувствовал, что ему не удастся пробиться на Волоколамском направлении. Поэтому, продолжая наступать здесь, он перенес направление своего главного удара южнее Волжского водохранилища.

Генерал Рокоссовский, на 16-ю армию которого ринулась мощная 4-я танковая группа Гёпнера, заметил некоторое ослабление действий противника вдоль Волоколамского шоссе и не сомневался, что противник ищет и обязательно ударит где-то в новом месте. Оценивая местность и группировку наступающих, он предвидел, что вероятнее всего они нанесут удар южнее водохранилища, а там положение наших войск может быть очень устойчивым. Как пишет в своих воспоминаниях Рокоссовский: «Само водохранилище, река Истра и прилегающая местность представляли прекрасный рубеж, заняв который заблаговременно, можно было, по моему мнению, организовать прочную оборону, притом небольшими силами... Всесторонне все продумав и тщательно обсудив со своими помощниками, я доложил наш замысел командующему фронтом (то есть Жукову. — **В. К.**) и просил его разрешить отвести войска на истринский рубеж, не ожидая, пока противник силою отбросит туда обороняющихся и на их плечах форсирует реку и водохранилище».

Жуков не посчитался с мнением Рокоссовского и приказал не отходить ни на шаг и удерживать занимаемый рубеж. Как видим, и у Жукова бывали моменты, когда он мог закусить удила и вопреки здравому смыслу, не считаясь с предложением такого опытного командующего, каким был Рокоссовский, настаивать на своем.

Понимая, что если части 16-й армии на этом участке не устоят, то путь на Москву будет открыт, и это возлагает на него как командующего армией огромную ответственность, Рокоссовский решил послать телеграмму начальнику Генерального штаба Шапошникову, мотивировав в ней свое предложение. Вскоре он получил ответ, что Генеральный штаб разрешает ему осуществить принятое решение. Однако не успели Рокоссовский и его штаб отдать соответствующие распоряжения частям, как пришел грозный письменный приказ Жукова:

«Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков».

В этих коротких строках наглядно проявился жуковский характер: его темперамент и его крутость. Но в данном случае он оказался не прав. Войска не удержали подступы к водохранилищу, противник отбросил их и, как предвидел Рокоссовский, на плечах отступающих переправился на восточный берег реки Истры и захватил там плацдармы.

Вы, наверное, не раз встречали в военной литературе это образное и не совсем военное выражение «на плечах». Что же это означает в действительности? А это значит, что войска отходят или даже бегут, противник их давит танками, расстреливает из пулеметов, артиллерией, врывается прямо в боевые порядки, в гущу вот этих бегущих людей, когда они находятся вне траншей, не имеют на огневых позициях пулеметов и артиллерии. Практически в этом случае наступающая сторона чаще всего даже опережает отступающую и выходит на следующий рубеж раньше, чем его успеет занять отходящий.

Такое положение сложилось и в районе водохранилища. А если бы Жуков согласился с Рокоссовским, то потерь не было бы, войска, переправившись на восточный берег канала, успели бы там закрепиться и оттуда, из-за водной преграды, скорее всего остановили бы врага.

Рокоссовский по этому поводу пишет: «Не только мы, но и весь Западный фронт переживал крайне трудные дни. И мне была понятна некоторая нервозность и горячность наших непосредственных руководителей. Но необходимым достоинством всякого начальника является его выдержка, спокойствие и уважение к подчиненным. На войне же — в особенности. Поверьте старому солдату: человеку в бою нет ничего дороже сознания, что ему доверяют, в его силы верят, на него надеются... К сожалению, командующий нашим Западным фронтом не всегда учитывал это».

В этих словах звучит явный упрек Георгию Константиновичу за те потери, которые понесли войска, и боль за дело, которому повредила вспыльчивость Жукова.

Но можно понять и Жукова. Имея ограниченное количество войск и организовав оборону лишь на отдельных направлениях, он понимал: если противник разгадает его замысел, то может в любой момент отказаться от наступления на удобных танкодоступных направлениях и пойти правее и левее, там, где, по сути дела, войск у Жукова нет совсем. И тогда судьба Москвы была бы решена, тогда он, Жуков, не отстоял бы Москву. Этим объясняются его нервозность и его нетерпимость к каким бы то ни было отклонениям от его решения. А решение это звучало коротко: стоять насмерть на занимаемых позициях, там, где подготовлена оборона!

* * *

29 ноября гитлеровские войска прорвались через канал Москва — Волга в районе Яхромы. Это была очень серьезная опасность, так как противнику удалось преодолеть водный рубеж, на который опиралась оборона 16-й армии Рокоссовского. Надо было немедленно бросать все силы для того, чтобы отразить этот прорыв.

И вот в этот момент произошел очередной, так сказать, каприз Сталина. Кто-то ему доложил о том, что гитлеровцы овладели городом Дедовск. А Дедовск — это уже в непосредственной близости от Москвы. Сталин немедленно позвонил Жукову:

— Вам известно, что занят Дедовск?

— Нет, товарищ Сталин, неизвестно.

Сталин сказал раздраженно:

— Командующий должен знать, что у него делается на фронте. Немедленно выезжайте на место, лично организуйте контратаку и верните Дедовск.

Жуков понимал: очень не ко времени будет его отлучка из штаба, когда на других участках идут такие напряженные бои.

— Покидать штаб фронта в такой напряженной обстановке вряд ли осмотрительно, — произнес он.

Но Сталин еще более раздраженно бросил:

— Ничего, мы как-нибудь тут справимся, а за себя оставьте на это время Соколовского.

Не понимая причин раздражения Верховного, почему его так взвинтило известие об оставлении Дедовска, Жуков позвонил Рокоссовскому. Выяснилось, что город Дедовск находится в наших руках, а Сталину, видимо, доложили о деревне Дедово, которая находится гораздо западнее и ничего общего с Дедовском не имеет. Жуков тут же позвонил Верховному и пытался объяснить, что его неправильно информировали. Но раздражение у Сталина, как это часто бывало и раньше, лишило его благоразумия, он уже ничего не хотел слышать и, рассвирепев еще больше, потребовал от Жукова немедленно выехать к Рокоссовскому, да еще прихватить с собой командующего артиллерией 5-й армии Говорова и предпринять все для того, чтобы отбить Дедовск.

Жуков понял, что разговоры напрасны, и, переживая, что в такое горячее время приходится оставлять командный пункт фронта, выехал к Рокоссовскому. Оттуда они вместе прибыли к А. П. Белобородову, командиру 9-й гвардейской стрелковой дивизии, которая вела бои в районе Дедовска.

Как рассказывает генерал Белобородов, он сначала не мог понять, что произошло, когда вдруг в полночь к нему на командный пункт прибыли Жуков, Рокоссовский и другие высокие начальники. Он доложил обстановку на своем участке: ничего экстраординарного на фронте его дивизии в тот момент вроде бы не происходило. Далее он сказал, что утром намерен атаковать Селиваниху силами 40-й стрелковой бригады. Злополучное Дедово находилось дальше за Селиванихой, поэтому Жуков сказал:

— Поставьте 40-й бригаде более глубокую задачу, чтобы она овладела еще и деревней Дедово.

Белобородов ответил:

— Есть поставить более глубокую задачу!

Но по лицу его было видно, что он не уверен в том, что бригада способна выполнить этот приказ: сил-то маловато.

Поняв его, Жуков усмехнулся и сказал:

— Я не как ревизор к вам приехал. В ваше подчинение передаю 17-ю и 145-ю танковые бригады, батальон 49-й стрелковой бригады. Хватит сил для Селиванихи?

— Вполне! — продолжая недоумевать по поводу происходящего, ответил Белобородов.

— И для Дедово хватит?

— И Дедово возьмем, конечно, с такими силами.

— О взятии этой деревушки лично доложите мне в штаб фронта.

Дедово вскоре было взято, но, как и ожидал Жуков, его отсутствие на командном пункте не обошлось без последствий. Раздался звонок в блиндаже Белобородова, трубку снял Рокоссовский. Как только он услышал то, что сказал начальник штаба его армии генерал Малинин, то, несмотря на всю свою выдержку, побледнел.

Жуков заметил это и спросил:

— В чем дело?

— Каменку сдали. Фашисты прорвались в Крюково...

Жуков вскочил, решительно застегнул шинель и сказал:

— Немедленно едем отбивать Крюково.

Крюково сегодня хорошо известно всем москвичам да и многим экскурсантам, приезжающим в столицу. Там, у мемориала защитникам этого направления, стоят большие противотанковые ежи. Крюково в нынешние дни — это уже почти окраина Москвы. Очевидно, Крюково — самый ближний к Москве населенный пункт, к которому продвинулись немецкие войска в годы войны.

* * *

Здесь следует сказать о том, что Ставка, поручив отстаивать Москву Западному фронту и отдав ему все, что было в ее распоряжении в тот момент, когда прибыл Жуков, наряду с этим формировала и стратегические резервы в глубоком тылу, а именно три новые армии: 1-ю ударную, 20-ю и 30-ю.

Командующим 1-й ударной армии был назначен генерал-лейтенант В. И. Кузнецов. Армия формировалась в Уральском военном округе и была укомплектована призывниками из Сибири, Урала, Горьковской области и Москвы. В ее составе были также стрелковые бригады из моряков Тихоокеанского флота и курсантские бригады. Всего к началу декабря в составе 1-й ударной армии было восемь стрелковых бригад, двенадцать лыжных батальонов, пушечно-артиллерийский полк, один танковый батальон. Этой армии были также подчинены ранее сформированные 126-я, 133-я стрелковые и 17-я кавалерийская дивизии. В частях было очень мало артиллерии и танков, но боевой дух и боевая способность армии были достаточно высокие. Как было запланировано, эти армии сосредоточили под Москву, но держали там до последнего, до самых критических минут.

Такие критические минуты на участке, где находилась 1-я ударная армия, возникли тогда, когда противник переправился через канал Волга — Москва. Командарму Кузнецову Сталин приказал:

— Прорыв обороны в районе Яхромы и захват противником плацдарма на восточном берегу канала представляют серьезную опасность Москве. Примите все меры к нанесению контрудара по прорвавшейся группировке противника. Остановите продвижение, разгромите и отбросьте противника за канал. На вас возлагаю личное руководство контрударом.

Располагая свежими силами, Кузнецов выполнил это приказание Ставки, и к 8 часам утра 29 ноября враг был разгромлен и отброшен за канал.

Еще одна новая, 20-я, армия была сформирована в конце ноября. Ее командующим был назначен генерал-лейтенант Власов. (Да, да, тот самый Власов!). Начальником штаба этой армии был генерал Л. М. Сандалов. В состав армии были включены две свежие дивизии, прибывшие из восточных округов, морская стрелковая бригада, две стрелковые бригады из Московской зоны обороны и еще две танковые бригады с Западного фронта, артиллерийский полк, два гвардейских минометных дивизиона и бронепоезд. Как видим, и в этой армии почти не было артиллерии. Штаб армии располагался в Химках.

Еще в момент сосредоточения частей 20-й и 1-й ударной армий противник, предпринимая последние усилия в попытках прорваться к Москве, нанес удар, который пришелся в стык между 1-й ударной и 20-й армиями, занял Красную Поляну и вышел к Савеловской железной дороге у станции Лобня и севернее. Конечно, для выдвигающихся частей 20-й армии появление противника было неожиданно. Но и для наступающего противника встреча здесь со свежими частями тоже оказалась весьма неожиданной.

2 декабря всем частям 20-й армии, которые успели сосредоточиться, было приказано нанести контрудар в направлении Красной Поляны, что и было сделано. Здесь, в районе Красной Поляны, немногочисленные еще части 20-й армии захватили несколько крупнокалиберных орудий противника, которые были доставлены сюда для обстрела Москвы.

Еще одна резервная — 10-я — армия, которой было поручено командовать генералу Ф. И. Голикову, создавалась из резервных частей Московского военного округа. В ней было девять вновь сформированных дивизий, а когда она прибыла в район сосредоточения под Тулу, в нее были включены вышедшие из окружения 239-я стрелковая и 41-я кавалерийская дивизии. Таким образом, всего в ней было одиннадцать дивизий, и она подкрепляла южный фланг обороны Москвы в районе Рязани и Тулы. Почти весь личный состав был призван из запаса и был не очень хорошо обучен. Армия была сформирована в течение трех недель, из них 14—15 суток личный состав обучался по 12 часов ежедневно. Эта 10-я армия была нацелена против войск 2-й танковой армии Гудериана.

* * *

Фельдмаршал фон Бок, рассуждая вполне логично, построил свой боевой порядок следующим образом: главный удар он наносил на Москву с севера, там, где войска ближе всего подошли к нашей столице. Здесь наступала 9-я армия генерал-полковника Штрауса и две танковые группы — Гёпнера и Рейнгардта, собранные в единый мощный танковый кулак. С юга на Москву били 2-я армия генерал-полковника Вейхса и 2-я танковая группа Гудериана. В центре прямо на Москву шла 4-я армия генерал-фельдмаршала Клюге; ей отводилась тоже активная наступательная роль, но все же главные усилия возлагались на обходящие фланговые группы.

Как мы видели, на севере таранная группа с многочисленными танками имела успех и уже переправилась через канал Москва — Волга. Таким образом, новое наступление, начатое фон Боком, развивалось хоть и медленно, но успешно: войска продвигались и на Клинско-Солнечногорском, и на Наро-Фоминском, и на Тульском направлениях.

Фельдмаршал Бок лучше, чем кто-либо другой, знал, какой ценой достаются его войскам их успехи. Но он знал, что бесконечно так продолжаться не может и силы войск скоро иссякнут. Для того чтобы ускорить продвижение войск там, где оно больше всего обозначилось, а именно на северном участке, фон Бок выезжает туда, чтобы своим присутствием подбодрить войска и показать, как уже близка победа.

А в «Волчьем логове», между тем, при очередном разговоре с Гальдером Гитлер, воодушевленный продвижением войск в новом наступлении, сказал начальнику Генштаба, чтобы он напомнил Боку о ранее поставленных целях: не только о взятии Москвы, но выходе к Ярославлю, к Рыбинску, а может быть, и к Вологде. Гальдер тут же сообщил фон Боку это пожелание фюрера, но Бок, не скрывая злости, ответил: «А где же я возьму войска?»

И все же Гальдер, высоко оценивая личное мужество фон Бока, 22 ноября записал в своем дневнике: «Фельдмаршал фон Бок лично руководит ходом сражения под Москвой с передового командного пункта. Его неслыханная энергия гонит войска вперед. Правда, на южном фланге и в центре 4-й армии продвижения больше не получится, войска здесь совершенно измотаны и неспособны к наступлению. Однако на северном фланге 4-й армии и у 3-й танковой группы имеется еще возможность успеха, и она используется самым решительным образом. Фон Бок сравнивает сложившуюся обстановку с обстановкой в сражении на Марне, указывая, что создалось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения».

А Бок тем временем прибыл на самый передовой наблюдательный пункт и, как он уверял, видел Москву в бинокль. В Красную Поляну были подвезены орудия большой мощности для обстрела Москвы. Фон Бок ждал, что советская оборона рухнет не то чтобы со дня на день, а просто с часа на час. Его очень обрадовало известие о том, что в районе Яхромы Рейнгардт захватил плацдарм, переправившись через канал.

Но эта радость была недолгой. Вскоре пришла весть о том, что части Рейнгардта выбиты с того берега. Фон Бок понимал, что наступление захлебывается. Он был опытный вояка и почувствовал, что уже имеет дело не только с ранее оборонявшимися частями, что появились и какие-то новые силы. Он понял: нависает катастрофа. Фон Бок был близок к отчаянию. И в этот момент ему позвонил начальник оперативного отдела Генштаба Хойзингер:

— Фюрер хочет знать, когда можно будет объявить об окружении Москвы?

Бок не стал с ним говорить и потребовал к телефону главнокомандующего Браухича.

Интересный разговор состоялся между фон Боком и Браухичем.

Бок: Положение критическое. Я бросаю в бой все, что у меня есть, но у меня нет войск, чтобы окружить Москву... Я заявляю, что силы группы армий «Центр» подошли к концу.

Браухич: Фюрер уверен, что русские находятся на грани краха. Он ожидает от вас точного доклада: когда же этот крах станет реальностью?

Бок: Командование сухопутных войск неправильно оценивает обстановку...

Браухич: Но за исход операции отвечаете вы!..

Бок: Верховное командование просчиталось. Прошу доложить фюреру, что группа не может достичь намеченных рубежей. У нас нет сил. Вы меня слышите?

Браухич: Фюрер хочет знать, когда же падет Москва?

Понимая, что Браухич или умышленно не слышит его или боится услышать, чтобы потом не сообщать неприятные вести Гитлеру, фон Бок после разговора по телефону послал ему еще телеграмму такого же содержания.

В общем, как видим, фон Бок понял, что катастрофа произошла. Словно добивая, 3 декабря, в день его рождения, ему со всех сторон стали докладывать: наступление прекратилось. Гёпнер известил, что его танковая группа выдохлась окончательно, 2-я армия докладывала о том же, Гудериан прямо сказал о провале наступления.

5 декабря Гудериан получает разрешение на отход. Рейнгардту фон Бок дает согласие на переход к обороне, Клюге разрешается отойти. Это был крах, бесславный конец операции «Тайфун».

Мне хочется в заключение привести один эпизод, который логически завершает наступление гитлеровцев на Москву. Я имею в виду ближе всего прорвавшихся к нашей столице разведчиков противника. Это были последние шаги грандиозно задуманного «блицкрига», последняя затухающая искра «молниеносной войны». По-разному выглядит в устных рассказах этот эпизод, да и в печать он попал тоже в разных вариантах. Не буду приводить эти варианты, но вот недавно, в октябре 1988 года, журналист Лев Колодный на страницах «Московской правды» коснулся и этого случая. Он разыскал тех, кто участвовал в стычке с прорвавшимися к Москве подразделениями немцев. Это, видимо, были передовые разведывательные части, которые прорвались, когда был нанесен удар танковыми группами и полевой армией на Москву с севера. Подполковник в отставке А. Мишин рассказал, что он служил тогда в дивизии НКВД им. Дзержинского, задачей которой была борьба с фашистскими авиадесантами. Она была своеобразным маневренным резервом в районе Минского, Волоколамского и Ленинградского шоссе. И вот 16 октября поступила радиограмма о необходимости выдвинуться в район Крюкова и уничтожить противника. 1-я рота во главе с лейтенантом И. И. Стрепко, выполняя этот приказ, встретила в районе моста в Химках мотоциклистов. Они сначала подумали, что это наши мотоциклисты, но те вдруг открыли по ним огонь, и тогда стало ясно, что это гитлеровцы.

Наши танкисты тоже открыли пулеметный огонь и уничтожили два экипажа мотоциклистов, а три по пешеходной дорожке моста, прикрываясь от огня фермами, прорвались к водной станции «Динамо» и были здесь уничтожены. Как они прорвались — по дороге или по бездорожью — было непонятно, но факт остается фактом. Эти мотоциклисты, прорвавшиеся к водной станции «Динамо», и были самыми первыми и последними из гитлеровцев, кто добрался до самой Москвы.

НА ТОЙ СТОРОНЕ, ДЕКАБРЬ 1941 ГОДА

В «Волчьем логове» стратегическое положение на Восточном фронте все еще не считалось катастрофическим. Вот любопытная немецкая разведывательная сводка тех дней, которая суммированно оценивала состояние и возможности Красной Армии: «...боевая численность советских соединений сейчас слаба, оснащение тяжелым оружием и орудиями — недостаточно. В последнее время вновь сформированные соединения появляются реже; чаще отмечается переброска отдельных воинских частей со спокойных участков фронта на близлежащие кризисные участки. Судя по этому, сколько-нибудь значительные сформированные соединения в настоящее время отсутствуют в резерве. Ввиду того, что с Дальнего Востока на Западный фронт уже были переброшены двадцать три стрелковых, одно кавалерийское и десять танковых соединений, ожидать прибытия частей с Дальнего Востока в ближайшее время не приходится, правда, могут быть переброшены части с Кавказа. Однако и там новые соединения, кроме уже известных, до сих пор зарегистрированы не были».

Вот так немецкая разведка, как говорится, проморгала три новые мощные армии, которые были сформированы Ставкой.

В «Волчьем логове» и в Генеральном штабе, основываясь на успокоительных данных своей разведки, надеялись спокойно перенести катастрофу, произошедшую под Москвой, и подготовить свои войска к дальнейшим операциям в той паузе, которая, как они считали, наступила. Верховное главнокомандование разработало специальную директиву № 39, которую Гитлер подписал 8 декабря 1941 года. Как говорится,

сохраняя хорошую мину при плохой игре, игнорируя провал наступления на Москву и ни слова не говоря о начавшемся нашем контрнаступлении, фюрер спокойно заявлял: «Преждевременное наступление холодной зимы на Восточном фронте и возникшие в связи с этим затруднения в подвозе снабжения вынуждают немедленно прекратить все крупные наступательные операции и перейти к обороне...»

Что это? Незнание обстановки? Желание поддержать боевой дух своей армии? На фронте гонят гитлеровские дивизии в хвост и в гриву, они отступают, бросая тяжелую технику, раненых и обмороженных, а фюрер спокойно рассуждает о «затруднениях» в связи с «преждевременным наступлением холодной зимы...».

Может быть, Гитлер действительно не знал всей правды? Вспомним первые дни войны, когда Сталин лихо приказывал нашим армиям перейти в наступление, изгнать вторгшегося на нашу землю врага и выйти аж к Варшаве и в глубь Восточной Пруссии! Но у гитлеровского командования — в отличие от нашего — информация о положении своих войск была более точной. Желание замолчать постигшую катастрофу было умышленным, рассчитанным психологическим маневром. Об этом свидетельствуют немецкие документы.

В директиве главнокомандующего сухопутными войсками Браухича, которую он подписал в тот же день, что и Гитлер директиву № 39, 8 декабря, кроме «снегопадов», «холодов» и одержанных «больших побед», значится: «Однако главная цель — окончательно вывести Россию из строя в военном отношении — все еще стоит перед нами». Поэтому Браухич озабочен сохранением главнейшего качества, необходимого для дальнейших боев, а именно «морального духа и стойкости войск», для чего нужны «неутомимая забота о войсках и постоянное моральное воздействие на солдат». Вскоре Гитлер отдает группе армий «Центр» еще один спокойный и «мягкий» приказ: «Лишь после того, как на тыловые отсеченные позиции прибудут резервы, можно будет подумать об отходе на эти позиции». Только «подумать»! А на фронте в эти часы идет стремительный отход, вернее откат немецких частей.

В дни подобных кризисных ситуаций, мне кажется, очень любопытно заглянуть в стан противника, в верхний эшелон руководства. Реальные события, происходившие там, можно восстановить по записям телефонных и обычных разговоров, по тем немецким документам, которыми я располагаю.

Поздно вечером 16 декабря из Берлина позвонил в штаб группы армий «Центр» главный адъютант фюрера полковник Шмундт и сообщил:

— Фюрер отстранил от дел главнокомандующего сухопутными силами фельдмаршала Браухича. Прошу теперь непосредственную связь с фюрером поддерживать через меня.

Фельдмаршал фон Бок понял, что начинаются поиски «козлов отпущения», на всякий случай он подробно изложил Шмундту новые обстоятельства резкого ухудшения обстановки и спросил:

— Достаточно ли ясно генерал-фельдмаршал фон Браухич обрисовал фюреру всю серьезность обстановки и передал ли он мое мнение, что если группа армий не отойдет, то существует опасность ее полного разгрома?

Шмундт ответил:

— Главнокомандующий сухопутными силами не сообщал фюреру мнения командования группы армий.

Бок тут же зачитал свое донесение от 13 декабря: «...Вопрос, который ждет своего решения, выходит за рамки чисто военной стороны дела. Фюрер должен решить: или группа армий остается на этих рубежах, что влечет за собой опасность ее разгрома, или она должна отойти, что также таит в себе опасность. Если он решит отходить, то должен знать, что еще сомнительно, имеется ли в тылу достаточно сил, чтобы удерживать неподготовленные и, по существу, такие же по протяженности позиции. Небольшие обещанные мне подкрепления подходят так медленно, что они не сыграют при этом решении существенной роли».

И еще Бок добавил:

— Причина, по которой сомнительно, чтобы войска смогли удержаться на новом неподготовленном рубеже, достаточно ясна, так как в связи с нехваткой горючего и обледенением дорог я лишусь моторизованных соединений, а также артиллерии на конной тяге... Что касается приказа фюрера держаться, то я боюсь, что войска все же будут отходить и приказ не будет выполнен.

Шмундт на это сказал:

— Фюрер взял все в свои руки, и будет сделано все возможное, чтобы обеспечить удержание занимаемых рубежей. Достойно сожаления, что фюрер, как выяснилось, до сих пор не был правильно информирован о серьезности обстановки на фронте.

Бок ответил ему:

— Фюрер должен знать, что здесь идет игра ва-банк. В его приказе говорится, что я должен использовать все наличные резервы, чтобы закрыть бреши. У меня больше нет резервов. Я прошу вас снова доложить об этом фюреру. Сегодня перебросил из тылового района два полицейских батальона. Это и есть мои «резервы», больше у меня ничего нет.

— Я сразу же доложу фюреру об этом разговоре, — пообещал Шмундт.

Помедлив, Бок сказал:

— Вы знаете, что состояние моего здоровья оставляет желать много лучшего. Если фюрер считает, что здесь нужны свежие силы, он не должен ни при каких обстоятельствах считаться со мной. Я прошу вас об этом также доложить фюреру. Поймите меня правильно: это не угроза, а исключительно констатация факта.

— Я доложу фюреру и об этом, — был ответ.

Главный адъютант выполнил обещание. Фюрера, видимо, обеспокоила не столько болезнь фон Бока, сколько его подавленное состояние. Он тут же позвонил фон Боку:

— Мне передали донесение, которое вы направили генерал-фельдмаршалу фон Браухичу от 13 декабря. При существующем положении нет никакого смысла отступать на неподготовленные, недостаточно оборудованные позиции, особенно если учесть, что придется оставить артиллерию и большое количество материальных запасов и тем более, что через несколько дней можно оказаться в подобной же ситуации, только без тяжелого оружия и артиллерии. Таким образом, существует только одно решение — ни шагу назад, закрыть бреши и удерживать занимаемые рубежи.

Бок доложил:

— Мною отдан приказ в этом духе, но обстановка настолько напряженная, что фронт группы армий в течение часов может быть где-то прорван.

Фюрер ответил:

— Тогда я буду вынужден с этим считаться.

18 декабря генерал-фельдмаршал фон Бок был освобожден от командования группой армий «Центр», ее новым командующим стал генерал-фельдмаршал фон Клюге, до этого командовавший 4-й армией.

Смена командующих не повлияла на ход событий — войска продолжали отступать, а точнее, их вышибали советские части.

Став после снятия Браухича главнокомандующим сухопутными войсками, Гитлер тотчас же отдал группе армий «Центр» грозное указание: «Недопустимо никакое значительное отступление, так как оно приведет к полной потере тяжелого оружия и материальной части. Командование армиями, командиры соединений и все офицеры своим личным примером должны заставить войска с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции, не обращая внимания на противника, прорывающегося на флангах и в тыл наших войск. Только такой метод ведения боевых действий позволит выиграть время, которое необходимо, чтобы перебросить с родины и с Запада подкрепления, о чем мною уже отдан приказ...».

Если выше я говорил о высокой штабной культуре, четкости и ясности немецких боевых документов, то первый же приказ Гитлера в должности главнокомандующего сухопутными войсками, даже один приведенный выше абзац свидетельствует о растерянности, порождающей бессмыслицу в военном отношении. Как можно вести боевые действия, не обращая внимания на противника, прорывающегося на флангах и в тылы? Это нечто новое не только в военной теории, но даже и среди курьезов из военной жизни. Что касается «фанатического упорства», то оно осталось, пожалуй,

лишь у самого Гитлера и немногих к нему приближенных. В журнале боевых действий 3-й танковой группы, который еще недавно заполнялся записями о скором вступлении на улицы Москвы, теперь были другие слова. Прежде чем их привести, хочу отметить, что это не эмоциональный всхлип какого-то обессилевшего человека, это выписка из официального штабного документа! «Можно видеть, как бредут порознь солдаты, тащатся то за санями, то за коровами... Солдаты производят отчаянное впечатление... Просто невозможно придумать, как удержать фронт».

Гитлер, не веря никому, послал на фронт своего главного адъютанта полковника Шмундта. Тот, возвратясь, доложил, что группа армий «Центр» на грани полного развала. Но и после этого Гитлер продолжал требовать от войск беспрекословного выполнения своего «стоп-приказа». Он никак не хотел ни понять, ни примириться с тем, что происходит. Скажу еще раз: в этом он был очень похож на Сталина, который часто, не воспринимая реальной обстановки, исходил из того, что ему хотелось бы видеть.

Надеясь своей непреклонностью и жестокостью напугать генералов и войска, Гитлер снимает с должностей многих генералов, ие считаясь с их опытом и прошлыми заслугами. За короткое время отстранены: главнокомандующий сухопутными войсками Браухич, командующие группами армий — фельдмаршал фон Рундштедт («Юг»), фельдмаршал фон Бок («Центр»), фельдмаршал фон Лееб («Север»), командующие армиями: Штраус и другие, всего больше сорока военачальников верхнего эшелона. В эти дни фюрер, как вспоминают близкие к нему тогда люди, и прежде вспыльчивый и раздражительный, стучал кулаками по столу, кричал на генералов, что они не умеют воевать! А вечером в кругу самых близких, за чаем, утешал себя: «Переносить победы может всякий. Поражения — только сильный!»

Особую злость проявил Гитлер при снятии Гёпнера, который ближе всех был к Москве и так перечеркнул все радужные надежды фюрера. 26 декабря был отстранен от должности и направлен в резерв бывший любимчик Гудериан, который не выполнил «стоп-приказ» Гитлера и ради сохранения войск отвел их назад без приказа главного командования.

30 декабря произошел такой разговор по телефону между начальником Генерального штаба Гальдером и новым командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом Клюге, который доложил:

— Русские снова прорвали оборону 4-й армии: в полосе 98-й дивизии русские перешли Протву и заняли Анисимовку. В полосе 15-й дивизии русские взяли Климкино и прорываются в направлении на Боровск.

Гальдер усомнился:

— Нет ли преувеличений в оценке обстановки?

Клюге ответил:

— Все абсолютно точно. Дивизии не могут больше удерживать свои позиции. Отход должен быть осуществлен сегодня ночью. Приказы об этом должны быть отданы сегодня днем.

Неожиданно в разговор вступил фюрер, он слушал предыдущий разговор по своему телефону. Фюрер спросил:

— Сколько материально-технических средств будет потеряно предположительно при этом отступлении?

Клюге ответил:

— Я надеюсь, что не много. Чем скорее будет принято решение, тем меньше материально-технических средств будет потеряно.

Фюрер вскипел:

— Отступлению не видно конца, так можно отступить и до Днепра или до польской границы. Непонятно, почему отступает весь фронт, если противник не наступает по всему фронту?.. Преимущество сокращенной линии фронта, которое достигается при отходе, ничего не стоит из-за потерь в материально-технических средствах. Кроме того, за нынешними позициями не видно каких-либо других позиций, которые бы представляли возможность обеспечить фланги... Ввели ли русские в бой тяжелую артиллерию?

Клюге дал отрицательный ответ. На это фюрер заметил:

— Я, видимо, отсталый человек, так как во время первой мировой войны не раз был свидетелем того, как войска подвергались ураганному

обстрелу артиллерии и, несмотря на это, даже если их оставалось только десять процентов прежнего состава, удерживали свои позиции.

— Не следует забывать, что в противоположность мировой войне во Франции здесь, на Востоке, боевые действия ведутся теперь при температуре 20—30 градусов мороза, — ответил Клюге.

— По донесениям, которые я получил, число случаев обморожения не очень высоко: около 4 000, — возразил Гитлер.

Клюге на это сказал:

— Войска как физически, так и духовно утомлены, а случаев обморожения значительно больше, чем указывается в ежедневных сводках штаба группы армий. Командир корпуса заявил, что если 15-й дивизии будет приказано удерживать позиции, то вследствие чрезмерного изнурения войска не смогут это сделать.

Фюрер произнес:

— Если дело обстоит так, то это конец немецкой армии...

Некоторое время собеседники молчали. Затем Гитлер сказал:

— Я позвоню вам позднее.

И действительно позвонил примерно через час, но опять потребовал: «Не отходить!»

Гитлер ни за что не хотел отводить войска с достигнутых рубежей, он надеялся восстановить их боеспособность и все же завершить свои планы, осуществление которых до Москвы шло так удачно.

Однако здесь-то и проявился тот просчет, который мы называем уже примелькавшимся словом — авантюризм. Этот термин мы применяли по отношению к военной политике фашистской Германии часто, но не всегда, на мой взгляд, обоснованно. В словаре русского языка слово «авантюризм» объясняется как «дело, начатое без учета реальных сил и условий, в расчете на случайный успех». Исходя из этого определения, вряд ли можно назвать стратегические цели Гитлера в войне против Польши, Франции и других европейских стран авантюристическими, раз все они осуществились: армии противника были разбиты, территории государств завоеваны. Если бы он на этом остановился, может быть, и по сей день Европа находилась бы под гитлеровским владычеством...

Но вот что безусловно — это то, что авантюризм стратегии Гитлера проявился в битве под Москвой, когда стало ясно, что средств для достижения поставленных целей не хватило. И здесь Гитлер, конечно, тоже не рассчитывал на «случайный успех». И он сам, и генштаб верили в свои расчеты. «Блицкриг» оказался авантюрой не по замыслу, а по исполнению, по тому, что не были приняты во внимание противостоящие «реальные силы», то есть силы нашего народа, нашей страны.

Ах, как заметался Гитлер после поражения под Москвой! Он убеждал, угрожал, уговаривал, играл на самолюбии генералов, лишь бы остановить войска на достигнутых рубежах. Он еще раз звонит Клюге:

— Сделайте все возможное, иначе войска займут новые позиции в еще более плачевном состоянии, нежели то, в котором они сейчас.

Клюге юлит, не может сказать прямо, что удержаться на занимаемых позициях невозможно, что их фактически нет — войска отходят. Он боится гнева фюрера, но ему нужно официальное разрешение на отход, чтобы не сняли голову за невыполнение приказа Гитлера — удерживать занимаемые позиции.

С начальником генштаба Гальдером у фон Клюге уже другой тон и бо́льшая откровенность. Он спрашивает вечером 31 декабря:

— Одобрил ли фюрер отход 9-й армии?

Гальдер сообщил:

— Я еще не докладывал фюреру, но фюрер никогда не одобрит отход и, конечно, не отдаст такого приказа.

Клюге ответил:

— Фюрер должен наконец уяснить себе положение дел и, если, несмотря ни на что, он будет настаивать на своем, тогда должен отдать приказ держаться. В этом случае у меня отпадет забота каждый раз вновь указывать на критическое положение, но я буду вынужден доложить через восемь дней, что группа армий больше не существует.

Гальдер спросил удивленно:

— Неужели войска так мало способны к ведению оборонительных действий?

На это Клюге ответил:

— Вы же не знаете, как люди выглядят! Если бы мы, как я предлагал, отошли раньше, то все шло бы по плану и в полном порядке. Теперь этого нельзя гарантировать — дивизии разбиты. Нам все равно придется отступать, хотим мы того или нет!

Мне кажется, с противоположной стороны фронта очень хорошо видно, как умело бил Жуков армии противника. Он не давал им передышки ни на минуту. Несколько фельдмаршалов и наконец сам Гитлер, взявший на себя командование сухопутными войсками, ничего не могли противопоставить предприимчивым действиям армий Жукова. Он вцепился в них мертвой хваткой, не давал возможности оторваться, передохнуть, закрепиться на промежуточном рубеже. С точки зрения военного искусства это были блестящие контрудары, так как у Жукова не было превосходства в силах, которое необходимо для наступления. Три новые армии, выделенные Ставкой, прибавили мощи Западному фронту, но все же при подсчете соотношения сил они не давали нашей стороне необходимого превосходства: гитлеровцы имели живой силы в 1,5 раза больше, артиллерии — в 1,4, танков — в 1,6 раза больше.

Но все-таки войска шли вперед, те самые войска, которые выстояли в тяжелейших оборонительных боях. Наконец-то впервые за войну они шли вперед, чего так долго ждали вся армия и весь советский народ!

Значение московского сражения для Жукова как полководца он сам оценивал так:

— Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

О сражении под Москвой написано много специальных книг, много рассказывается о нем в воспоминаниях военачальников самых различных рангов. Но и по сей день, на мой взгляд, многочисленные описания этого сражения не обладают достаточной достоверностью.

Высказывались самые различные точки зрения на то, что произошло в начале декабря под Москвой. Одни называют это контрнаступлением, другие говорят, что контрнаступления фактически не было, а просто немцы начали отход и было преследование. Есть и третья, пожалуй, самая фантастическая версия, но в свое время бывшая довольно распространенной. Суть ее такова: будто бы Сталин, по примеру Кутузова, нарочно заманил немцев под Москву, где их заморозил, заставил голодать, а потом погнал вспять от столицы.

Я знаю одного из родоначальников этой версии. В те годы, когда я учился в Академии им. Фрунзе (я окончил ее в 1947 году), там же, только на курс старше, учился подполковник П. А. Жилин. Темой его дипломной работы было «Контрнаступление Кутузова в 1812 году». В этой работе и была проведена вышеуказанная параллель с современностью. Дипломная работа была замечена. Кто-то, видимо, рассказал о ней кому-то повыше. Жилин сразу после окончания академии назначается в военно-научный отдел Генерального штаба. Он защищает — на ту же тему — кандидатскую диссертацию, где еще и еще раз развивает мысль о преднамеренности отступления, то есть о сознательном заманивании противника в глубь страны, затем публикует книгу, созданную на основе диссертации. Книга попала на глаза Сталину. Он остался очень доволен тем, что так хорошо, по-научному, снимаются наши беды 41-го года и его личные промахи и ошибки. Оказывается, он действительно великий полководец всех времен и народов, это он специально заманил под Москву гитлеровцев, а не они загнали нашу армию к столице и до Волги. В 1952 году Жилину за книгу присваивается Сталинская премия. После этого его карьера, естественно, пошла в гору, он становится заместителем главного редактора «Военно-исторического журнала».

Позднее П. А. Жилин перестроился, как и вся наша историческая военная наука. Завершил он свой жизненный путь на высокой должности начальника Института военной истории Министерства обороны СССР. Он автор более 120 научных работ в области отечественной военной истории. Этим коротким экскурсом я не хочу как-то укорить П. А. Жилина. Пусть это были, как говорится, грехи его молодости, но что было, то было. Сказать об этом я считал нужным еще и потому, что Жилин был одним из тех, кто входил в группу по правке рукописи Жукова.

Есть еще одна точка зрения на московское сражение, тоже официальная, потому что автор ее в то время был начальником Главного политического управления армии. Я говорю о маршале Ф. И. Голикове. Он написал и издал в 1952 году, при жизни Сталина, книгу «Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне». О битве под Москвой там сказано так: «Гениальный полководец товарищ Сталин послал на фронт свежие, хорошо вооруженные, обученные войска. Сталинский план разгрома немецко-фашистских войск под Москвой обеспечил все необходимое для мощного контрнаступления. Красная Армия, оснащенная первоклассной техникой, ждала только приказа своего Главнокомандующего, товарища Сталина, чтобы перейти в контрнаступление. И в тот момент, когда гитлеровцы считали, что цель похода на Москву почти достигнута, советские войска обрушили на них свою могучую силу... Разгром немецко-фашистских войск под Москвой показал превосходство стратегического плана наступательных операций, разработанного товарищем Сталиным, над стратегией гитлеровцев».

Надо обладать немалым искусством, чтобы, говоря о грандиозном сражении за Москву, не написать ни слова правды! Ну, справедливости ради выделим одно верное выражение: «гитлеровцы считали, что цель похода на Москву почти достигнута», — все остальное неправда и подтасовка!

Было бы очень любопытно найти сегодня «гениальный стратегический план товарища Сталина». Но я абсолютно уверен, что никто и никогда его не найдет, потому что в природе такого плана, разработанного Сталиным, не существует.

Да и Жуков сам говорит о том, что плана контрнаступления, такого, какой обычно разрабатывается для проведения операции, по сути дела, не было.

Наиболее полно Георгий Константинович высказался на эту тему в беседе с работниками «Военно-исторического журнала» 13 августа 1966 г., когда в этом журнале готовилась статья Жукова «Контрнаступление под Москвой». Беседа эта была записана, и недавно бывший главный редактор журнала, генерал-лейтенант доктор исторических наук Н. Павленко опубликовал запись этой беседы. Приведу выдержки из нее, они довольно длинные, но надеюсь, что они помогут читателям получить наиболее достоверное представление о происходившем.

Сотрудники редакции, готовившие к печати статью Жукова, попросили уточнить, как он оценивал силы врага в этот момент. Жуков сказал: «Мною дана формулировка об истощении противника. Эта оценка касалась тех ударных группировок, которые наносили удар северо-западнее Москвы и в районе Тулы, на которые германским командованием была возложена задача сломить сопротивление на флангах фронта... Я исходил из того, что они, безусловно, для достижения этой цели выдохлись. И не случайно Гудериан отказался от продвижения и без приказа главного командования начал отходить... Северо-западнее командующий танковой армией Гёпнер также без приказа ставки Гитлера и без приказа командующего группой армий «Центр» начал отводить свои части... О полном истощении группы армий «Центр» я не говорю. Наоборот, я говорю, что мы начали свое контрнаступление, не имея превосходства. Речь идет только об истощении на флангах».

Второй вопрос, на который отвечал Жуков, касался вопроса о контрнаступлении. «Это действительно весьма неясный и запутанный вопрос. Когда мы в конце ноября и в начале декабря организовывали сопротивле-

ние противнику, затем применили более активную форму — контрудар наносили, в наших замыслах четко обоснованного мнения о том, что намечается такое контрнаступление, каким оно потом оказалось, не было. Это было осознано в полной мере тогда, когда события развернулись более благоприятно: с одной стороны, Гудериан начал пятиться, с другой — Гёпнер начал отходить. И когда контрудары 1-й ударной армии и группы Лизюкова начали отбрасывать противника, в порядке логического продолжения все это нарастало и в конце концов к восьмому декабря вылилось в более широкое контрнаступление... Но у нас нет такого приказа, где заранее, допустим, 30 ноября, 1 — 2 декабря отдали бы приказ на контрнаступление. Такого в классическом понимании начала контрнаступления, как это было, допустим, под Сталинградом, не было. Оно пошло как развитие контрударов. ...Когда фланги у противника были разбиты и противник начал поспешно отходить, представилась возможность за счет некоторых перегруппировок двинуться в центр... При переходе к контрударам и в контрнаступление мы ни одного солдата, ни одной пушки, ни одного пулемета в центральные армии не дали. А все наращивалось на флангах, потому что здесь были главные группировки противника. И их мы хотели в первую очередь измотать, обескровить, с тем, чтобы выйти скорее флангами вперед и этим самым поставить под угрозу центр».

Жукова спросили — нельзя ли разграничить во времени контрудар и контрнаступление, провести между ними рубеж?

Он ответил: «Его не было, такого резкого. Одно переплеталось с другим, одно вытекало из другого. Я думаю, надобности в академическом разграничении нет... Если бы противник оказал серьезное сопротивление нашим контрударам, никакого контрнаступления не состоялось бы. Ставке пришлось бы сосредоточивать новые силы и производить новые перегруппировки для того, чтобы сломить сопротивление противника. Тогда мы не обошлись бы 1-й и 10-й армиями...»

Вот как Жуков в своих воспоминаниях излагает последовательность событий:

«29 ноября я позвонил Верховному Главнокомандующему и, доложив обстановку, просил его дать приказ о начале контрнаступления. Сталин слушал внимательно, затем спросил:

— А вы уверены, что противник подошел к кризисному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-нибудь новую крупную группировку?

— Противник истощен. Но если мы сейчас не ликвидируем опасные вражеские вклинения, немцы смогут подкрепить свои войска в районе Москвы крупными резервами за счет северной и южной группировок своих войск, и тогда положение может серьезно осложниться.

Сталин сказал, что он посоветуется с Генштабом...

Поздно вечером 29 ноября нам сообщили, что Ставка приняла решение о начале контрнаступления и предлагает представить наш план контрнаступательной операции. Утром 30 ноября мы представили Ставке соображения военного совета фронта по плану контрнаступления, исполненному графически на карте с самыми необходимыми пояснениями... Я направил с планом только коротенькую записку Александру Михайловичу Василевскому: «Прошу срочно доложить народному комиссару обороны товарищу Сталину план контрнаступления Западного фронта и дать директиву, чтобы можно было приступить к операции, иначе можно запоздать с подготовкой».

К графическому плану была приложена объяснительная записка, как Жуков представлял себе проведение этих контрударов. На этом плане Сталин написал: «Согласен» и поставил подпись.

Вот такова правда о начале контрнаступления. Поэтому я так убежденно говорю, что никто никогда не найдет ни в каких архивах гениальный план Сталина по проведению контрнаступления под Москвой, о котором писал маршал Голиков, да и не только он один.

И инициатива контрударов, их замысел и осуществление принадлежат Георгию Константиновичу Жукову.

Я вовсе не хочу вступать в противоречия с маршалом Василевским, который в своих воспоминаниях пишет о том, что Ставка готовила контрнаступление. Разумеется, сама идея, что контрнаступление когда-то должно состояться, что для этого надо готовить стратегические резервы (и они готовились!), эта идея в Ставке Верховного Главнокомандования существовала. Но если бы Ставка продолжала собирать и сосредоточивать силы согласно этой своей идее, то случилось бы то, о чем говорил Жуков: немцы или закрепились бы очень прочно на достигнутых рубежах, или подтянули бы свежие силы из северных и южных группировок. А замысел Жукова в том и состоял, чтобы переходить в контрнаступление немедленно, наличными силами. При этом он понимал, что общее наступление по всему фронту, как это бывает обычно, здесь осуществлено быть не может, сил для этого недостаточно. Потому-то предлагаемое им контрнаступление должно было происходить и происходило так своеобразно.

В сущности, Василевский, определяя контрнаступление, говорит о тех же контрударах, что и Жуков, но поскольку в этой операции участвуют несколько фронтов и авиация Главного командования, то у Василевского есть основание называть все это контрнаступлением. Но по объективной оценке того, что происходило в действительности, общего контрнаступления все же не было, и Калининский, и Юго-Западный фронты лишь прибавляли еще по одному контрудару на своих участках для содействия Западному фронту.

Василевский вспоминает, что Конев, услыхав от него о приказе наступать, заявил, что Калининский фронт не располагает силами для наступления. Только после долгих убеждений Василевского Конев все же обещал нанести удар на Тургиново с целью прорвать оборону и выйти в тыл противнику. Как видим, речь идет лишь об одном ударе, чтобы выйти в тыл войскам, противостоящим фронту Жукова, и тем самым поколебать их устойчивость.

На Юго-Западном фронте, о включении которого в контрнаступление вспоминает маршал Москаленко, происходило следующее: «Говоря об особенностях контрнаступления против 2-й немецкой армии в районе Ельца, нужно прежде всего отметить, что оно началось с тех рубежей, на которые отошли наши войска только накануне вечером в ходе оборонительных боев. Иначе говоря, началось без предварительной подготовки и сосредоточения сил, прямо с ходу: вчера оборонялись, отступали, а сегодня перешли в наступление». Все участие Верховного заключалось в одном приказе — наступать! Как пишет Москаленко: «потребовалось, фигурально выражаясь, лишь повернуться через левое плечо и разить противника, под натиском которого мы еще вчера отступали».

Эти суждения крупных военачальников, на мой взгляд, склоняют нас согласиться с точкой зрения Жукова. И дело тут не только в разной терминологии: у Жукова — контрудары, у Василевского — контрнаступление, но и в том, что̀ подразумевается под этими понятиями.

Один из факторов, на который делал ставку Жуков, — это внезапность. Противник не ожидал, что советские части способны перейти к столь активным действиям. Из дневниковых записей Бока, Гальдера и других гитлеровских генералов видно: они считали, что Красная Армия уже не располагает силами, и намеревались спокойно использовать передышку для подготовки к новым операциям. Вот тут-то Жуков и преподнес им сюрприз!

Этим я хочу еще раз подчеркнуть, что именно Жуков придумал немедленные контрудары, а то большое, масштабное контрнаступление, которое готовила Ставка, требовало еще и много времени, и многих сил, и к тому моменту, когда бы его фундаментально подготовили, еще неизвестно, принесло бы оно такие же успехи, каких добился Жуков.

* * *

К сожалению, в описании и характеристике Московской битвы, как, впрочем, и других сражений Великой Отечественной войны, в книгах о войне, изданных до перестройки, встречается немало неправды и даже фальсификации. Даже в таких официальных научных изданиях, как, например, Большая Советская Энциклопедия, в статье «Московская битва» (2-е изд., т. 28, вышел в 1954 году) вы не найдете строк о том, что в битве этой руководил нашими войсками Г. К. Жуков.

В фундаментальной 12-томной «Истории второй мировой войны 1939 — 1945 гг.» о контрударах под Москвой в декабре 1941 года гово-

рится как о контрнаступлении. О роли Жукова вообще ничего не сказано. Все приписывается Ставке Верховного Главнокомандования: «К концу ноября в Ставке окончательно созрел замысел контрнаступления...». «Ставка заранее довела до командующих Западным и Юго-Западным фронтами общие задачи в контрнаступлении...» и т. д. Это было издано в 1975 году, то есть через девять лет после того, как были опубликованы процитированные выше слова Жукова о том, что сначала были контрудары, а потом уже — в январе — контрнаступление...

Почему же такое писалось? Если у вас есть под рукой эта «История...», откройте первую страницу любого из этих 12 томов, а если нет, я вам помогу: там указаны имена членов главной редакционной комиссии, консультантов, авторов каждого тома. Уважаемые имена: крупнейшие военачальники, ученые. А заместитель председателя главной редакционной комиссии — генерал-лейтенант П. А. Жилин, тот самый, который разрабатывал концепцию контрнаступления под Москвой как итог заманивания врага. Да, видно, очень трудно избавиться от инерции и в науке...

Итак, напомню: после того как 5 декабря ударил Калининский фронт (командующий И. С. Конев), 6-го — Юго-Западный (командующий С. К. Тимошенко) и 6 же декабря войска Западного фронта под командованием Жукова нанесли контрудары по главным группировкам противника севернее и южнее столицы, наши войска с тяжелыми боями пошли вперед. В начале января противник был отброшен от Москвы на рубеж Наро-Фоминск — Малоярославец — Сухиничи — Белев.

5 января 1942 года в Москве было созвано совещание Ставки по поводу того, что делать дальше после выхода войск на указанный рубеж.

Стенограммы на заседаниях Ставки не велись (в отличие от немцев, у которых каждое слово на всех совещаниях фиксировалось). Каких-либо документов (кроме директивы) или чьих-то записей я тоже не нашел, поэтому пересказываю по воспоминаниям Жукова с некоторыми сокращениями и моими комментариями.

Докладывал об обстановке и намечаемых действиях начальник Генерального штаба. Со свойственной ему рассудительностью он объективно оценивал обстановку, сравнивал силы сторон, предупреждал, что, несмотря на отступление от Москвы, гитлеровцы еще имеют возможность наносить сильные удары.

Сталин слушал Шапошникова с явным неудовольствием, его, видимо, раздражала медлительность, которая, как ему казалось, была не только в темпе речи начальника Генштаба, но и в действиях, которые он предлагал.

Наконец, Сталин прервал Бориса Михайловича:

— Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление. Враг рассчитывает задержать наше наступление до весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти к активным действиям. Он хочет выиграть время и получить передышку.

Никто из присутствовавших против этого не возразил, и Сталин продолжил:

— Наша задача состоит в том, — рассуждал он, прохаживаясь по своему обыкновению вдоль кабинета, — чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще д о в е с н ы...

На словах «до весны» он сделал акцент, немного задержался и затем разъяснил:

— Когда у нас будут новые резервы, у немцев не будет больше резервов...

Дальше Верховный изложил, как он понимает возможную перспективу войны, и наметил практические задачи отдельных фронтов. Его замысел был таков. Учитывая успешный ход подмосковного контрнаступления, целью общего наступления поставить разгром противника на всех фронтах — от Ладожского озера до Черного моря. Главный удар нанести по группе армий «Центр». Ее разгром осуществить силами левого крыла Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов путем двустороннего охвата с последующим окружением и уничтожением главных сил в районе Ржева, Вязьмы и Смоленска. Перед войсками Ленинградского, Волховского фронтов, правого крыла Северо-Западного фронта ставилась задача разгромить группу армий «Север». Войска Юго-Западного и Южного фронтов должны нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс, а Кавказский фронт и Черноморский флот — освободить Крым. Переход в общее наступление осуществить в крайне сжатые сроки.

Изложив этот проект, Сталин предложил высказаться присутствовавшим.

Слово попросил Жуков:

— На западном направлении, где создались более благоприятные условия и противник еще не успел восстановить боеспособность своих частей, надо продолжать наступление. Но для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой и усилить резервами, в первую очередь танковыми частями. Если мы это пополнение не получим, наступление не может быть успешным. Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести более мощное наступление.

— Мы сейчас еще не располагаем материальными возможностями, достаточными для того, чтобы обеспечить одновременное наступление всех фронтов, — поддержал Жукова Н. А. Вознесенский.

— Я говорил с Тимошенко, — сказал Сталин. — Он за то, чтобы действовать и на юго-западном направлении. Надо быстрее перемалывать немцев, чтобы они не смогли наступать весной. Кто еще хотел бы высказаться?

Ответа не последовало. Обсуждение предложений Верховного так и не состоялось.

Выйдя из кабинета, Шапошников сказал Жукову:

— Вы зря спорили: этот вопрос был заранее решен Верховным.

— Тогда зачем же спрашивали наше мнение?

— Не знаю, не знаю, голубчик! — ответил Борис Михайлович, тяжело вздохнув.

Вот с этого заседания Ставки 5 января 1942 года и начинается, на мой взгляд, всеобщее контрнаступление, по которому именно Ставка принимала решение и организовывала его осуществление. А еще точнее, даже не Ставка, а Сталин единолично, как это делал он много раз прежде. Подтверждение этому можно найти в позднейших словах Жукова:

«Что такое Ставка? Вот я был членом Ставки от первого до последнего дня войны. Собиралась ли когда Ставка для обсуждения вопросов? Нет. Кто в Ставке был, кто вел разговоры? Сталин. Ставка — это Сталин. Генеральный штаб — его аппарат. Сталин вызывал в Ставку тогда, когда он считал нужным и кого считал нужным, был ли это член Ставки или это был просто командующий. Он вызывал его вместе с начальником Генерального штаба или с его заместителем и заслушивал мнение командующего и тут же Генерального штаба. Вот таким был метод работы Ставки... Когда нужно, Сталин говорил: «Маленков с Вознесенским, рассмотрите вместе с Жуковым то, что он просит. Через два часа доложите». Кто это — члены Ставки или это Государственный Комитет Обороны, — было трудно сказать. Сталин — Ставка, и Государственный Комитет Обороны — тоже в основном Сталин. Он командовал всем, он дирижировал, его слово было окончательным. Это как приказ, собственно. Сталин говорит — это есть приказ окончательный, обжалованию не подлежит... Сталин считал — враг под Москвой разгромлен, надо его добить, и это не должно вызывать возражений и подлежит исполнению. А то, что противник еще настолько силен, что загонит нас вскоре до Волги, Сталин этого не понимал и знать не хотел!»

Жуков прямо говорит:

«Весь замысел о переходе во всеобщее наступление на всех направлениях — это, конечно, не идея Генерального штаба, не замысел Шапош-

никова, который докладывал. Это исключительно был замысел лично Сталина».

Директиву о наступлении штабы фронтов получили 7 января 1942 года. А 10 января командующие фронтами и командармы получили директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования. В нем военное положение оценивалось в духе выступления Сталина на заседании от 5 января 1942 года и давались практические указания фронтам — для действий ударными группами и организации артиллерийского наступления.

Жуков так сказал об этом директивном письме:

«Указания директивного письма Ставки были приняты к безусловному исполнению. Однако я позволю себе еще раз сказать, что зимой 1942 года мы не имели реальных сил и средств, чтобы воплотить в жизнь все эти правильные с общей точки зрения идеи о широком наступлении. А не имея сил, войска не могли создавать необходимые ударные группировки и проводить артиллерийское наступление столь эффективно, чтобы разгромить в 1942 году такого мощного и опытного врага, как гитлеровский вермахт».

К сожалению, жизнь это подтвердила.

Общий же характер действий противника в этот период определялся приказом Гитлера от 3 января 1942 года, в котором, в частности, говорилось: «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего патрона, до последней гранаты — вот что требует от нас текущий момент».

Выполняя январскую директиву Ставки, 10 января 1942 года войска нашего Западного фронта (20-я армия, часть 1-й ударной и другие) начали наступление с целью прорыва фронта в районе Волоколамска. К 16—17 января здесь наметился определенный успех. Следовало бы его наращивать. Но 19 января поступил приказ Верховного вывести из боя 1-ю ударную армию в резерв Ставки. Жуков обратился с просьбой к Сталину оставить армию в его распоряжении.

В ответ — решительное:

— Выводите без всяких разговоров! У вас войск много, посчитайте, сколько у вас армий.

Жуков возражал:

— Товарищ Верховный Главнокомандующий, фронт у нас очень широк, на всех направлениях идут ожесточенные бои, исключающие возможность перегруппировок. Прошу до завершения начатого наступления не выводить 1-ю ударную армию из состава правого крыла Западного фронта, не ослаблять на этом участке нажим на врага.

Вместо ответа Сталин бросил трубку.

Жуков позвонил Шапошникову.

— Голубчик, — сказал Шапошников, — ничего не могу сделать, это личное решение Верховного.

Пришлось растянуть на широком фронте 20-ю армию. Ослабленные войска правого крыла фронта, подойдя к Гжатску, были остановлены обороной противника и продвинуться дальше не смогли.

Не буду подробно описывать дальнейший ход и итог общего наступления, приведу лишь мнение двух военных специалистов, прекрасно разбирающихся в предмете.

Маршал Василевский: «В ходе общего наступления зимой 1942 года советские войска истратили все с таким трудом созданные осенью и в начале зимы резервы. Поставленные задачи не удалось решить».

Академик Самсонов: «...переход в общее наступление на всех основных стратегических направлениях без достаточного учета реальных возможностей фронтов провалился».

Таков итог этой авантюристической затеи Сталина. Увы, если вспомнить определение слова авантюра — дело, предпринятое без учета реальных сил и условий, то нельзя не признать, что эта формула вполне подходит к общему наступлению, предпринятому по личному решению Сталина. И стоила эта авантюра десятков (если не сотен) тысяч жизней наших солдат и офицеров.

Я так подробно остановился на проблеме разграничения контрударов и общего наступления, чтобы стало отчетливее видно, почему прежде всего сам Сталин, а за ним почти все наши военные историки и теоретики «объединяли» их в одно контрнаступление. Если оно одно, начинающееся 5 декабря, то победа за нашими войсками несомненная. А если их «академически» отделить друг от друга, то получается победа в той фазе, которая была предпринята по инициативе Жукова (и присвоена Сталиным), и провал того общего наступления, которое предпринято по единоличному решению Сталина.

ИТОГИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Вначале несколько слов о мифах. Широко известен миф о непобедимости германской армии, порожденный и разрекламированный гитлеровской пропагандой и военным аппаратом. Он был необходим, создан умышленно и использовался для морального подавления противников. Надо прямо сказать, миф этот был не только хорошо разработан, но имел довольно убедительную основу: в несколько недель были разгромлены армии таких государств, как Франция, Польша, Бельгия, английские экспедиционные войска (под Дюнкерком). В прошлых войнах с этими государствами немцы бились годами, а тут в несколько недель все было кончено!

Однако история свидетельствует: полководцы, объявлявшие свои армии непобедимыми — Ганнибал, Александр Македонский, Наполеон и другие, — все же были разбиты. То же случилось и с гитлеровской военной машиной. Исход войны — самое убедительное доказательство рождения и гибели этого мифа.

На нашей стороне мифов тоже было немало. Один из них — о внезапности.

Воюющие стороны всегда пытаются оправдать свои поражения и ошибки разного рода объективными причинами или, попросту говоря, скрыть правду, потому что правда эта не в пользу тех, кто просчитался, кто виноват в поражении.

Как известно, гитлеровские руководители свалили свое поражение под Москвой на «генерала Зиму», как будто до начала войны они не знали, что в России бывают холода и снег. Об этом у любого немецкого школьника в учебнике по географии написано.

А чем мы объясняли наши беды, потери, отступления в первые месяцы войны? Внезапностью нападения Германии.

Давайте разберемся, была ли внезапность такой всеобъясняющей причиной. Не миф ли это?

Как все мифы, так и этот родился не просто так; как правило, они имеют какой-то импульс и самое главное — миф кому-то и зачем-то нужен. Кому же и для чего он понадобился на этот раз?

Скажем прямо, момент нападения не столько проморгали (он был известен), сколько — самое страшное — не предприняли необходимых мер для отражения удара врага. Чтобы оправдать эту ошибку, надо было найти причину, так появилась «внезапность нападения»: мол, нас обманули! Но когда обманывают государственных деятелей, это не делает им чести, вот и возникает необходимость создать ширму.

О том, что агрессивные устремления Германии направлены на Россию, было широко известно. (Об этом достаточно подробно говорилось в первых главах.) По мере приближения часа нападения прибавлялись и разведывательные данные о подготовке вторжения. Тут надо сказать о прекрасной работе советской военной разведки (обратите внимание, не всей нашей разведки, а именно военной): она своевременно и полно информировала о готовящейся войне.

Разведку вели два мощных органа: Наркомат внутренних дел под руководством Берии и Главное разведывательное управление Наркомата обороны, которое возглавлял генерал Ф. И. Голиков, старый строевой командир Красной Армии.

Его многие обвиняют в ошибках и упущениях. Не во всех он виноват, так как возглавил военную разведку всего за одиннадцать месяцев до

начала войны (с июля 1940 г.). Однако что касается «внезапности нападения», то за это он полностью несет ответственность, потому что располагал обширной информацией, но не смог ее правильно оценить, обобщить и убедительно доложить Сталину.

Тут следует оговориться; два наших разведывательных органа не только работали на общее дело, добывая разведданные, но еще и конкурировали между собой, причем конкуренция эта была не на равных в смысле положения внутри нашей страны. Берия и его предшественники Ежов и Ягода по ложным обвинениям истребили и упрятали в тюрьмы очень многих опытных и талантливых руководителей военной разведки, включая и начальника Главного разведывательного управления Берзина, прекрасного организатора, умного и тонкого разведчика.

Кроме Берзина, один за другим были репрессированы исполнявшие обязанность начальника ГРУ, бывшие заместители Берзина, опытнейшие руководители разведки Никонов, Орлов, Гендин, Проскуров. После Проскурова и был назначен Голиков, который в разведке ранее не служил, специфики ее не знал.

К счастью, сохранилась агентурная сеть, созданная этими замечательными людьми, она продолжала работать. Однако постоянная угроза, нависшая со стороны Берии, сковывала работников военной разведки, подрывала их авторитет в глазах Сталина, порождала недоверие к их докладам. Печальный пример тому — происшедшее с Рихардом Зорге. Он был военным разведчиком, работал в Токио, подружился с германским послом Оттом, через которого получал достоверную секретную информацию. Приведу лишь одну его телеграмму от 15 июня 1941 года: «Война будет начата 22 июня». До этого Зорге сообщал о концентрации гитлеровских войск на нашей границе, о направлении ударов, сроках завершения подготовки и начала военных действий. Все эти сведения генерал Голиков имел, возможно, он их докладывал лично Сталину, ибо, как пишет Жуков, хотя и неизвестно, «что из разведывательных сведений докладывалось Сталину генералом Голиковым лично, минуя наркома обороны и начальника Генштаба, такие доклады делались неоднократно». Однажды, после войны, в разговоре на просмотре фильма о Зорге Жукова спросили, знал ли он об этом разведчике как начальник Генерального штаба. Жуков ответил:

— Впервые узнал о нем из этого фильма.

Беда с Зорге произошла потому, что Берия в докладах Сталину заявил, что Зорге — двойник, перевербованный немцами, и что его сведения — дезинформация. Когда Сталин сказал об этом подозрении Голикову, тот не сумел отстоять честность Зорге, и все его телеграммы (добытые с таким искусством и риском!) перестали принимать во внимание. Зорге вызывали «на совещание» в Москву, но Рихард, зная о судьбе некоторых военных разведчиков, исчезавших после таких вызовов, не поехал. Вскоре он был схвачен и казнен японской контрразведкой. У нас же его «зачислили» во «враги народа», а жену с дочерью репрессировали. Вот такая страшная судьба у замечательного патриота, талантливого военного разведчика Рихарда Зорге.

Так, отбрасывая достовернейшие сведения (а их было много!), мы оказались под сокрушительным ударом, а для того чтобы оправдаться, появился миф о внезапности.

Кто же виноват в этих бедах? Виновника установить можно без долгих поисков. Кто породил миф о внезапном нападении, тот и думал скрыть за ним свою вину. А кто породил? Первое официальное, на государственном уровне, заявление об этом было сделано в 12 часов дня 22 июня заместителем Председателя Совнаркома СССР и наркомом иностранных дел В. М. Молотовым. В первых же словах своего выступления Молотов назвал того, кто был автором формулировки о «внезапности»: «Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление...»

Следовательно, поручили «советское правительство и его глава товарищ Сталин...».

А что такое вообще внезапность в военном деле?

Наша советская военная наука определяет ее так: «Внезапность — неожиданные для противника действия, способствующие достижению успеха в бою, операции, войне. Внезапность является одним из важных принципов военного искусства и заключается в выборе времени, приемов и способов боевых действий, которые позволяют нанести удар тогда, когда противник меньше всего подготовлен к его отражению, и тем самым парализовать его волю к организованному сопротивлению».

Жуков понимал роль внезапности в современной войне. В своем выступлении на совещании перед большими маневрами в декабре 1940 года (о нем рассказывалось в предыдущих главах) он говорил: «Все приемы и способы оперативной и тактической маскировки и обмана противника должны быть широко внедрены в Красную Армию и войти составной и неотъемлемой частью в систему обучения войск, командиров и штабов... Части Красной Армии в будущих наступательных сражениях и боях должны показать высокий класс оперативной и тактической внезапности».

В том же докладе, анализируя возможности войск в связи с появлением новой техники и массовым применением ее в боевых операциях в Европе, Жуков приходил к выводу, касающемуся именно внезапности: «Особенно важно то, что моторизация армии дает возможность в полной мере применить внезапность действий крупных размеров. Войска, предназначенные для наступательных действий, могут быть рассредоточены и скрыты в районах, удаленных от линии фронта на расстоянии 80—100 км, и к месту наступления могут быть переброшены одним маршем... Современное оперативное искусство и тактика, в результате внедрения в армию новых современных технических средств борьбы, получили такие могучие факторы, как скорость, внезапность и сила удара. На основе этих новых качеств значительно увеличилась оперативная и тактическая маневренность войск и их ударно-пробивная способность».

Знать-то мы про все это знали, но действовали не в ладу с таким знанием. После войны, обобщая ее опыт, Жуков в своих воспоминаниях говорит и о причинах, породивших «внезапность»:

«Генеральный штаб, нарком обороны и Сталин не сделали практических выводов из новых способов ведения войны в начальный период. Наши оперативные и мобилизационные планы не отвечали характеру возникшей войны. Они соответствовали минувшим войнам, когда от объявления войны до вооруженного столкновения основных группировок проходило значительное время, позволявшее сторонам провести мобилизацию, сосредоточение и развертывание войск.

Все мы, и я в том числе, как начальник Генерального штаба, не учли накануне войны возможность столь внезапного вторжения на нашу страну фашистской Германии, хотя опыт подобного рода на Западе в начале второй мировой войны уже имелся».

Следовательно, причины наших неудач в первые месяцы войны надо искать не в самом факте внезапного нападения, а в том, что наше военное искусство, предвидение, расчетливость оказались хуже, чем у немецких военных специалистов.

Хотел написать — «они перехитрили нас». Но это будет не точное определение, хотя гитлеровцы и применяли дипломатию, дезинформацию и другие меры для введения нашего руководства в заблуждение. Но это одна сторона дела, главная же беда в том, что Сталин попался на эту приманку, проглотил ее и, как говорится, сидел перед началом войны на этом крючке Гитлера. Отмечу при этом, что Жуков, присоединяя себя к виновникам главного просчета, поступает так по этическим соображениям: не мог же он написать, что он это все предвидел, предлагал другие выходы, но его не послушали...

Мы в июне 1941 года обладали значительными военными силами, располагали пусть недоделанными, но все же мощными оборонительными полосами на границе, прекрасными природными оборонительными рубежами, выгодно для нас — с севера на юг — лежащими на пути наступающих. Один Днепр чего стоит! Запасы оружия и боеприпасов были сосредоточены на приграничной территории, их не надо было подвозить. Никто не мешал нам создать надежную систему связи, а наша армия, Генштаб оказались просто беспомощными и слепыми из-за отсутствия связи. Мы находились на своей земле и были вольны делать любые приготовления для отражения

врага, но вместо этого Сталин и Молотов дезинформировали народ и армию, успокаивая, что войны не будет (напомню только сообщение ТАСС за несколько дней до нападения). Получается просто парадокс — наше руководство как бы само готовило эту внезапность.

В общем, наша страна, армия, военное и государственное руководство располагали необходимыми средствами для отражения пусть даже внезапного нападения. Все теоретики и практики войны считают, что для успешных оборонительных действий достаточно сил в три раза меньших против наступающего. А мы имели силы большие, чем гитлеровцы! В журнале «Коммунист» № 14 1988 года опубликован подсчет соотношения танков в начале войны: у гитлеровцев 3582 танка и штурмовых орудий, из них 1634 танка новейших конструкций. С советской стороны им было противопоставлено 1475 танков КВ и Т-34, которые на протяжении всей войны считались лучшими в мире, и большое количество танков устаревших конструкций. Ведь только с января 1939 года по 22 июня 1941года Красная Армия получила более семи тысяч танков! Соотношение сил и средств советских войск и войск противника в полосе Киевского особого военного округа на 22 июня 1941 года было в нашу пользу: по личному составу составляло 1,2 : 1; по орудиям и минометам — 1,4 : 1; по средним (Т-34) и тяжелым (КВ) танкам — 3,5 : 1; по легким танкам (Т-26, БТ-7) — 5 : 1; по самолетам — 2,5 : 1. Повторяю — в нашу пользу! Уже одно это сопоставление показывает, что причины неудач и поражений крылись не столько в соотношении сил, сколько в способности распорядиться ими. (Расхождения в количестве и качестве типов танков и самолетов хотя и имеют значение для хода боевых действий, но не решающее, так как и в этом превосходство на стороне противника не было подавляющим.)

Неубедительно и объяснение некоторых теоретиков (да и практиков) успеха гитлеровцев, а наших неудач сосредоточением на направлении главных ударов превосходящих сил, которые сломили наше сопротивление. Это нисколько не оправдывает наших военачальников, а только еще раз подчеркивает их слабость по сравнению с гитлеровскими генералами, сумевшими создать — при равенстве сил — ударные группировки и нанести мощные удары. Позднее же сделал это Жуков под Москвой, а затем на Курской дуге! Не надо забывать: умение делать это, как и внезапность, входит в понятие военного искусства, в котором мы оказались, к сожалению, не на высоте. Это стоило нашему народу очень дорого.

Одним из крупных просчетов нашего командования, как установила теперь военная наука, было ошибочное предположение о направлении главного удара гитлеровской армии.

Давайте посмотрим на предвоенную карту, каковы очертания наших западных границ? Мне кажется, даже не будучи стратегом, но немного поразмыслив, легко увидеть, что кратчайший путь на Москву проходит через Минск и Смоленск (так вел свою армию и Наполеон). Здесь хорошо развита система железных и шоссейных дорог, что очень важно для высокомеханизированной немецкой армии. Здесь аэродромы — находящиеся на территории Германии самолеты, базируясь на них, могут поддерживать действия своих войск на большую глубину. Все это очевидно.

Но Сталин приказал главные усилия сосредоточить на юге. Он не посчитался с компетентным мнением крупнейших военачальников, с Генеральным штабом, военными учеными и практиками. Исходя из своих единоличных субъективных воззрений, Сталин приказал все имеющиеся планы и предложенный Жуковым план (я имею в виду его «Соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных сил Советского Союза» от 15 мая 1941 года) переработать и перенести главные усилия на юг. Это и исполнил Жуков в новом варианте по указанию Сталина; как он писал в своих воспоминаниях, «...Сталин был для всех нас величайшим авторитетом, никто тогда не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки...»

Теперь, когда все в прошлом, ход событий, история ясно показывают: своим волевым и, как оказалось, некомпетентным решением Сталин предопределил неудачи наших войск в начальный период войны, они уже были заложены в новом предвоенном плане стратегического развертывания, разработанном Генштабом в угоду Сталину. Этим же объясняется и то, что начальник Генерального штаба вопреки своему убеждению о необходимости привести армию в полную боевую готовность был вынужден отдавать вот такие указания:

«Командующему войсками Киевского Особого Военного округа.

Начальник погранвойск НКВД УССР донес, что начальники укрепленных районов получили указание занять предполье.

Донесите для доклада наркому обороны, на каком основании части укрепленных районов КОВО получили приказ занять предполье. Такие действия могут немедленно спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чреваты всякими последствиями.

Такое распоряжение немедленно отмените и донесите, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение.

10 июня 1941 г.

Жуков».

18 июня командующий Прибалтийским особым военным округом отдал распоряжение о приведении в боевую готовность системы ПВО округа. 20 июня он получил следующее предупреждение:

«Вами без санкции наркома дано приказание по ПВО о введении положения номер два. Это значит провести по Прибалтике затемнение, чем и нанести ущерб промышленности. Такие действия могут проводиться только с разрешения правительства. Сейчас ваше распоряжение вызывает различные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить отданное распоряжение и дать объяснение для доклада наркому.

Жуков».

Это все страницы «неизвестной войны», к которым прибавлю еще и следующую. Сталин и Молотов, как уже говорилось, в соответствии с экономическим соглашением обеспечили гитлеровскую армию всем необходимым еще до начала войны. Как это ни парадоксально, но и с началом боевых действий снабжение гитлеровской армии горючим, продовольствием и другими военными запасами продолжалось, оно обрело лишь другую форму.

Дело в том, что согласно нашей доктрине — бить врага на его территории — огромные запасы были сосредоточены вблизи нашей границы, чтобы их можно было быстрее подавать войскам, которые, дескать, уйдут вперед — на Люблин, Варшаву, в Восточную Пруссию. Как стало теперь известно, почти половина всех наших запасов была расположена вблизи от границы и многое стало трофеями германской армии.

Вот подтверждение компетентного в вопросах тыла генерал-полковника Г. П. Пастуховского: «...в случае агрессии пограничные военные округа (фронты) должны были готовиться к обеспечению глубоких наступательных операций... это, в свою очередь, обусловливало неоправданное сосредоточение и размещение в приграничных военных округах большого количества складов и баз с мобилизационными и неприкосновенными запасами материальных средств. По состоянию на 1 июня 1941 года на территории пяти западных военных округов (ЛенВО, ПрибВО, ЗапВО, КОВО и ОдВО) было сосредоточено 340 стационарных складов и баз, или 41 процент их общего количества. Здесь же размещалось значительное количество центральных складов и баз Главнефтесбыта и Управления Государственных материальных резервов. Необоснованная концентрация складов и баз в приграничной полосе стала одной из главных причин больших потерь материальных средств в начале войны».

Бывали часто случаи, когда механизированные корпуса, выдвигаясь для нанесения контрударов, расходовали на марше всю заправку горючего, а прибыв в назначенный район, не могли участвовать в боях из-за пустых баков и представляли собой прекрасные мишени для вражеской авиации.

30 июня 1941 года Главный интендант Красной Армии генерал-лейтенант А. В. Хрулев докладывал Жукову как начальнику Генштаба: «Дело организации службы тыла действующей армии находится в исключительно тяжелом положении. Ни я, как Главный интендант, ни Управление тыла и снабжения Генерального штаба на сегодняшний день не имеем никаких данных по обеспечению продовольственным и интендантским имуществом фронтов... Подвоза также нет, так как Главное интендантское управление не имеет данных, куда и сколько нужно и можно завозить».

Гитлеровские генералы в своих воспоминаниях с удивлением и радостью пишут о том, как они, израсходовав горючее, заправляли свои танковые и механизированные дивизии на наших брошенных базах, почему-то даже не сожженных.

Зададимся вопросом — кто же одержал верх в сражениях 1941 года?

О том, кто победил — не во всей войне, а на каком-то ее этапе, — обычно судят по захваченной или отданной территории, количеству артиллерии, танков и другой техники, а также по потерям — убитым, раненым.

Попробуем и мы оценить итоги боевых действий за 1941 год.

Что касается территории, то успехи гитлеровской армии очевидны: она дошла до Москвы, захватила Белоруссию, Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Молдавию, несколько областей России. На этой территории проживало около 80 миллионов человек, что составляло почти половину населения Советской страны того времени. На этой территории было оставлено, уничтожено или с нее эвакуировано огромное количество промышленных предприятий. Тысячи колхозов не успели убрать урожай, миллионы голов скота не смогли перегнать из районов, захваченных врагом.

Ни одно государство в Европе, на которое нападала Германия, не понесло таких потерь и рухнуло при гораздо меньших утратах. Мы выстояли.

Цена тому, что мы выстояли, исчисляется и выражается человеческими жизнями. Враг не продвинулся дальше, потому что, начиная с пограничников, уничтожавших гитлеровцев в первые часы войны и на первых метрах нашей земли, и кончая бойцами и командирами, истребившими фашистских мотоциклистов в Химках, то есть на последних метрах, отделявших их от Москвы, — все, кто даже попал в оккупацию и плен, до последнего защищая занимаемый рубеж, отдавшие жизнь за свободу родины, — все они и есть та цена, которой стоила наша непокоренность и не отданная дальше Москвы земля.

Каковы же количества, цифры? Скажу сразу, они настолько велики, что страшно даже представить себе реально такое число жертв. И еще одна оговорка. Те потери, которые указывались в докладах Сталина, Молотова и других наших государственных деятелей, недостоверны, а точнее — фальсифицированы, как и последняя, итоговая, — 20 миллионов человек. По сей день подлинных потерь мы не знаем, а может быть, их и никто не знает, потому что учет всегда во всех инстанциях велся с тенденцией к занижению и даже скрытию наших действительных утрат. Вся статистика в период сталинщины была лживая и фальшивая, а с подсчетом человеческих жизней (а может быть, с ними тем более) обращались особенно бессовестно.

Итак, каковы потери сторон? Возьмем их на период с 22 июня 1941 года по конец марта 1942 года, когда Сталин все еще гнал вперед совершенно обессилевшие армии, требуя осуществления его гигантского замысла «общего наступления».

Потери противника регулярно фиксировались во всех частях и соединениях и в конечном итоге стекались к начальнику генерального штаба Гальдеру, он заносил их в свой дневник. Нет оснований считать эти сведения заниженными, так как Гальдер — повторяю — вел их для служебных надобностей, а не для публикации.

6 апреля 1942 года он записал: «Потери с 22.6.1941 года по 31.3.1942 г. — Ранено — 23 541 офицер, 799 389 — унтер-офицеров и рядовых; убито — 8 827 офицеров (в пять раз меньше, чем истребил Сталин советских командиров во время репрессий до начала войны. — **В. К.**); унтер-офицеров и рядовых — 225 553; пропало без вести — офицеров 855, унтер-офицеров и рядовых 51 665. Итого потеряно 33 223 офицера, 1 074 607 унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск на Востоке (без больных) составили — 1 107 830 человек, или 34,6% их средней численности (3,2 миллиона человек)».

Как определить потери наших войск? Сделать это, понятно, непросто. Попробуем по документам педантичных немцев выяснить некоторые цифры. Вот выписка из фундаментального научного труда, написанного в ФРГ в семидесятые годы (это уже не геббельсовская пропаганда). При всей нашей настороженности и подозрительности все же попытаемся отнестись к этим данным аналитически.

«В боях под Белостоком, Минском, Смоленском, Уманью, Киевом, Брянском и Вязьмой к 18 октября 1941 года было пленено 2 миллиона 53 тысячи советских воинов... К концу 1941 года 3 миллиона 800 тысяч военнослужащих Красной Армии были в плену».

На 1 июня 1941 года наши вооруженные силы составляли немногим более 5 миллионов человек, из них 3 с лишним миллиона находились в западных приграничных округах. Следовательно, в 1941 году мы потеряли все, что было в приграничных округах и, если бы не призванные по мобилизации и не переброска из внутренних округов и с Дальнего Востока, то ни одного бойца и командира не осталось бы на пути врага.

Но правильны ли эти астрономические цифры? К сожалению, есть основания им верить. Приведу документ, написанный лично одним из кровавых палачей — комендантом концлагеря Освенцим (по-немецки Аушвиц) оберштурмфюрером СС Рудольфом Гёссом. Этот документ опубликовали в ФРГ в сборнике «Документы немецкой истории. 1939—1942 гг.»

«Я командовал Аушвицем до декабря 1943 года и считаю, по меньшей мере 2 500 000 жертв было уничтожено с помощью газа и сожжения; минимум еще полмиллиона умерло от голода и болезней, что составляет в целом 3 000 000 мертвых. Это число составляет примерно 70 или 80% всех лиц, которые были направлены в Аушвиц как пленные (имеются в виду узники разных стран, не только советские. — **В. К.**)».

А ведь лагерей таких было немало! И там творились такие же зверства, и цифры погибших там тоже с многими нолями.

Если бы фашист изворачивался, пытался преуменьшить число уничтоженных пленных, можно было бы усомниться в реальности приводимых цифр. Но он спокойно и хладнокровно называет их, без принуждения, сам, не рассчитывая ни на пропагандистские, ни на оправдательные цели. Таким образом, в цифру количества пленных в три с лишним миллиона, приведенную в первом документе, придется поверить.

А сколько было на фронтах убитых и раненых? Возьмем по аналогии с немецкими данными: у них соотношение убитых и раненых примерно 1 : 4, т. е. на каждого убитого четверо раненых. Так как считается, что у нас убитыми за это время было около миллиона, то общее число раненых составит около 4 миллионов. (Разумеется, все эти подсчеты приблизительные, но в основу их заложены достаточно достоверные цифры.) И это лишь в первые девять месяцев войны!

Такова цена недальновидности, своеволия, деспотии Сталина и покорности всех, кто его окружал.

Чтобы мои суждения не выглядели субъективными, приведу мнение генерал-лейтенанта, доктора исторических наук Н. Павленко:

«Ни в одной области человеческой деятельности не стоит столь остро вопрос о качестве руководства людьми, как в вооруженной борьбе. Это обусловлено главным образом тем, что в такой борьбе за все приходится расплачиваться кровью — и за успехи, и за неудачи. Причем за неудачи, просчеты и ошибки зачастую более дорогой ценой, нежели даже за крупные достижения стратегического масштаба. Вот почему руководить войсками в боевой обстановке методом «проб и ошибок» не только недопустимо, но и преступно...

Наиболее крупные ошибки, порой трагического характера, совершались в стратегическом звене руководства войсками. И многие из них — лично И. В. Сталиным, который, по оценке маршала Г. К. Жукова, и перед войной, и в начале ее имел весьма смутное представление о военном деле. Тем не менее на протяжении свыше полутора лет (начиная с весны 1941 года) он мало считался с мнениями военных специалистов, полагая

себя единственным стратегом. Только суровая действительность осени 1942 года поубавила амбиции полководца».

Общий итог войны за 1941 год, наверное, следует определить по осуществлению задач, которые ставили перед собой сражающиеся стороны.

Гитлеровская армия не осуществила цели, поставленные в плане «Барбаросса»: «победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию... Конечной целью операции является выход на рубеж Архангельск—Волга». Цели эти не достигнуты. «Молниеносная война» не состоялась. Но захвачена огромная территория, причинен огромный экономический ущерб, большие потери понесла Красная Армия. Наряду с этим Германия потерпела непоправимое политическое поражение, противопоставив себя как агрессор всем миролюбивым странам мира, в результате чего сложилась антигитлеровская коалиция, в которую вошли такие мощные союзники, как СССР, США и Англия. Во всех странах Европы, захваченных Германией, поднимались прогрессивные силы на борьбу с фашизмом.

Советская страна не осуществила свою военную доктрину: не только «один вершок», а огромное пространство было захвачено врагом, военные действия не были перенесены на территорию противника, не удалось воевать «малой кровью», кровь лилась реками, «братья по классу» не поднялись в тылу врага и не помогли первой в мире «самой прогрессивной» социалистической системе, немецкие «братья по классу», одетые в гитлеровскую военную форму, опьяненные посулами богатой жизни, творили чудовищные зверства на земле и в городах советских тружеников. Но, несмотря на огромные потери, Советская страна устояла на этом самом трудном и критическом этапе войны.

Если использовать для образного сравнения схватку двух боксеров, то, можно сказать, первый раунд закончился для немецкого бойца более успешно, однако и соперник его, побитый, весь в кровоподтеках, хоть и побывал несколько раз в нокдауне, но на ногах стоял твердо. Изловчившись, в свою очередь, он воспользовался удобным моментом и потряс гитлеровца сокрушительным ударом под Москвой. Противник тоже побывал в нокдауне.

В целом объективность требует прийти к следующему выводу: первый раунд закончился с преимуществом немецкой стороны. Впереди предстояли еще кровопролитные схватки. Окончательную победу еще предстояло одержать в последующих раундах.

Но, зная исход борьбы, все же скажем, что для советской стороны это был раунд, который вошел весомым слагаемым в окончательную победу.

Личный вклад Г. К. Жукова на первом этапе войны очень значителен. Без преувеличения можно сказать, Жуков был один из немногих военачальников, который не растерялся в труднейшей критической ситуации, сохранил способность спокойно оценивать положение и руководить боевыми операциями.

Жуков первый на порученных ему участках фронта (Ленинград, Москва) организовал оборону, которую не смогли преодолеть гитлеровские армии. Он провел первые успешные наступательные операции под Ельней и в битве за Москву, которые причинили не только урон противнику, но еще имели огромное вдохновляющее значение для Красной Армии, для всего советского народа.

В единоборстве с опытнейшими, широко образованными профессионалами войны, каковыми были немецкие фельдмаршалы Браухич, Лееб, Бок, Клюге и мастера танковых сражений Клейст, Гудериан, Гёпнер, Рундштедт и другие, Жуков оказался более талантливым и искусным в организации и проведении сложнейших операций и одержал над ними победы, причем в невыгодных для себя, худших для своих войск условиях обстановки и обеспеченности необходимым вооружением и снаряжением.

И это было только начало, талант Жукова созревал, набирал силу.

Конец 1-й книги

Дмитрий Стонов

СУИ

Люди моего поколения помнят китайцев, которые без особого труда переходили границу и широким потоком растекались по стране. Одни из них открывали прачечные, дешевые столовые, игорные дома, где курили опий; другие торговали чесучой, яркими шелками, игрушками и бумажными веерами—этими убогими украшениями убогих жилищ; третьи поражали толпу фокусами: задрав головы и ловко размахивая руками, они бросали и ловили ножи, тянули изо рта разноцветные ленты и легкие, как пух, платочки, сморкались пятиалтынными—монеты блестящим пунктиром вылетали из ноздрей и со звоном падали в шапку...

С революцией поток китайцев стал истощаться. Изменились условия жизни—у них и у нас. Изменился и состав людей, всякими правдами и неправдами перебиравшихся через рубеж. Теперь это были люди физического труда, и, попав в нашу страну, они спешили устроиться на работу. Новостройки охотно их принимали, китайцы с готовностью взваливали на плечи тяжелый труд. Первые нуждались в рабочей силе, вторые—в хлебе.

В тридцатых годах границу заперли на замок. Однако голод продолжал гнать китайцев с востока на запад. Темными ночами, в пургу, в ливень, они (правда, в небольшом числе) появлялись на нашей земле. Что было с ними делать? После проверки их отправляли в самые дальние края—на те же тяжелые работы.

И некто Суи, когда он пробрался в нашу страну, прежде всего попал в руки пограничников и лишь впоследствии—в республику Коми. У пограничников он получал горячие щи и настоящий хлеб, жить было можно. Но сущий рай наступил в Коми. За деньги, которые он зарабатывал погрузкой и выгрузкой угля, он покупал сколько угодно мягкого и свежего хлеба и похлебки, снимал угол и раз в месяц ходил к Маруське и напивался. Жилось, одним словом, припеваючи, порой он и сам удивлялся своему благополучию. Даже война ненамного нарушила счастье. Суи усердно работал, сверх положенного получал дополнительные порции хлеба, варево, хоть и жидкое, выдавалось в достаточном количестве.

Но вот через несколько лет после войны, когда вновь наладилась жизнь, произошло что-то... в мире или в личной судьбе Суи? После двенадцатилетнего пребывания на Севере его вдруг арестовали и в вагоне с железной решеткой отправили в большой город.

Признаюсь, мне неловко начать рассказ о Суи с его улыбки: сколько раз приходилось читать об этой примелькавшейся китайской улыбке! Однако первое, что бросилось в глаза, когда он вошел в камеру, была именно его улыбка. Она как бы плыла впереди него, она излучалась кожей лица, она играла на скулах, раздвигала губы, обнажая большие и желтые зубы. Казалось, он пришел не в тюремную камеру, а на гулянку, где его ждали с нетерпением, и, сияя улыбкой, он извинялся за невольное опоздание. Кивнув всем вместе и каждому в отдельности, он, как только удалились надзиратели, положил на пол узелок и произнес свое имя. Оно, как у большинства китайцев, состояло из трех слов, но разобрали и запомнили мы лишь одно—Суи.

Дмитрий Миронович СТОНОВ (1898—1962) — автор более 20 книг. Был репрессирован, затем реабилитирован.

Неловко мне злоупотреблять и всеми этими «мало-мало», «ходи-ходи» — они также в достаточной мере бытуют в книгах о китайцах. Скажу только, что за двенадцать лет жизни в Советском Союзе он (быть может, потому, что сильно был занят и мало общался с людьми) освоил десятка три русских слов. Тут же, чтоб уже не возвращаться к этому, замечу, что за недосугом он не успел ликвидировать свою неграмотность и только в камере запомнил несколько букв, так что, к собственному удовольствию, мог прочесть на папиросной коробке слово «Катюша». — «Катюша, — читал он и, поднимая узкие блестящие глаза, улыбаясь, многозначительно смотрел на своих учителей. — Ка-тю-ша...»

В камере Суи заскучал по работе. Его не смущало то, что он сидел взаперти, не смущали строгий тюремный режим, железная решетка на окне, тридцатиминутные прогулки, обыски, бесконечное щелканье «глазка». Не трогало его и то, что говорить в камере можно было вполголоса. Он вообще предпочитал молчать. Заключенные читали книги, играли в шахматы, в домино, в шашки, тихонько переговаривались, тихонько, случалось, поругивались, а Суи, бывало, сидит и молчит — час, два, три, весь длинный день и длиннейший вечер — до отбоя. Что происходило в его душе? Он сидел, положив на колени свои огрубевшие от работы руки, сохранившие еще следы и запах угольной пыли. Лицо его, точно плохо выполненная маска, без морщин, было замкнутым. Лишь впоследствии мы поняли, что он тосковал без дела. Он привык к работе с малых лет, она начинала и кончала его день, она давала волчий аппетит и добрый сон, она была смыслом и содержанием его жизни. Сидеть неподвижно и без дела было для него трудней самой изнурительной работы, у него, как он потом мне объяснил, от непривычки болела спина, болели ребра и внутренности, ныли ноги и звенело в ушах, даже глаза почему-то слезились.

Суи искал работу и нашел ее в камере. Он вцепился в эту работу всеми своими тоскующими по труду пальцами, всем напором рабочего тела. Я говорю о тех мелочах, которые заключенные должны делать сообща, — выносить и промывать парашу, подметать и мыть пол, застилать постели, вытирать пыль. Уже на третий день он забрал всю эту работу в свои руки, а так как она не могла занять весь его досуг, прибавил к ней другую — стирал в уборной наши носовые платки. В бане он помогал нам мыться, докрасна натирал наши спины.

В камере существует неписаный закон — из купленных в ларьке продуктов дарить неимущим десятую или двадцатую долю. Для Суи папиросы, стеклянные леденцы, а иногда и лишний кусок хлеба и недоеденная баланда являлись как бы придачей к основному подарку — работе. Еды выдавали мало, а для человека физического труда явно недостаточно; дополнительные крохи, перепадавшие Суи, очень ему пригодились. По своему обыкновению улыбаясь, он съедал их с поспешностью человека, познавшего голод, а твердые леденцы расщелкивал с таким треском, что строгие надзиратели неизменно открывали дверь и приказывали «не безобразничать шумом».

Первый допрос! Я не знаю заключенного, который не вернулся бы от следователя потрясенным. Впервые арестованный слышит грозное и страшное обвинение во всех возможных преступлениях, впервые убеждается он в том, что выйти на волю ему не удастся ни при каких обстоятельствах, впервые видит человека, которому вверена его судьба!

Но вот открылась дверь, и мы увидели вернувшегося с допроса Суи: улыбка беззаботного и счастливого ребенка играла на его лице, летела нам навстречу. Он сел на койку, не спеша достал папиросу, закурил и, так как десять пар глаз были устремлены на него, удивленно произнес:

— Много-много писала!

До сих пор не забыть мне звучание его голоса. Суи был удивлен и восхищен тем, что, пока он сидел за столиком и ничего не делал, важный начальник исписал несколько листов и все — о нем.

— Что же он писал? — спросили некоторые из нас и в ответ услышали все то же восхищенное — «много писала, все, все писала». Потом, явно жалея о бедности своего языка, он показал палец, испачканный черной мастикой. Да, большой начальник долго писал, он исписал не один лист, а Суи мог лишь приложить ко всем этим бумагам оттиск пальца — ничего больше.

— Бессловесный, что дитя, — сказал суровый старик в стальных очках, читавший все время одну книгу. — Напишут они ему, ироды...

Суи кивнул головой: из всех слов, сказанных стариком, до его сознания дошло одно «напишут». И вновь удивился и восхитился он быстро- и долгописанию начальника и из стороны в сторону покачал головой и прищелкнул языком. Что он мог противопоставить уменью следователя? Ничего! И он еще раз поднял и показал черный от мастики палец, извинительная улыбка мелькнула на его лице. Вот, к сожалению, все, что он мог сделать, — он приложил палец и тотчас же отдернул его, на бумаге остался след...

Чтобы вознаградить себя за долгие часы безделья в кабинете следователя, Суи в этот день старательней обычного мыл и чистил парашу, не жалея сил, работал щеткой, насильно вырвал у многих из нас носовые платки и так стирал их, что брызги и пена летели во все стороны.

Главный свой изъян — плохое знание языка — Суи ощутил в ходе дальнейшего следствия. Это был крупный недостаток, при всем желании заключенный никак не мог его побороть. На все вопросы он отвечал утвердительно и говорил: «хорошо», но этого было мало, потому что начальник — и с каждым разом все больше — начал раздражаться, кричать и стучать кулаками по столу. Теперь, к великому огорчению Суи, следователь не столько много-много писал, сколько много-много ругался.

Нетрудно, обладая небольшой долей воображения, представить себе, как протекало его следствие. За столиком сидит человек и в знак согласия кивает головой. Ему говорят, что он «с заранее обдуманным намерением» в свое время перешел границу, и он согласно наклоняет голову. Ему далее говорят, что своим переходом границы он «выполнил задание пославшей его державы», и он кивает и говорит — «да». Ему, наконец, бросают в лицо обвинение в шпионаже «в пользу известного государства», и он наклоном головы подтверждает сказанное.

Я знаю цену отрицания, в годы сталинского произвола она была равна нулю. Но поединок неравных существовал, следователь должен был потратить какое-то количество энергии, чтобы сломить сопротивление обвиняемого. В результате этой борьбы следователь утверждался в сознании (или делал вид, что утверждался, это все равно), что вволю поработал, «разоблачил преступные махинации», сделал все, что возможно. В случае же с Суи весь напор следователя пропадал зря, сложная машина обвинения работала вхолостую, не встречала даже мнимого, даже ничего не стоящего противодействия. Человек привычно размахнулся, чтобы со всей силой обрушить свой кулак на голову противника, а тут оказалось, что противник особенный, он существует, и в то же время его как бы и нет, и кулак повис в воздухе. Наконец, помимо согласия «на все», надо было еще арестованному назвать две-три фамилии сообщников, с которыми он держал связь, назвать полученную за измену сумму. Вообразите же ничего не выражающее лицо китайца; глядя на него, нельзя сказать, дошли ли до его сознания ваши слова, он кивает головой и только и говорит: да, да, да. Как тут не разозлиться, не рассвирепеть? И главное, как завершить дело, хотя бы формально придерживаясь инструкции?

С этим вопросом, накаляясь злобой, следователь не раз обращался к заключенному. Но что, что мог ответить Суи? Опечаленный сидел он на следствии, опечаленный являлся в камеру, даже работа, даже еда перестали его занимать. Что-то случилось с начальником, начальник злился и кричал; виноват, видимо, был Суи — в чем, в чем? Этого он не знал, как не знал, каким образом помочь беде. И он был удручен; с трудом выговаривая слова, объясняя, он поднимал плечи и разводил руками и на ободряющие наши улыбки отвечал беспомощной и жалкой улыбкой.

Между тем время шло, дело следовало закончить, придать ему положенную форму...

Незадолго до кончины обреченный на смерть человек чувствует облегчение, ему кажется, что он стал поправляться. Существует, видимо, закон копеечной пощады, он-то и проявляет себя в самые трудные моменты, чтобы в следующие дни широко и уже без колебаний открыть ворота злой беде.

Как-то Суи вернулся от следователя раньше времени и в хорошем настроении; глядя на него, мы вновь вспомнили его первые тюремные часы.

Оказалось, что, начиная с завтрашнего дня, на его допросах будет присутствовать переводчик. С трудом, пользуясь больше жестами, он рассказал нам об этом и, закончив, убедившись, что мы его поняли, широко и добродушно улыбнулся.

Слушая его рассказ, мы также улыбались. Был конец сорок девятого года, никто из заключенных не сомневался, что из следственной тюрьмы у него один путь — в лагерь. Но для китайца нам хотелось сделать исключение. Переводчику удастся объяснить, что никакой связи с «известным государством» у Суи нет и не могло быть, двенадцать лет тому назад он, в поисках работы, пришел к нам и все двенадцать лет честно зарабатывал свой хлеб. Товарища по родине и языку переводчик, конечно, поймет с первого слова, поймет и объяснит начальству, что здесь произошло глупое недоразумение, заключенного китайца надо немедленно выпустить. Размахивая руками, мы показывали Суи, как, выйдя из тюрьмы, он вновь будет орудовать лопатой, шуровать уголь. Один из нас, пошатываясь, прошелся по камере, потом обнял попавшегося на его пути заключенного, прижался к нему, и Суи догадался, что речь идет о его завтрашнем дне, что это он, сам он, выпив, бредет по Коми, обнимает Маруську, и счастливая улыбка вновь обнажила его зубы. Внезапно он произнес, прикрыв глаза, несколько фраз на китайском языке. Это, без сомнения, объяснялся он со своим переводчиком, с которым завтра увидится, это он, быть может, впервые за двенадцать лет, заговорил на своем языке. Мы прислушались к его речи и, само собой, ничего не поняли, ни слова. Но по выражению его маловыразительного лица было видно, что это была очень убедительная речь, призыв к родному брату, просьба — помочь вырваться из капкана, в который он попал по ошибке. Потом он молча смотрел в пространство, слушал тишину и кивал, кивал головой. Несомненно, товарищ отвечал ему в том же прямом и дружелюбном тоне...

— Ничего, ничего, Суи, — возбужденные этим необычным диалогом, сказали мы. — Все будет в порядке, не сомневайся!

На следующий день Суи вызвали к следователю, и мы пожелали ему вернуться с доброй вестью, как можно скорее и окончательно покинуть камеру. Мысленно мы вместе с ним шли по длиннейшим лабиринтам коридоров, присутствовали при допросе. Суи во весь голос, не жалея слов, рассказывал о недоразумении, и, выслушав объяснения переводчика, «большой начальник», как называл его Суи, решил пересмотреть дело, зачеркнуть вздорные обвинения. Много ли нужно, чтобы установить невиновность бессловесного китайца, распутать узел?

Мы были заняты светлыми размышлениями и вернулись к действительности лишь в тот момент, когда неожиданно и раньше времени щелкнул замок и в камеру ввели Суи. Даже в не совсем светлой, лишенной солнца камере видно было, что он расстроен. Лицо его стало глиняным, глаза недоуменно косили. Желание говорить распирало его, он невнятно пробормотал несколько слов, но они, видно, не подошли, не могли выразить его мысль, и он не произнес — выдохнул, каркнул лишь одно:

— Корея!

Это было нужное слово, напрягаясь, он на разные лады повторил его несколько раз:

— Корея! Корея! Корея!

Потом, видя наше сочувственное недоумение, мучаясь, добавил:

— Моя — Китай! Она — Корея!

Не сразу, о многом догадываясь, из разрозненных частиц составляя целое и беспрерывно допрашивая Суи, мы общими усилиями восстановили сцену, которая произошла у следователя. Полный радостных надежд, Суи вошел в кабинет следователя. Ему недолго пришлось ждать. Скоро порог кабинета переступил и сел рядом со следователем небольшого роста человек с такими же, как у Суи, блестящими и черными глазами. Суи привстал, поклонился и, упоенный музыкой своего языка, произнес несколько фраз — быть может, те самые, что накануне прозвучали в камере. И вдруг раздалась ответная речь, и в первые несколько секунд Суи, вероятно, подумал, что он сошел с ума или разучился говорить по-китайски: ни одного слова из того, что сказал черноглазый человечек, он не понял. Тогда, чтобы рассеять недоумение, беспокойство, страх, Суи опять заговорил на своем языке; он говорил четко, медленно, скандируя. И вновь на непонятном языке ответил переводчик и в конце перешел на русский:

— Мы — Корея!

И Суи тоже вынужден был прибегнуть к русскому языку, он сказал:

— Моя — Китай!

Тут вмешался в беседу следователь, он был явно огорчен — возись с ними! — он хотел еще поправить дело:

— А разве не все равно? — спросил он и сам же ответил: — Один дьявол!

Нет, было не все равно, китаец не понимал по-корейски, кореец — по-китайски, и, убедившись в этом, следователь прежде всего вознегодовал. Он дал волю своему раздражению, влетело и китайцу, и корейцу, в кабинете гремела отборная ругань. Сущее наказание с этим китайцем! Следователь охотно распахнул бы дверь и пинком в зад выгнал бы Суи. Но положение требовало, чтобы он позвонил в тюрьму и сказал, что можно явиться за арестованным в такой-то кабинет. И только когда пришел надзиратель, не в силах себя сдержать, следователь крикнул:

— Забери этого черта!

Несколько дней Суи не вызывали, его оставили в покое, и постепенно мы также стали успокаиваться: стрелка нашего неизменно фальшивящего компаса чаще чем следует поворачивалась в сторону благополучия. Не знаю, не могу понять, почему мы для Суи делали исключение, почему большинство из нас полагало, что судьба будет к нему милостива? То ли слишком уж очевидна была вздорность его истории, то ли подкупала его бессловесная покорность? Так или иначе мы продолжали думать, что все наладится, пройдет немного времени, и Суи отправят в Коми. «Айда в Коми» — говорили мы ему, и он понимал нас, согласно кивая головой.

На четвертый день, часа за полтора-два до отбоя (время в камере определяют на глаз), Суи вызвали к следователю. Вернулся он незадолго до сна, так что узнать подробности допроса нам не довелось. Впрочем, Суи был краток, на все наши вопросы он ответил одним словом:

— Сидела.

Сквозь дрему (это было, вероятно, минут через двадцать после отбоя, камера не успела еще по-настоящему заснуть) мы слышали, как надзиратель явился за Суи. Ночью нас повели в баню. Суи не было. Коридорные часы показывали два. Вернулись мы через час. Суи все еще не было. Его доставили, когда рассвело. Тотчас же его повели в баню. Придя из бани, он успел раздеться и лечь. В следующую минуту надзиратель объявил подъем.

Итак, следователь начал вызывать Суи на ночные допросы. Зачем он это делал, что могла дать, добавить к «признанию» Суи пытка бессонницей? Очевидно, в необычном этом деле следователю надо было использовать весь набор приемов, чтобы потом, отчитываясь перед старшими, показать, что было сделано все возможное, применены все средства... Обычно Суи вызывали через несколько минут после отбоя, возвращался он поздно ночью, а через полчаса его вновь будили и держали до подъема. Никакого, собственно, допроса не было, заключенный сидел за своим столиком, а начальники, сменяя друг друга, следили за тем, чтобы он не спал. Так было ночью. А с подъема до отбоя — весь день — обязанность начальников старательно выполняли надзиратели.

В первые три дня Суи мужественно выдержал испытание. Надзиратели то и дело щелкали «глазком», зорко следили за тем, чтобы он не засыпал. По своему обыкновению они внезапно открывали дверь и появлялись перед Суи. При всей своей придирчивости они не могли сделать ни одного замечания. Не было случая, чтобы глаза его закрылись, голова опустилась, чтобы он прислонился к стене и, как это обычно случается, потеряв над собой контроль, внезапно захрапел. Разумеется, он заметно отощал, испарина часто покрывала его лоб, веки набухли и покраснели. Но он был вынослив, не поддавался слабости. Сомкнув пальцы, держа их на коленях, он сидел «как положено». Лепное его лицо было, как всегда, неподвижно, как всегда походило оно на маску, глаза не мигали. К нему обращались, и он поворачивал голову, хорошо видел и слышал. Молчаливый, он почти вовсе перестал говорить.

Прошла четвертая бессонная ночь, наступил четвертый день.

...Сложен человек, и часто трудно, невозможно по внешнему виду су-

дить о душевной его работе. Когда произошла перемена в Суи? Мне представляется, что началась она после четвертой бессонной ночи. Медленней обычного вошел он в камеру, был задумчив, глубокая морщина надвое пересекала лоб. В таком напряженно-задумчивом состоянии я видел его впервые. До подъема было примерно полчаса, но он и не пытался лечь. После шести утра нас, как всегда, повели в уборную. Суи пришлось окликнуть, он не слышал распоряжения надзирателя. Принесли кипяток, хлеб; не отвечая на наши напоминания, Суи не прикоснулся ни к тому, ни к другому. Он весь был поглощен мыслью и думал, видно, словами: губы его шевелились, как у молящегося.

Вдруг он заговорил.

— Моя—человек?—глядя поверх наших голов и ни к кому не обращаясь, спросил он и длинными и тонкими пальцами коснулся своей груди.—Моя человек?—еще раз спросил он и утвердительно ответил теми же словами: — Моя—человек.

Такое было впечатление, что впервые в жизни он задумался над тем, кто же он, в сущности, и ответ дался ему нелегко. Сейчас глаза его как бы глядели вовнутрь, длинные пальцы по-прежнему упирались в грудь. Он точно взвешивал эти два слова и несколько раз повторил их с непоколебимой уверенностью:

— Моя человек, моя человек!

Потом с той же твердой уверенностью добавил:

— Человек—спи. Человек спи, спи!

Замученные бессонницей заключенные знают несколько приемов, пользуясь которыми можно ненадолго отвлечь внимание надзирателей и минут пять соснуть. Ни к одному из них Суи не прибег. Утвердившись в том, что он человек и человеку надо спать, он сбросил кирзовые сапоги и лег на койку. Он закрыл глаза до того, как в камеру вошел надзиратель. Не знаю, успел ли Суи заснуть за эти считанные секунды, но на окрик он не откликнулся. Надзиратель толкнул его, и, поднявшись, Суи обнажил стиснутые зубы. Он был похож на огрызающегося зверька.

— Моя человек,— громче обычного сказал он.— Человек спи, спи.

Надзиратель был опытный, старый служака, но и он растерялся и только нашелся, что сказать:

— Ну и сиди, как положено. Пройдись по камере... Спать нельзя.

Суи отрицательно покачал головой и вновь лег на койку.

— Спи, спи,—успел он сказать до того, как закрыл глаза, и повернулся лицом к стене.— Человек — спи.

Ничего не говоря, надзиратель взял его за плечо, встряхнул и попытался поднять. По-прежнему лежа спиной к надзирателю, Суи ногами уперся в железные прутья койки. Они недолго возились, силы были неравные. Поднявшись, Суи вновь по-звериному обнажил и стиснул зубы, нос его наморщился.

— Встань,—крикнул надзиратель.—Встань и стой!

Он отодвинул койку от стены, чтобы ее хорошо было видно в «глазок». Но еще до того, как он отошел к двери, Суи опять лег.

Сейчас он руками и ногами обхватил койку, всеми силами готовился он защищать свое право на сон. Надзиратель ушел и вернулся с двумя помощниками. Втроем они оторвали Суи от койки и вынесли ее из камеры. И только они закрыли за собой дверь, как Суи, разбросав руки и ноги, лег на пол.

— Спи,—бормотал он.—Моя человек. Спи.

Надзиратели вернулись в камеру. На этот раз их было четверо. Они пинали его сапогами, пытались перевернуть на спину. Он долго не давался, потом сел и, вытянув шею, из стороны в сторону поворачивая голову, точно собираясь кусаться, показал стиснутые зубы. И, должно быть, в этот момент он был необычен, страшноват—здоровенные сержанты отступили на несколько шагов. Рыча, Суи стал на ноги. Он схватил свою пайку—одна она осталась на столе — и бросил в надзирателей. Он протянул руку к кружке и не успел ее взять. Надзиратели набросились на него.

— Спи,—рычал он, всеми своими слабыми силами отбиваясь от них.—Спи!

На руках его вынесли из камеры.

Больше мы его не видели.

Николай Шмелев

ИЗ ДОКЛАДНЫХ ЗАПИСОК ЭКОНОМИСТА

Как экономиста, меня сегодня не очень беспокоят долгосрочные перспективы нашего развития. Я думаю, что мы не собираемся совершать национального самоубийства. И, перепробовав в своей недолгой истории все мыслимые и немыслимые способы организации экономической жизни, включая концентрационные лагеря, мы не можем не выйти на ту дорогу, которую еще в 20-х годах, в последние два года своей жизни, выбрал и определил В. И. Ленин.

Собственно, за 70 лет нашей истории мы имели только 7—8 лет по-настоящему эффективной экономики, и не вернуться на эту дорогу мы просто не можем — у нас нет никакой другой альтернативы. Но на это требуется время. На Западе, чтобы обанкротившуюся, умирающую фирму опять превратить в нечто жизнеспособное, нужно в среднем 8—10 лет. Конечно же, гораздо более значительные сроки нужны для такого гигантского экономического организма, как наше народное хозяйство.

Но меня очень беспокоят, более того, страшат наши краткосрочные перспективы. Мы подошли к краю. Причина? Ее можно обозначить разными словами: инфляция, растущая несбалансированность рынка, бюджетный дефицит, лихорадочная работа печатного станка, печатающего деньги. Но все это означает одно: углубляющийся развал нашей денежно-финансовой системы, ее приближение к кризису, подобному тому, что мы имели и в начале 20-х годов и сразу же после окончания второй мировой войны.

Что привело к такому положению? Китайцы бы сказали: «два несчастья и четыре ошибки». Наши несчастья видны и понятны всем: Чернобыль и землетрясение в Армении. А вот наши ошибки, совершенные уже в новое время, пока еще осознают далеко не все, а многие хотя и осознают, но не хотят признавать.

Сейчас очень модно говорить о тяжелом наследии, которое нам досталось. Это, конечно, правда. Традиционные факторы бюджетного дефицита мы действительно получили в наследие от застойных времен, и эти факторы продолжают действовать и по сей день. Но нельзя вместе с тем не видеть, что за период 1970—1985 гг. наш бюджетный дефицит составлял в среднем 20 млрд. рублей в год, а в 1989 же году он был запланирован уже на уровне 120 млрд. рублей. Это уже новое качество, и причины такого его роста тоже новые, не связанные с эпохой застоя.

Каковы же те четыре ошибки, которые за последние годы подорвали наш бюджет, развалили потребительский рынок и столь резко усилили инфляцию? Во-первых, это абсолютно неквалифицированная акция с запретом на продажу алкогольных напитков. Конечно, она была продиктована благородными намерениями, но недаром говорится, что простота нередко бывает хуже воровства. И с благородными намерениями мы нанесли колоссальный удар по равновесию потребительского рынка и одновременно — по равновесию государственного бюджета. Вторая ошибка — это кратковременная, но очень болезненная кампания 1986 г. по борьбе с так называемыми нетрудовыми доходами, которая больно ударила по нашему сельскому хозяйству. Третья ошибка, которую мы тоже могли

не совершать, была связана с падением мировых цен на нефть. Мы в результате этого падения были вынуждены сокращать импорт. Но правительство предпочло сокращать не импорт зерна, не импорт оборудования для тяжелой промышленности, металлов, труб — оно полоснуло по самому необходимому, на чем держался наш государственный бюджет. Правительство резко сократило импорт товаров широкого потребления, который давал государственной казне доход, сравнимый по величине с доходами от казенной торговли спиртным. И, наконец, последняя и самая болезненная ошибка, которую я не в состоянии объяснить никакими разумными аргументами. Если за 1987—1988 гг. бюджетный дефицит постепенно подобрался к отметке в 60 млрд. рублей, то в 1989 г. (по плану!) он рванул сразу до уровня 120 млрд. Одновременно рванули и наши капиталовложения. Откуда правительство надеялось взять эти деньги? Очевидно, что оно сознательно шло на то, чтобы покрыть все эти расходы печатным станком и принудительным заимствованием у населения. Никаких других источников для такого роста капиталовложений у него не было. Это был откровенный шаг к инфляции. И сейчас мы сполна расплачиваемся за этот и другие шаги.

ОБ ЭКСТРЕННЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВАЛА СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Наблюдаемые в последнее время (особенно в 1989 г.) резкое усиление инфляции, обострение положения на потребительском рынке и скачкообразный рост бюджетного дефицита делают неизбежным, если эти разрушительные тенденции не остановить, глубокий кризис всей советской экономики в пределах, возможно, уже ближайшего года. Наиболее болезненными проявлениями такого кризиса будут, очевидно, переход ко всеохватывающей системе карточного распределения, полный развал потребительского рынка, резкое обесценение рубля, бурный расцвет «черной экономики» и как результат всего — неконтролируемые социальные последствия.

Очевидно также, что подобный развал рынка сделает невозможными либо неэффективными любые дальнейшие шаги по перестройке существующего экономического механизма. Самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование, рыночные рычаги, повышение роли экономических стимулов к труду — все это потеряет на какое-то время всякий реальный смысл. Рубль окончательно перестанет работать как в производственной, так и потребительской сфере, и у нас не будет никакого другого выбора, кроме возврата к директивной экономике. Учитывая вероятные политические и социальные последствия надвигающегося экономического кризиса, этот возврат может распространиться на достаточно длительный период времени.

Еще в конце 1988-го, начале 1989-го года руководство, видимо, не имело достаточно ясного представления о серьезности сложившегося положения, о чем свидетельствует, в частности, запланированный (рекордный) бюджетный дефицит на текущий год. Сегодня, судя по всему, такое представление имеется. Однако комплекс так называемых «чрезвычайных» мер, предложенный правительством Верховному Совету СССР в сентябре, при всей его полезности не может быть признан достаточным. Более того, по моему мнению, он свидетельствует о неправильной оценке как масштабов грозящей опасности, так и сути, сердцевины возникшей перед страной проблемы.

В предложенной правительством программе суть проблемы видится не в размерах уже сложившегося превышения денежной массы в стране над товарным предложением, т. е. не в масштабах уже имеющейся несбалансированности рынка, **а в приростных величинах**, в необходимости сбалансировать на следующий год прирост денежных доходов населения и предприятий, а также прирост товарной массы на рынке. Между тем **рынок уже развален.** Более 500 млрд. рублей имеющихся у населения и предприятий денег, излишних по сравнению с возможностями предложения (включая экспертную оценку денег «в чулках»); несоответствие структуры как текущего, так и отложенного спроса структуре товарного предложения; наконец, масштабы уже вспыхнувшей и продолжающей разгораться покупательской паники, искусственно повышающей спрос зачастую на порядок и выше против нормального,— все это делает **центральной проблемой сегодняшнего экономического положения задачу нейтрализации именно уже имеющихся в стране денег,** а не просто их прироста на следующий год.

Правительство, однако, в своей программе почти полностью обходит эту задачу. Но даже и в отношении приростных величин его программа представляется по меньшей мере недостаточной: предусматриваемые на следующий год 8.7% прироста денежных доходов населения и 10,1% прироста розничного товарооборота в условиях как минимум 5—6% инфляции, низкого качества отечественной потребительской продукции, 10 млрд. рублей новой денежной эмиссии и 60 млрд. рублей бюджетного дефицита не только не решат проблемы неравновесия рынка, но даже не смогут предотвратить ее дальнейшего обострения.

Одновременно политика жесткого налогового сдерживания роста зарплаты и других денежных доходов при пустых прилавках магазинов означает, что единственный, пусть и иллюзорный стимул к более инициативному и добросовестному труду полностью выключается (по меньшей мере на ближайшие два-три года) из нашей экономической жизни. К этому необходимо добавить реальную угрозу резкого (на сотни тысяч и миллионы человек) роста безработицы в результате свертывания инвестиционных программ, структурной перестройки промышленности, сокращения армии и конверсии оборонных предприятий. К этому же необходимо прибавить и поистине «самоедскую» политику удушения кооперативного сектора, которая столь резко обозначилась именно в последнее время: в будущем году ни на прирост товарного наполнения рынка, ни на прирост рабочих мест за счет этого сектора рассчитывать, видимо, уже не приходится. Можно лишь удивляться, как можем мы в угоду темным предрассудкам толпы и безграмотной бюрократии пожертвовать не только одним из наиболее эффективных долгосрочных факторов оздоровления нашей экономики, но и реальным источником наполнения рынка, который на следующий год мог бы один покрыть весь прогнозируемый прирост денежных доходов населения.

Резерв времени, оставшегося у нас, невелик — вряд ли больше, чем один год. Что можно сделать **в пределах именно одного года,** чтобы предотвратить крах, чтобы восстановить равновесие на рынке, чтобы заставить рубль, наконец, работать и тем самым перевести экономическую реформу из сферы благих намерений в сферу реального? Представляется, что в решении этой задачи **технически возможны три** основных варианта политики и практических действий.

1. РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И СУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСЦЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ НАКОПЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

Этот вариант должен быть отвергнут с порога: при существующей социальной напряженности и настроениях населения страна, по крайней мере сегодня, его не выдержит.

Кроме того, чисто финансовые результаты такого шага будут явно недостаточны. По максимуму он означал бы на следующий год лишь ликвидацию бюджетного дефицита и возможность отказаться от дополнительной денежной эмиссии. Но он лишь в слабой степени затронул бы основную проблему — масштабы отложенного спроса и денежных накоплений населения, равно как и необходимость притушить всеобщую покупательскую панику. Вряд ли через ликвидацию бюджетных дотаций на продовольствие, транспорт, жилищное и коммунальное хозяйство покупательная способность денежных накоплений населения «усохла» бы бо-

лее чем на 50 млрд. рублей из тех как минимум 500 млрд., что имеются сейчас у населения на счетах в сберегательных банках и «в чулках».

Возможно, государство уже в следующем году могло бы решиться на прекращение дифференцированных надбавок к закупочным ценам на продукцию отстающих и вовсе «лежачих» хозяйств в деревне. Это дало бы 33 млрд. рублей, или половину планируемого на следующий год бюджетного дефицита. Полезно напомнить в данной связи, что всего лишь 30% хозяйств (в большинстве своем не получающих таких надбавок) дают сегодня около 80% товарной продукции сельского хозяйства. Но это в высшей степени острый политический вопрос, и я не уверен, что государство может решиться в будущем году на такой шаг. Неизвестно, есть ли у государства возможности перекрыть за счет иных источников и резервов неизбежное сокращение закупок сельскохозяйственной продукции у субсидируемых таким образом хозяйств. И что делать с ними в дальнейшем: предоставить их полностью самим себе, позволить им самораспуститься, раздать землю фермерам (если возьмут)? В любом случае, однако, этот шаг может лишь частично помочь решению проблемы инфляции и несбалансированности потребительского рынка.

2. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА И КОНФИСКАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ

Ситуация, в которой оказалась сегодня наша экономика, не является уникальной для истории. При таких масштабах переполнения каналов денежного обращения правительства всегда прибегали к конфискации сбережений населения: примером могут служить денежная реформа 1947 года у нас и 1948 года в ФРГ. Однако общие политические и социальные условия проводившихся в прошлом денежных реформ принципиально отличались от тех, в которых сейчас находимся мы. Война кончилась 45 лет назад, и сегодня в глазах населения невозможно оправдать необходимость повальных денежных конфискаций трагическим стечением исторических обстоятельств.

Средний размер сбережений, хранящихся сегодня на примерно 200 млн. личных счетов в сберегательных банках — порядка 1,5 тыс. рублей. При существующем уровне бедности и социальной напряженности в стране это, несомненно, тот **нижний предел,** который конфискация в результате обмена старых денег на новые в отношении, скажем, 10 : 1, не может перейти без риска непредсказуемых социальных последствий. Таким образом, основная масса вкладчиков сегодня не может быть объектом конфискации. Могут быть (и то лишь частично) конфискованы только те деньги, которые они хранят «в чулке».

Если руководствоваться имеющимися оценками, то в настоящее время менее 10% вкладчиков держат более 40% общей суммы вкладов населения, что составляет около 160—170 млрд. рублей. Очевидно, что именно они, эти наиболее «богатые» вкладчики (наш «средний класс») и могут быть объектом конфискации, если в сберкассах потолок обмена старых денег на новые в отношении 1 : 1 будет установлен на минимально безопасном (в социальном плане) уровне в 1,5 тыс. рублей, а все, что свыше этого потолка, будет обмениваться в отношении 10 : 1.

В этом случае государственная казна может (с учетом обмена денег «в чулках») получить одноразовую выгоду более 100 млрд. рублей. При таких масштабах денежных конфискаций искомая цель — восстановление на какое-то время равновесия потребительского рынка — будет, несомненно, достигнута. В стране будет создана необходимая для прогресса экономической реформы обстановка всеобщего превышения предложения над платежеспособным спросом. Рубль, наконец, начнет работать.

Но неизбежен вопрос: выдержит ли перестройка как мощное, всеохватывающее общественное движение к обновлению страны такую хирургическую операцию? Нельзя не видеть, что при подобном повороте событий и сама перестройка, и ее лидеры надолго (возможно, на поколение или даже больше) лишатся поддержки значительной части наиболее активной, наиболее «перестроечной» части населения — его «среднего класса».

3. «ВЫКУП» ДЕНЕГ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Учитывая сложившуюся обстановку в стране, наиболее безопасный в политическом и социальном отношении путь восстановления равновесия на рынке — это массированная государственная товарная интервенция для стабилизации рубля, своего рода «выкуп» государством излишних денег.

Такая «интервенция» должна проводиться преимущественно по действующим ценам и без изменения официального, выгодного для бюджета курса рубля с последующим уничтожением (списанием) основной части полученной денежной выручки. Понятно, что эту операцию «выкупа» необходимо провести по варианту, наиболее дешевому для государства. Та же часть имеющихся в стране излишних денег, которая не может быть «выкуплена», должна быть иммобилизована, связана путем привлечения ее в различного рода долгосрочные активы.

Накопленные на сегодня населением и предприятиями деньги можно с определенной долей условности разделить на две категории: «горячие деньги», ищущие свой товар и способные мгновенно выплеснуться на рынок при появлении этого товара, и «капитал», т. е. сбережения в подлинном смысле этого слова, ищущие или ожидающие своего использования в качестве капиталовложений в производственные либо финансовые активы, либо в различного рода недвижимость.

В сложившихся у нас условиях и «горячие деньги», и «капитал» являются мощным фактором нестабильности рынка. Но «горячие деньги» опаснее, поскольку именно они в наибольшей мере определяют социальное поведение массового потребителя и положение на потребительском рынке. По максимальным оценкам (с учетом предполагаемой суммы денег «в чулках»), «горячие деньги» составляют сегодня величину порядка 150—200 млрд. рублей. Соответственно имеющийся в стране, но неиспользуемый и несвязанный «капитал» (с учетом денежных накоплений предприятий) может быть оценен в величинах порядка 300—350 млрд. рублей.

Каковы на сегодня реальные возможности быстрого «выкупа» (или отоваривания) государством **«горячих денег»** у населения и иммобилизация имеющегося «капитала»?

Из внутренних источников. Наиболее серьезными из них представляются следующие:

— не удушение, а, наоборот, поощрение и максимально льготный режим для кооперативов, производящих товары и услуги; при поощрительных условиях этот сектор с лихвой перекроет предполагаемый на 1990 г. прирост денежных доходов населения; в этом случае весь намечаемый на следующий год прирост государственного производства потребительских товаров (в масштабах порядка 40—50 млрд. руб.) и соответственно весь налог с оборота с них может быть направлен на рассасывание основной массы денег, скопившихся у населения;

— продажа или сдача в вечную аренду земельных участков городским жителям, продажа государственных квартир в собственность населения при обязательном, однако, сохранении их на хозрасчетном государственном обслуживании, продажа сверхнормативных запасов материалов, неустановленного оборудования и любой производственной техники городскому населению, фермерам и кооперативам; все эти приобретения будут иметь, естественно, характер капиталовложений, но они могут оттянуть на себя существенную часть и «горячих денег», если перед их владельцами появится реальный выбор, на что потратить деньги — на текущие или долгосрочные потребности;

— аналогичное значение будет иметь и выпуск товарных займов на строительство кооперативных жилищ и стандартных дачных домов, на приобретение в точно установленные сроки автомобилей, мебели, видеотехники, персональных компьютеров, стиральных машин и пр.; учитывая, например, уже намеченное сокращение фронта производственного капитального строительства и высвобождающиеся в связи с этим производственные мощности и рабочую силу, государство вполне могло бы взять на себя в следующем году обязательство обеспечить жильем в ближайшие 5 лет 2—3 млн. семей **дополнительно** при условии предоставле-

ния с их стороны правительству беспроцентного кредита на строительство; одна подобная операция могла бы изъять из оборота как минимум 75 млрд. рублей; почти столь же значительный эффект мог бы дать выпуск автомобильного займа под обязательство государства построить к середине 90-х годов два новых завода легковых автомобилей общей мощностью 2—2,5 млн. автомашин в год;

— выпуск доходных государственных ценных бумаг (займов) сроком от 30 дней до 30 лет; процент по ним должен превышать темпы инфляции как минимум на 2 процентных пункта, т. е. быть на уровне 7—8% годовых; аналогичный или близкий уровень процента необходимо установить и по срочным вкладам населения в сберегательные банки; определенный, хотя и ограниченный эффект даже уже в следующем году могут дать выпуск и продажа населению и юридическим лицам (т. е. предприятиям и банкам) без всяких ограничений акций и облигаций как действующих, так и вновь создаваемых предприятий;

— проведение для предприятий аукционов средств производства и производственных материалов (включая импортные) без всякого ограничения цен, с последующим изъятием в бюджет части полученной выручки и ее уничтожением; аналогичную роль могли бы сыграть и государственные валютные аукционы — продажа государством валюты предприятиям, а возможно, и частным лицам, по свободно складывающейся рыночной цене; в сочетании с уже намеченным заимствованием через госзаймы на выгодных условиях свободных средств предприятий, эти аукционы могли бы почти полностью снять проблему излишних денег в безналичном обороте;

— временное сокращение экспорта потребительских товаров с высокой бюджетной эффективностью (прежде всего автомобилей), не имеющих решающего значения для валютных доходов страны, но играющих важную роль в насыщении внутреннего потребительского рынка;

— наконец, нормализация казенной торговли спиртным и вытеснение из оборота самогонщика экономическими мерами, прежде всего доступностью спиртного в государственной торговой сети и понижением его цены; положение, когда как минимум половина спиртового оборота в стране остается в руках самогонщика и не облагается налогом, делается совершенно уже нетерпимым; «самогонный сектор» стал мощнейшим фактором спекуляции, развала рынка и организованной преступности; вопреки всякому смыслу государство лишило себя многомиллиардных бюджетных доходов и, более того, по сути дела, тратит сегодня столь нужные доллары на закупку свыше миллиона тонн кубинского сахара затем только, чтобы перегнать его потом через самогонный аппарат и обеспечить доходы самогонной мафии.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что в условиях огромного и неразворотливого бюрократического государства для организации большинства из указанных выше мер потребуется время. Боюсь, что даже если мы приступим к разработке и осуществлению этих мер в буквальном смысле слова завтра, отпущенных нам жизнью года — максимум полутора на это не хватит. В обстановке паники и обостряющейся с каждым днем социальной напряженности нужен почти немедленный эффект, почти немедленное улучшение положения на рынке и хотя бы какие-то признаки восстанавливающейся стабильности рубля. С этой точки зрения у государства сегодня (с учетом нереальности, видимо, быстрого прогресса в сельском хозяйстве) остается, по существу, только три возможных источника быстрого и экономически, так сказать, естественного влияния на рынок и на «горячие деньги»: рост кооперативного сектора, казенная торговля спиртным и резкое увеличение импорта потребительских товаров.

Следует признать, что все эти три источника на сегодняшний день представляются весьма проблематичными: первые два — по политическим и идеологическим, третий — по политическим и экономическим причинам, вместе взятым. Боюсь, что ни общество в целом, ни правительство еще не осознали масштабов надвигающейся опасности и пока еще склонны тратить время и силы на разного рода бесплодные препирательства об «идеологической допустимости» тех или иных разумных практических действий, необходимых сегодня стране позарез.

Из внешних источников. Строго говоря, вся проблема наших «горячих денег» и восстановления равновесия на рынке при нынешней бюджетной эффективности импорта «стоит» по международным критериям очень немного — максимум 20—25 млрд. долларов, учитывая, что на каждый потраченный на импорт ширпотреба доллар наша государственная казна может получить 8—10 рублей во внутренних рублях, а при должной маневренности — и больше. По существу, в более или менее нормальных условиях это был бы самый дешевый путь «выкупа» казной у населения всех излишних денег, причем «выкупа», при котором в стране не был бы обижен никто.

Осуществив такую разовую операцию (естественно, с растяжкой на 2—3 года), мы могли бы в дальнейшем использовать стабильный импорт ширпотреба на твердую валюту в качестве балансирующего и конкурирующего фактора, подстегивающего работу наших предприятий. Если кооперативный сектор не будет задушен и если планы по социальной переориентации промышленности будут осуществляться так, как они задуманы, импорт ширпотреба в дальнейшем (в зависимости от курса рубля) мог бы поддерживаться на уровне 3—5 млрд. долларов ежегодно. Это не является недостижимой целью, учитывая, что даже сегодняшние масштабы всего нашего импорта на твердую валюту находятся на уровне 31 млрд. долл. в год.

Но, напомню, разговор здесь идет даже не о ближайшем, но все-таки будущем, а о 1990 годе, т. е., по существу, о сегодняшнем дне. Можем ли мы сегодня где-нибудь найти, или сэкономить, или занять валюту, чтобы попытаться решить проблему «горячих денег» наиболее быстрым и дешевым путем — за счет импорта, причем преимущественно импорта именно на твердую валюту?

Боюсь, что и время, и многие возможности для решения наших проблем таким путем мы уже упустили. В частности, в 1989 г. потерял почти всякий смысл такой способ увеличения наших валютных резервов, как среднесрочные и долгосрочные займы у частных западных банков. Политические потрясения в стране, имевшие место в этом году, привели к тому, что международные банковские круги перевели нас в категорию потенциально ненадежных заемщиков. А это, согласно международной практике, означает резко повышенный, по существу, ростовщический процент по займам (сегодня некоторые банки уже требуют 15—16%), что лишает подобные заимствования всякой экономической целесообразности. Видимо, не следует также ожидать мгновенного эффекта и от таких потенциально значительных источников экономии валюты, как оплата нашим сельскохозяйственным предприятиям их сверхплановых поставок в долларах или сокращение импорта оборудования, металла и труб для нашей тяжелой промышленности.

Что же еще, какие другие резервы у нас остались? Кое-какие резервы все-таки еще есть, и, убежден, при должной смелости и воображении они могли бы быть использованы уже в следующем году.

По степени значимости, это, во-первых, остающийся все еще весьма существенным наш золотой запас. Он не может быть продан, поскольку в этом случае весь международный рынок золота рухнет. Но мы можем еще и сегодня занять под его обеспечение необходимые нам (с учетом других возможностей) 10—20 млрд. долл. Это не является чем-то необычным в мировой практике: подобным образом относительно недавно поступили, например, Италия и Португалия, когда им срочно понадобились деньги. Запас этот мы, видимо, храним «на черный день». Но какого же еще «черного дня» нам ждать?

Во-вторых, это возможности существенного сокращения наших расходов на помощь за рубежом, в особенности в «третьем мире». Эти расходы запланированы на 1990 г. в размере 9,7 млрд. рублей, т. е., по официальному курсу, порядка 14—14,5 млрд. долларов. Конечно, большая часть этой помощи предоставляется в рублях, но несколько миллиардов из нее идет в полновесных долларах. Так, может быть, настало время для радикального пересмотра привычных представлений и предрассудков и в этой области? Думаю, что при сложившихся условиях такой крест нашему народу уже больше не по силам.

Ошибкой была также известная акция с «Березкой», продиктованная самыми конъюнктурными идеологическими соображениями. Восстановив эту торговлю,

мы могли бы рассчитывать на приток в государственную казну нескольких сот миллионов столь нужных нам сейчас долларов. Точно так же не поддается никакому рациональному объяснению сложившаяся практика зачисления на валютные счета в банке доходов советских граждан в твердой валюте — бюрократические ограничения по ее приему, переводу и расходованию, чисто символический процент по счетам, необходимость предоставления каких-то сведений об источниках ее получения, очереди у касс, и пр. Мы и здесь продолжаем швыряться сотнями миллионов, если не миллиардами долларов вопреки очевидному государственному интересу и в угоду разным отжившим свое идеологическим традициям.

Потенциально значительным источником валютных поступлений могла бы быть и свобода приобретения собственности в нашей стране для иностранцев: земли, квартир, офисов, промышленных и торговых предприятий. Конечно, и в этой области трудно ожидать немедленного эффекта. Но кое-какие валютные средства мы могли бы таким образом получить в самое же ближайшее время. И кроме того, принятие соответствующего надежного законодательства могло бы не только улучшить общие перспективы сотрудничества с нашими иностранными партнерами, но и укрепить нашу сильно пошатнувшуюся в последнее время репутацию на международных финансовых рынках.

И, наконец, остается еще одна потенциальная возможность, о которой мне здесь нечего сказать, кроме того, что в принципе она, похоже, существует. Я имею в виду официальную государственную помощь со стороны наиболее дружественных нам западных правительств. Но это огромный политический вопрос, и я не беру на себя смелость взвешивать здесь все возможные «за» и «против». Подчеркну лишь, что в последнее время идея второго «Плана Маршалла» для Восточной Европы дискутируется на Западе очень оживленно и зачастую в весьма высоких официальных кругах.

Вместе с тем позволю себе высказать сугубо личное мнение относительно изложенных здесь проблем и поисков выхода из сложившегося тупика. По ряду аргументов, а еще более по какому-то интуитивному чувству я не верю, что из трех изложенных выше возможных вариантов стабилизации внутреннего рынка и преодоления надвигающегося его полного развала будет выбран третий и наиболее безболезненный вариант. Не удивлюсь, если мы скорее всего пойдем, а вернее, вынуждены будем пойти по второму варианту, т. е. по пути конфискации значительной части денежных сбережений населения и предприятий. Иными словами, всеобщая карточная система и, как выход из нее, грубая, жесткая денежная реформа при нынешней расстановке сил представляются мне в скором времени весьма вероятными. Вновь повторю: есть еще шанс, есть еще возможность этого избежать. Но избежим ли?

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЕРЕСТРОЙКИ ДЕНЕЖНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Нам на данном историческом отрезке времени более всего необходимо оздоровление денежно-финансовой системы страны. Сегодня и в достаточно длительной перспективе, убежден, для нашей экономики важнее всего здоровый, полновесный рубль, а не тонны, киловатты и километры.

Под таким оздоровлением следует понимать систему взаимосвязанных мер, нацеленных не только на быстрое восстановление равновесия рынка и финансовой стабильности, но и на глубокую перестройку всего денежного обращения, кредита и финансов страны. Если ограничиться только краткосрочными (пусть и радикальными) действиями, то через непродолжительный период ситуация повторится. Восстановление равновесия на рынке — это самый неотложный, самый важный, но лишь первый шаг.

Причем нам необходимо понять, что деньги — это не только то, что звенит или хрустит у человека в кошельке. Сейчас основное внимание обращается на денежные средства населения, т. е. на наличный оборот. Однако безналичный оборот (в основном средства предприятий) — по крайней мере такой же сильный фактор финансовой нестабильности. Причем по мере распространения хозрасчетных отношений его значение будет лишь возрастать. Самостоятельность предприятий, переход к экономическим методам управления невозможны без восстановления единства денежного оборота, т. е. без ликвидации барьера между наличной и безналичной его формами.

В основу денежно-финансовой реформы необходимо заложить два главных принципа. Во-первых, максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов, прежде всего их движения через госбюджет, организация их движения преимущественно «по горизонтали» через кредитный рынок. Во-вторых, покрытие расходов отдельных лиц, предприятий, государства только за счет реальных сбережений, а не печатного станка.

Банковская система. В перспективе основным звеном кредитной системы должны стать коммерческие банки, действующие на принципах хозяйственного расчета. Их функции (в самом общем виде) — осуществление расчетного обслуживания предприятий и частных лиц, привлечение временно свободных денежных средств, кредит, операции с ценными бумагами. Источником кредитования должны быть главным образом различные виды добровольных вкладов (депозитов) предприятий и населения в коммерческих банках, а не бюджетные средства. Последние могут использоваться в основном для субсидирования банковских кредитов в случае необходимости льготного финансирования проектов, приоритетных с государственной точки зрения. Для долгосрочного, инвестиционного кредитования целесообразно развитие сети инвестиционных банков, опирающихся в своей деятельности в основном на коммерческие депозитные банки и лишь в качестве дополнительного финансового обеспечения — на бюджетные ресурсы.

Необходимо, чтобы кредитно-финансовые институты конкурировали между собой за вклады и заемщиков. Поэтому вряд ли целесообразно ограничивать число банков, занимающихся сходной деятельностью (с точки зрения как характера финансовых операций, так и в отраслевом разрезе), а также устанавливать для кредитно-финансовых институтов жесткую специализацию. Это не соответствует утвердившейся во всем мире тенденции к универсализации деятельности банков.

Все кредитно-финансовые институты страны должны действовать в равных условиях, подчиняясь единым правилам денежно-кредитного регулирования, осуществляемого Госбанком СССР. В его функции должны входить эмиссия, регулирование денежно-кредитной системы (прежде всего объема денежной массы, т. е. наличных денег и вкладов различной срочности), контроль за валютными операциями. Для эффективного выполнения указанных задач необходимо на практике, а не на словах отделить Госбанк от Минфина. Центральный банк не должен подчиняться даже Председателю Совета Министров СССР, он должен подчиняться исключительно Верховному Совету СССР.

В деятельности Госбанка необходим переход от выпуска денег по кассовому плану к их эмиссии исключительно под залог материальных или фондовых ценностей: товарных документов, закладных под недвижимость, векселей, акций, облигаций и т. п. В этом случае главной функцией Госбанка в области руководства экономикой должно стать регулирование денежной массы, управление темпами ее прироста. В подобных условиях кредитное регулирование превратится в важнейший рычаг экономической политики, способный эффективно влиять на основные народнохозяйственные параметры (объем инвестиций, масштабы потребительского спроса, уровень валютного курса и т. д.).

На современном этапе основой политики Госбанка должна стать жесткая кредитная рестрикция, т. е. ограничение кредита. Это необходимо, чтобы ликвидировать питательную среду для инфляции. В этом и только в этом случае (но, конечно, после изъятия значительной части денежной массы и установления в стране обстановки превышения предложения над спросом) не только возможно, но и необходимо дерегулировать, избавить от контроля сверху цены для производите-

лей на подавляющую часть товаров и услуг. Это относится и к установлению заработной платы. Цены в этих условиях будут отражать объективные стоимостные пропорции гораздо точнее и оперативнее, чем это может сделать любая ценовая реформа и административный контроль за ценами и заработной платой.

Государственный бюджет. В конкретных условиях нашей страны ситуация в финансовой сфере во многом, если не в основном, определяется бюджетной политикой.

В данной связи представляется необходимым прежде всего значительное сокращение доли бюджета в национальном доходе. В последние 20 лет эта доля неуклонно растет. В 1970 г. через бюджет перераспределялось 53% национального дохода, в 1980 г.— 64%, в 1985 г.— 67%, а в 1989 г.— 76%.

Таким образом, несмотря на все разговоры об экономической реформе, о хозрасчете, свободе предприятий и пр., реальные экономические процессы пока развиваются в обратном направлении, в направлении все большей централизации. Очевидно, что при такой ситуации экономическая самостоятельность предприятий — фикция. Точно так же при нынешней доле бюджета в национальном доходе, структуре его доходов и расходов, механизме бюджетного финансирования и способах покрытия бюджетного дефицита бороться с инфляцией невозможно.

Для исправления сложившегося положения — и как разовое мероприятие, и в качестве долгосрочной стратегии — необходимо резко уменьшить объем централизованных капиталовложений. Финансирование инвестиций через центральный бюджет должно быть исключением, а не правилом. Подавляющая доля капиталовложений должна финансироваться за счет средств предприятий (собственных и заемных) и местных органов власти.

Нуждается в совершенствовании и система дотаций (21% расходной части бюджета). Наряду с их постепенным сокращением (что станет возможным в случае передачи промышленных и сельскохозяйственных убыточных предприятий в аренду, их роспуска, ликвидации, а также в результате изменения соотношений цен) необходимо изменить сам принцип субсидирования — предоставлять дотации не производителю, а преимущественно потребителям.

В центральном бюджете целесообразно сохранить финансирование общегосударственных нужд (оборона, внешняя политика и пр.), программ, имеющих общегосударственное значение (инфраструктура, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, некоторые дотации и субсидии), а также строительство ограниченного числа особо важных для всей страны крупных промышленных объектов.

В качестве первоочередных, срочных возможностей сокращения расходов госбюджета следует прежде всего указать на необходимость резкого сокращения инвестиций в проекты с длительными сроками окупаемости (никаких «великих строек» по крайней мере на ближайшие 5—10 лет); дальнейшего сокращения расходов на оборону и международные обязательства; сокращения госаппарата; прекращения искусственной государственной поддержки убыточных предприятий. Необходимо также в сложившихся инфляционных условиях ограничить инвестиционную активность предприятий, повысив банковский процент по займам.

Курс на сокращение бюджетных расходов позволит одновременно значительно уменьшить доходную часть бюджета. Не менее важно и изменение самого принципа мобилизации этих доходов. Главное здесь — переход к прогрессивному прямому налогообложению прибыли и индивидуальных доходов как основному источнику поступлений в бюджет. Использование же косвенных налогов должно рассматриваться в качестве вспомогательной меры. Помимо всего прочего, это позволит уменьшить перекосы в ценах, которые у нас чрезмерно перегружены выполнением перераспределительных функций и потому не отражают реальных соотношений затрат.

Потребуется установление единого потолка нормы совокупного налогообложения прибыли предприятий (союзного, республиканского и местного налога) в масштабах всей страны вне зависимости от сферы их деятельности и, что особенно важно, форм собственности. Налогообложение кооперативов не от прибыли, а от доходов превращает все разговоры о равенстве различных форм собственности в откровенное лицемерие.

В индустриальных странах совокупная норма всех видов налогов на предприятия сегодня, как правило, не превышает 50% прибыли (в СССР — более 70%). В противном случае резко снижается заинтересованность производителя. В нашем случае норма союзного налога не должна превышать 25—30% (причем вся амортизация должна оставаться у предприятий). Остальное — это доходы республиканских и местных бюджетов.

Важнейшим, принципиальным вопросом построения доходной части бюджета является дальнейшая судьба налога с оборота. Без отмены, с одной стороны, основной части бюджетных дотаций на продовольствие, жилье, транспорт, коммунальные услуги, а с другой стороны, налога с оборота на промышленные потребительские товары, мы никогда не будем иметь нормальной системы цен и нормальных, т. е. не искажающих экономическую реальность ценовых пропорций. Как представляется, в перспективе необходимо постепенно вообще отказаться от использования налога с оборота и перейти на одну из форм налога на стоимость, например, налог на продажу. Этот налог должен быть значительно ниже налога с оборота (до 8—10%) и не включаться в цену, а исчисляться с нее в момент продажи, что исключительно важно для реалистичности бюджетных доходов. В случае отмены налога с оборота необходимо также введение открытого акцизного налога на спиртные напитки, табачные изделия, бензин и пр. Могут быть и другие варианты частичной компенсации отмены налога с оборота.

Необходимо отметить, что возрастание роли личных доходов как базы налогообложения станет возможным только в случае повышения доли фонда заработной платы в национальном доходе. В настоящее время в развитых государствах эта доля находится на уровне 60—80% национального дохода, а в Советском Союзе — 37%.

Система налогообложения — и прибыли, и личных доходов — должна быть единой вне зависимости от форм собственности, сферы деятельности и источника дохода. Налоговые условия для государственных, арендных, кооперативных и индивидуальных предприятий должны быть равными. В то же время различные налоговые льготы должны стать эффективным рычагом экономической политики.

Необходимо также в законодательном порядке ограничить возможность покрытия дефицита бюджета за счет «кредитных ресурсов Госбанка», т. е. за счет эмиссии. Само по себе наличие бюджетного дефицита еще не означает неблагополучия в экономике. Однако он должен покрываться не печатным станком, а реальными сбережениями, т. е. за счет продажи населению, предприятиям, банкам на добровольной основе государственных ценных бумаг, которые должны свободно продаваться и, что не менее важно, покупаться государством. Причем должна быть именно продажа, а не принудительная разверстка. Существующий государственный внутренний долг (порядка 400 млрд. рублей) также должен быть трансформирован в ценные бумаги различной срочности и доходности.

Валютная сфера. В процесс финансового оздоровления экономики и создания полноценной кредитно-денежной системы значительная роль принадлежит валютным мероприятиям. В качестве срочных мер, способствующих финансовому оздоровлению экономики, наиболее важными представляются:

— целенаправленное поощрение экспорта не только высокотехнологичной продукции, но прежде всего трудо- и материалоемких товаров, по которым у нас имеется сравнительное преимущество (прежде всего дешевая рабочая сила); учитывая, что подобная продукция в отличие от сырья не может поставляться крупными партиями, а также весьма широкую ее номенклатуру, необходима максимальная хозяйственная самостоятельность в экспортной деятельности; бюрократическое лицензирование (т. е. запрещение к вывозу) должно быть максимально ограничено;

— тщательный пересмотр структуры нашего импорта с целью уменьшения закупок зерна, некоторых видов оборудования, труб, сырья и материалов, переключение валютных средств на приобретение товаров народного потребления, медикаментов и промышленной техники, способной принести быструю отдачу,— по самым скромным подсчетам, существующая в СССР структура цен обеспечи-

вает в 20 раз более высокую бюджетную эффективность импорта ширпотреба по сравнению, например, с импортом зерна;

— распространение практики расчетов в твердой валюте не только на наших сельскохозяйственных производителей, но и на производителей топлива и минерального сырья — за дополнительные (против среднего уровня) поставки, но по цене, существенно ниже мировой; сохранение за ними безусловного права расходовать эту валюту по своему усмотрению;

— приведение объема помощи дружественным странам в соответствие с нашими реальными возможностями и реальными интересами; прекращение искусственного финансирования этих стран через экспортные и импортные цены;

— снижение доли валютных отчислений государства от доходов наших экспортеров, введение единого норматива отчислений для всех отраслей и сфер деятельности; в отдельных случаях (для наиболее перспективных экспортных производств) — полная отмена валютных отчислений; запрет на любые ограничения в праве владельцев валюты расходовать ее по собственному усмотрению;

— отказ от монополии Внешэкономбанка СССР на проведение международных расчетных и кредитных операций;

— введение практики свободного обмена для иностранных граждан (по платежам некоммерческого характера) принадлежащих им наличных денег на советские рубли по установившемуся в мире рыночному курсу; тем самым будет значительно сокращен «черный рынок», его валютная выручка пойдет государству; это будет также одним из шагов к выявлению реального курса рубля (главным образом по потребительским товарам) и обеспечению в дальнейшем его обратимости по широкому кругу операций;

— полная либерализация режима валютных счетов советских граждан, свобода зачисления и снятия их средств с валютных счетов; выплата процентов по этим счетам либо в свободно конвертируемой валюте, либо в рублях по свободному курсу, применяемому для расчетов с иностранцами по неторговым операциям; восстановление продажи товаров повышенного качества через систему «Березки», а также квартир, земельных участков, техники и прочего за валюту как советским гражданам, так и иностранцам;

— создание максимально благоприятных условий для привлечения валюты в формах, не ведущих к увеличению долга (прежде всего — совместные предприятия и прямые частные иностранные инвестиции);

— обеспечение возможностей для выезда советских граждан для временной работы за границей по контрактам с иностранными фирмами;

— в той мере, в какой рационализация импорта, сокращение наших международных обязательств, привлечение валюты от иностранцев и собственных граждан и займы под обеспечение нашего золотого запаса не смогут удовлетворить потребности страны в резком росте импорта потребительских товаров, необходимо продолжать усилия по выходу на международные финансовые рынки с целью привлечения новых кредитов на приемлемых условиях.

Параллельно с чрезвычайными мерами необходимо приступить к осуществлению комплекса долгосрочных мер по поэтапному переходу к конвертируемости рубля и полнокровному участию Советского Союза в международной валютной системе. Такие меры должны включать:

— установление экономически обоснованного и единого курса рубля, что на практике будет означать очень значительную его девальвацию; в дальнейшем необходима регулярная корректировка курса советской валюты с учетом относительных темпов роста цен, изменения их структуры, а также состояния платежного баланса;

— расширение оптовой торговли средствами производства и тем самым свободы для советских и иностранных держателей рублей тратить их по своему усмотрению;

— разработка и реализация системы мероприятий по обеспечению взаимной обратимости валют стран — членов СЭВ; переход на первом этапе от двустороннего к многостороннему клирингу, использование твердых валют в качестве эталона ценности и средства расчетов по большинству взаимных операций;

— создание в стране валютного рынка, регулируемого Госбанком; представляется, что с учетом опыта 1922—1924 годов мы уже в ближайшее время могли бы решиться на введение параллельного, «червонного» рубля, подкрепленного нашим золотым запасом, разветвленной сетью магазинов типа «Березка» и международным кредитом; на первых порах «червонец» мог бы стать средством выкупа по свободно складывающейся (аукционной) рыночной цене излишних денег у населения и предприятий с последующим уничтожением этой выручки; по мере снижения первоначального ажиотажного спроса на червонцы, цена червонца неизбежно опустилась бы до более или менее естественного уровня; одновременно червонец мог бы стать основным средством обращения и платежа в планируемых свободных экономических зонах, а возможно, и в свободных отраслях.

Итогом, как и в 20-х годах, могло бы стать постепенное вытеснение «плохих» денег «хорошими» деньгами, т. е. червонцем. Превращение же существующего рубля в полноценные, конвертируемые деньги — слишком долгий процесс, и он может занять не одно десятилетие.

Помимо мер, направленных на поэтапный переход к обратимости рубля, необходимо также налаживание тесного сотрудничества с международными экономическими организациями, такими, как Организация экономического сотрудничества и развития, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и др., и последующее членство в этих организациях. С учетом особой роли Международного валютного фонда, все более превращающегося в орган координации экономической политики стран современного мира, для постоянных рабочих контактов с ним и последующей эффективной деятельности в его составе необходим соответствующий рабочий орган на высоком уровне в СССР. Этот орган мог бы осуществлять и контакты с Группой 7, Комитетами ОЭСР, другими международными организациями такого уровня.

Необходимо также отметить, что эффективные действия во всех областях денежно-финансовой сферы невозможны без полной и достоверной статистики, включающей данные о денежной массе, пассивах Госбанка СССР, исполнении бюджета, индексы оптовых и розничных цен, стоимости жизни, данные о золотовалютных резервах, состоянии торгового и платежного баланса, международных кредитных и инвестиционных операциях, внешней и внутренней задолженности и др.

Таковы, на мой взгляд, главные но, по-видимому, далеко не полные по охвату условия финансового оздоровления и перехода к денежному устройству, соответствующему современному этапу экономического, социального и политического развития страны. Без этих мер в недалеком будущем финансовый кризис неизбежен. В случае же их осуществления денежно-финансовая сфера может стать одним из действенных средств перестройки экономики Советского Союза на принципах конкурентности, эффективности соответствия требованиям мирового хозяйства. Рубль, наконец, начнет работать.

В заключение, однако, мне хотелось бы высказать ряд соображений из тех, что обычно не принято развивать и обсуждать в докладных записках. И прежде всего о состоянии умов в нашем обществе, о тех взрывах страстей, которые сотрясают сегодня страну повсюду — начиная с улицы, с митингов и кончая Верховным Советом.

Что с нами происходит, дорогие соотечественники? Не начинаем ли мы все вместе (и очень быстро) сходить с ума? Рев толпы: «Все поделить, отнять, раскурочить, разгромить!» Крики депутатов: «Запретить, разогнать, отправить за решетку, вон они, виноватые,— ату их!»

Такое впечатление, что новая болезнь — «повальное самоедство» охватывает страну. Со всех сторон вопли, жалобы, стенания: «Жизнь ухудшается! Ну сделайте, сделайте же хоть что-нибудь! Сил больше нет терпеть!» Но вот появляется реальная сила (скажем, те же кооперативы), способная что-то изме-

нить, заткнуть дыры, пополнить рынок, и мы, тряся кулаками, наваливаемся на нее. Плевать, что рынок катастрофически пустеет, плевать, что еще немного — и мы все сядем на «военный» рацион! Из зависти и недомыслия мы готовы со всего размаха рубануть себе же топором по ногам. А потом опять рыдать и жаловаться, что плохо живем.

Слышу возражения: в кооперативном движении много пены. А в государственной торговле и сфере услуг — в любом бакалейном магазине, или на овощной базе, или в промтоварном универмаге — ее что, меньше? Но мы по своей рабской натуре к этой пене привыкли, смирились: то «воры в законе», а эта кооперативная, мол, шантрапа — кто? Выходит, Рашидов или Медунов — от Бога, а шашлычник — от дьявола? Но пена — она везде пена (в этом смысле равенство форм собственности, считайте, что уже достигнуто). И с пеной и надо бороться! А не запрещать торговые и посреднические кооперативы только потому, что они торгуют, покупают и сводят вместе тех, у кого есть потребность в каком-то товаре или услуге, и тех, у кого этот товар или услуга имеется, так сказать, в наличии. Торговец или посредник — столь же жизненно важная для здоровой экономики фигура, как сталевар, или шахтер, или учитель, или врач. Между прочим, США или Япония и живут-то так хорошо потому, что у них лишь менее 30% самодеятельного населения стучит молотом по наковальне или стоит у станка, а 70% заняты в том, что мы называем сферой услуг и чей труд мы по дремучей дикости своей все еще презираем и считаем ни за что.

Говорят еще, что кооператоры слишком много зарабатывают. И здесь «логика перевернутого мышления», и здесь все поставлено с ног на голову. Не они много зарабатывают, а рабочие госпредприятий мало! По нынешнему уровню производительности труда (если оглянуться на другие страны) наш рабочий должен зарабатывать в месяц не меньше 500—600 рублей. Это как раз то, что в среднем и зарабатывает кооператор. А если учесть, что производительность труда в кооперативах вдвое выше, то зарабатывают-то кооператоры, получается, мало, а не много.

Прав академик Л. Абалкин: сегодня мы больше всего заняты поисками виновных в том, что ничего не получается. Нужен образ врага, на которого можно все свалить. Теперь он есть. Это наши подпольные (в основном мифические) «богатеи», у которых надо только все отнять, и тогда всем будет хорошо. Да не будет хорошо! Уверяю вас: и по десятке каждому не достанется. Неужели 70 лет бесплодной дележки нас не научили ничему? Производить надо, а не делить, иначе и правнукам нашим никогда не выбиться из нищеты. Другой враг — это кооператоры, которые, обеспечивая менее 2% товарооборота страны, оказывается (по утверждению наших профсоюзных боссов), виноваты в развале всей нашей экономики. И, наконец, это ученые-экономисты, которые, конечно же, не совершали таких просчетов, как антиалкогольная кампания, закон о нетрудовых доходах, гигантский неоправданный бюджетный дефицит и много другого прочего, но виноваты все равно.

Грустно, дорогие соотечественники! Что же мы хотим: довести себя своим самоедством до полного экономического паралича или выздороветь? И чем мы намерены руководствоваться впредь: здравым смыслом, экономической грамотой или злобой, завистью, безотчетным стремлением, как бурсаки у Помяловского, крушить и громить все почем зря?

Виктор Криворотов

ИРОНИЯ ИСТОРИИ, ИЛИ О ПОЛЬЗЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУССИЙ ПРОШЛОГО

Когда сегодня мы задаемся вопросом, почему Отечество наше зашло в тупик — а это именно так,— инстинкт самосохранения требует предельной точности и откровенности суждений. Необходимо прежде всего выяснить: является ли этот тупик следствием уникального стечения внешних экономических и политических условий, событий или соответствующих решений, начиная с введения чрезвычайных мер в конце 20-х, или же все это закономерный итог той модели социализма, логика развития которой в некотором смысле запрограммированно ведет общество к тупику, если нет у этой модели никакой столь же определенной и ясной альтернативы.

Разобраться тут неожиданно помогает дискуссия начала века — между марксистами и народниками разного толка, среди которых были такие крупные фигуры, как Ленин и Туган-Барановский.

Несмотря на экономический характер дискуссии, она имела чисто политическую подоплеку. Речь шла о том, есть ли перспективы у капитализма в России, а иными словами — способен ли капитализм создавать внутренний рынок сам себе или, наоборот, он разрушает этот рынок, усиливая эксплуатацию рабочих и разоряя крестьян. Народники доказывали: капитализм в России бесперспективен, ибо рабочие не имеют возможности потребить прибавочный продукт, поскольку смысл капиталистического производства и состоит в присвоении этого продукта предпринимателями, а значит, говорили они, последние должны продать этот продукт на сторону. Из этих рассуждений логически вытекало: «спасение» капитализма в экспорте за границу. Крестьянское хозяйство, разрушаясь по мере развития капитализма, подобный рынок, очевидно, создать не могло. Превращение огромной России в чисто экспортную державу представлялось сомнительным, поскольку таких рынков сбыта не было, и все это давало основание делать вывод в пользу народнической доктрины — о том, что капитализм как общество, не имеющее внутренней основы развития, в России не пройдет.

В этих рассуждениях имелась очевидная логическая ошибка, на которую сразу обратили внимание критики-марксисты. Прибавочный продукт, доказывали они, может потребляться и внутри страны — за счет постоянного раздувания производства средств производства. Тот же Туган-Барановский считал, что в принципе возможна некая ситуация, когда прибавочный продукт может быть целиком потреблен именно таким образом, при соблюдении, естественно, определенной пропорциональности отраслей.

Казалось бы, та давняя дискуссия не имеет ничего общего с историческим развитием страны. Однако нет. Позиции участников этой дискуссии припомнятся не только во времена нэпа, не только в перерыве между мировыми войнами, но и сегодня.

В своих «Письмах из деревни», написанных еще в 70—80-х годах прошлого века, ссыльный профессор-народник Александр Николаевич Энгельгардт, размышляя об экономических последствиях обезземеливания российских крестьян, превращения их в голодных рабочих, говорил: «Что толку для фабриканта, что голодный рабочий дешев, когда фабриканту некому сбыть свой миткаль, кумач, плис? Да он, фабрикант, втрое будет платить рабочему, лишь бы только был

сбыт на его товар. А кто же, как не мужик-потребитель, может поддержать и фабриканта и купца? На господах далеко не уедешь. Не тот фабрикант живет, который производит господский товар, а тот, который производит мужицкий. Богатеет тот купец, который торгует русским, то есть мужицким товаром... А благосостояние мужика может улучшиться только тогда, если он так или иначе получит возможность увеличить свой надел, расширить свое хозяйство. Пустой расчет тех, которые думают, что, если мужик беден, то он будет дешево наниматься в работу на их хозяйство».

Тезис о богатстве мужика как локомотиве промышленности Энгельгардт подкрепляет положением о производительном характере потребления трудового крестьянина: «Хлеб продавали паны, деньги получали паны, но много ли из этих денег разошлось внутри, потрачено на хозяйство, на дело? Мужик продаст хлеба, так он деньги сразу на хозяйство потратит. А пан продаст хлеб — и деньги тут же за море переведет, потому что пан пьет вино заморское, любит бабу заморскую и магарыч за долги платит за море».

Фактически на примере сельского хозяйства Энгельгардт противопоставил два пути развития капитализма — классического европейского и американского, но чтобы это понять более глубоко, надо вспомнить о той давней дискуссии начала века, с которой мы начали разговор, а также вернуться к дебатам о перспективах и формах развития мирового капитализма того периода. Гильфердинг — один из ведущих теоретиков германской социал-демократии двадцатых — тридцатых годов, считал, например, что, наращивая производительные силы, можно перейти к социализму, коль скоро этот процесс сопровождается усилением монополизации и, таким образом, планомерности. Фактически в этих рассуждениях во многом отразилась специфика европейской реальности, когда капитализм, решая проблему реализации прибавочного продукта, развивался в основном по предсказанному еще Лениным и другими русскими марксистами пути, делая вложения в средства производства.

В то же самое время французский социалист Ж. Мок доказывал, что наиболее рациональную формулу экономического развития, в которой прибыль зависит — ни больше ни меньше — от повышений заработной платы, нашли американские капиталисты. У них, по его словам, дополнительная прибыль, полученная от рационализации производства, шла в некоей своей части на дополнительное потребление. «В этой новой форме капитализма,— утверждал Ж. Мок,— не может быть и речи о продолжающемся обнищании масс (как свидетельствует статистика), ни о растущем классовом антагонизме (как говорят факты), ни о промышленных кризисах, углубляющихся недопотреблением (как подтверждает опыт)».

Противопоставляя капитализм «европейский» капитализму «американскому», Ж. Мок говорил о том, что европейские капиталисты в отличие от американских чрезмерно «жадничают», стремясь оставить себе всю прибыль, полученную в результате снижения себестоимости продукции, и что речь, по сути, должна идти о совершенно разных — по типу реализации прибавочного продукта — моделях развития капитализма: одна — по линии «организации», другая — по линии «рационализации». Первая — это безграничные вложения в средства производства при сохранении узкого потребительского рынка внутри страны, эксплуатации, что постепенно приводит к повышению цен, к инфляции, а следовательно, к необходимости замораживания цен, фондированию распределения ресурсов и тем самым к развалу товарного производства, а затем и производства вообще.

Вторая модель — американская, которая предполагает реализацию существенной части прибавочного продукта в сфере потребления, приводя тем самым к повышению уровня жизни людей.

Говоря словами Энгельгардта, американскому фабриканту — в большинстве своем — можно было разбогатеть, если он в конечном итоге способствовал производству «мужицкого», то есть фермерского, товара и другого продукта конечного спроса. При этом промышленность, расширяя производство средств производства, развивалась за счет увеличения внутреннего рынка, ориентирован-

ного на мощные средние слои, основу которых составляло среднее фермерство, американский «середняк». Надо сказать, что эта ориентация на фермера как потребителя долгое время оставалась основным мотором экономики США, ускоренно развивала промышленность и доказывала тем самым неоспоримый факт: богатство общества может создаваться не только за счет эксплуатации и экспорта за рубеж, но и путем расширения оборота капитала внутри страны — между сельским хозяйством и промышленностью. Такой путь развития еще более укрепился и стабилизировался в США после включения в потребительскую систему рабочего класса. Формирование мощных средних слоев тут началось после Великой депрессии и реформ Рузвельта, которые были связаны с поддержанием и контролем баланса производства и потребления с помощью средств государственного регулирования экономики. Акцент на собственный внутренний рынок сделан сегодня не только в США. Расширяя внутренний рынок, затягивая порой пояса, вышли в лидеры страны Западной Европы. И, наконец, Япония, которая вырвалась в число экономических гигантов за счет дешевой рабочей силы и экспортной ориентации производства, сегодня активно расширяет потребление.

А что у нас? В годы революции существовала иллюзия, что новая система хозяйствования, импортированная в основном из Германии, лишившись своей «товарной упаковки», представ в совокупности самых современных производительных сил технологии и организации, симбиоза двух половинок социализма — государственно-монополистического капитализма и диктатуры пролетариата,— станет новым мотором мирового развития. Опыт гражданской войны и нэп, однако, поколебали эту уверенность. Возникли необычные для ставшего тогда традиционным понимания большевизма представления о «строе цивилизованных кооператоров», о необходимости «учиться торговать»... Но, как известно, всему этому суждена была быстрая смерть.

Практически до нэпа большевики считали социализм нетоварным обществом; в революцию они вошли с представлениями о том, что социализм это жестко централизованная система, базирующая свою основную хозяйственную структуру на германской модели государственно-монополистического капитализма с ее мощным директивным планированием, фондированием ресурсов и т. д. Считалось, что социализм как политическая, а затем и хозяйственная система реализует власть государственной монополии средствами диктатуры пролетариата.

Так родился монстр государственно-монополистического социализма, и в такой структуре не оказалось места ни эпической фигуре мужика в лаптях и с бородой, ни столь же нескладной и, разумеется, столь же неуместной для возвышенного слова «социализм» жуликоватой фигуре торгаша, мелкого лавочника, вышедшего из этих слоев интеллигента. Словом, всей той кочующей из фильма в фильм пестрой и разношерстной компании всевозможной «контры», называемой бранным словом «мелкая буржуазия». Не было места тому социальному слою, который известен нам в амплуа скорее анекдотическом и который служил (и, увы, служит) синонимом постоянной неустойчивости, мягкотелости или, наоборот, сверхреволюционности... Словом, все это были ненадежные и неподходящие для социализма люди, которых во время оно в неразберихе, да под горячую руку можно было даже пустить в расход. Что, кстати, и было сделано... И, конечно же, в голову тогда не могло прийти, что не кулак и не бедняк, теряющие навыки крестьянствования, а трудящийся крестьянин, середняк, мужик в собственном смысле слова как представитель средних слоев крестьянства был для России материальным воплощением восходящей ветви развития товарного производства и, по существу, воплощением социализма.

Что же, надо признать: народники, а затем и их наследники — левые эсеры — предлагали действенную альтернативу тому пути, по которому пошла страна. Альтернативу разумную, которую в течение короткого периода нэпа реализовали сами большевики, связанную с возможностью устойчивого развития товарного хозяйства с опорой на неэксплуататорское большинство, на среднее

крестьянство. Все это актуально и сегодня. Либо — опора на мужика, а по-нынешнему — на фермера, арендатора, либо — если не выйдет — дальнейшее разорение деревни. Иного, как сейчас говорят, не дано...

Трагедия русского мужика, исчезнувшего из нашей истории где-то полстолетия тому назад, осознается сегодня как неизбывная и тупая боль. На собственной шкуре мы почувствовали, что́ принесло насильственное истребление векового уклада, раскрестьянивание. Помимо проблемы моральной — огромные экономические последствия: закупку продовольствия за рубежом, нехватку продуктов питания, огромные капвложения, не дающие отдачи...

Одновременно мы поняли, что истребление крестьянства было предопределено особой идеологией, мифом не только об отсталости мелкого, крестьянского хозяйства, но и об отсталости вообще крестьянского (по сравнению с городским) начала, уклада.

Все так, но что дальше?

А дальше надо осознать главное: о каких бы механизмах или путях развития ни шла речь, в конечном итоге в подлунном мире нет ничего значительнее конкретного человека, делающего свое дело, достигающего целей. Человека, наделенного даром свободного выбора. Дар этот, к сожалению, редко реализуется, и тогда лучшие из людей начинают чувствовать себя пасынками истории, ибо теряют свободу — то единственное, чем, как утверждают отцы церкви, Создатель выделил их из мириадов других живых тварей.

В истории, таким образом, можно выделить точки свободы, времена выбора и долгие периоды, когда пространство свободы, непрерывно сужаясь, превращается в едва мерцающее ничто. В этих точках ветвления истории человечество творит. В остальное же время следует — по большей части вынужденно — логике уже принятых решений. Несомненно, и в русской революции была своя точка свободы, когда творились механизмы будущего развития. Может быть, такой точкой свободы был период «триумфального шествия» Советской власти до разрыва с левыми эсерами, когда между русскими социалистами еще не легла кровь, не занесен был меч? Что касается нэпа, то обстоятельства, ограничивающие свободу выбора, к тому времени уже возникли и даже окрепли. И не последним был фактор появления милитаризованной правящей партии, созданной в гражданскую войну. Так что выбор уже свершился, и страна вышла на нисходящую ветвь, хотя внешне это и не проявилось...

Значит ли это, что, сообразуясь с историческим опытом, нам следует немедленно двинуться по американскому пути и все наши проблемы можно решить принятым и простым способом — повысив заработную плату и расширив внутренний спрос?

Увы, дело обстоит не так-то просто. Мы слишком сильно отстали, и речь сейчас может идти не о расширении рынка, которого просто нет, а о его формировании из уцелевших ошметков, о возникновении нормальных «твердых» денег. Чтобы создать современные механизмы регулируемого рынка, нужно будет пойти на многое. Может быть, ввести параллельную валюту, обеспеченную импортом, товарами совместных предприятий или отечественной, но наиболее конкурентоспособной продукцией, создав тем самым зародыш открытой рыночной экономики в ограниченном, правда, объеме, а также питательную среду, в которой дадут всходы предпринимательский зарубежный опыт, экономические механизмы, формировавшиеся там веками. Не уверен, что нам не удастся избежать массированного импорта потребительских товаров. Наивно при этом думать, что история возьмет с нас «дешевле», чем со всех прочих. На пути в сверкающий мир современной экономики мы неизбежно попадаем в чистилище. Если же и дальше будем медлить с решениями, оздоровление страны затянется на десятилетия, приобретая постепенно характер гниения, что чревато политической нестабильностью и социальными конфликтами. Но это — далеко не самое опасное, ведь в любом случае эти процессы не что иное, как переходный период, тяжелое похмелье после семидесяти лет безудержного пьяного насилия над экономическими законами. Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что и после переходного периода перед

нами встанет со всей остротой «вечная» для нас проблема: как создать накопления для модернизации никуда не годной, изношенной и устаревшей промышленности? Как? Конечно же, зарабатывая деньги, подобно трудолюбивым японцам или южным корейцам. Внутри ли страны или на внешних рынках, экспортируя за рубеж, если, конечно, такие возможности у нас будут. Главное — мы должны быть готовыми к затягиванию поясов, стойко нести тяготы более чем скромного существования. Только при этих условиях мы можем рассчитывать на финансовое Эльдорадо. Думаю, что еще не раз вспомним мы и мужика-трудягу, который, довольствуясь малым, «вытягивал» Отечество в тяжкую годину.

Наивно только полагать, что возрождение крестьянина произойдет по мановению волшебной палочки или после того, как мы принесем ему вежливые извинения. Возрождать крестьянство, деморализованное уравниловкой и местным начальством, придется с ноля. Необходимы государственные программы обучения людей забытому почти крестьянскому ремеслу, которые включали бы сюда и стажировки у заграничного фермера.

Придется запастись терпением, трудолюбием. Придется сделать страну открытой, перенеся на отечественную почву высокоразвитые формы организации фермерского хозяйства, обслуживающих их кооперативов, подкрепив все это закупками необходимой техники из-за рубежа, пока мы не наладили производство своей. И самое главное — необходимо отдать землю крестьянину в личное, безвозмездное пользование. Без этого нам не сформировать внутренний потребительский рынок...

Уже несколько лет пресса эпохи перестройки выясняет вопрос: что и как в нашем развитии переломила сталинщина? И как на спиритическом сеансе, все чаще и чаще всплывает из небытия легендарная фигура в лаптях, с бородой, в армяке, с посошком или без оного — русский мужик. История замкнула свой круг, и, пытаясь собрать разбросанные второпях камни, мы все чаще возвращаемся к этой нескладной фигуре, реальной «надеже и опоре» русской истории, столь преступно-неосмотрительно разрушенной.

Все 70 лет Советской власти и «крепкий мужичок», и торгаш, и лавочник олицетворяли социально чуждую нашему обществу среду, от которой мы все время очищались, отмывались и, кажется, вполне очистились... Вот почему такая ненависть к «слишком много зарабатывающим» городским кооператорам и индивидуальщикам, а в деревне — к современным «аналогам» «мужика» — арендаторам и фермерам. Реакция носит зачастую характер инстинктивный и почти что физиологический: это враг...

Перестройка потому так трудна, что наряду с гигантскими экономическими проблемами, связанными с формированием в нашей стране экономики потребления, необходимо фактически изменить социальный характер общества. Нельзя забывать и о том, что многие люди, преимущественно среднего и преклонного возраста, по существу, и не могут уже перестроиться, уйти от стереотипов прошлого, овладеть новыми социальными навыками, связанными с жесткой необходимостью быть предприимчивыми, нести полную ответственность за свои свободные решения, особенно связанные с материальным благосостоянием. С этим придется считаться, с этим нужно уже сейчас считаться, нужно дать возможность этим людям приносить пользу обществу... К сожалению, бюрократы не единственные противники перестройки. Многочисленны как раз те, кто и не осознают себя противниками перестройки, хотя всем укладом своей жизни, духовными ценностями, мышлением, наконец, противостоят грядущим экономическим и социальным переменам.

Перестройка победит лишь тогда, когда мы создадим условия и возможности — прежде всего экономические — для формирования в стране советского «среднего класса», мощных средних слоев, захватывающих в перспективе основную массу населения. Заметим, что явление это для нас невиданное, оно для многих чуждое и очень непонятное, ведь речь идет о формировании такой соци-

альной группы людей, чей достаточно высокий денежный доход полностью соответствует объему и качеству производимой ими на рынок продукции, высоко ценимой и пользующейся спросом,— товаров и услуг. Чтобы эта группа стала стабильной опорой, становым хребтом власти и выборной демократии, она должна быть имущественно независима как от государства, так и от произвола любого чиновника.

В деревне — это арендаторы, а в большей степени — индивидуальные фермеры. В городе — вся гамма кооперативного движения, включающая в себя не только торговлю, но и прежде всего производство. Это мелкое и среднее индивидуальное предпринимательство, частично, может быть, ограниченное переделами специальных экономических зон. Это кооперативные предприятия, кооперативные корпорации, вплоть до транснациональных. А государственные предприятия? Они тоже имеют право на существование, но только на тех участках производства, где буксует индивидуально-кооперативная инициатива.

Все это заработает, даст отдачу лишь тогда, когда наберет обороты мощная сеть сбытовых и потребительских кооперативов по шведскому образцу, которые увеличат конкурентоспособность, снизят цены, смогут перебороть инфляцию. Когда, наконец, будет принято антимонополистическое законодательство, когда наладится прогрессивное налогообложение сверхвысоких доходов, идущих на личное потребление, и, наоборот, умеренное налогообложение и даже освобождение от налогов индивидуальных доходов, вкладываемых в производство. Что же касается высокого стандарта социальной справедливости, то его, надо надеяться, поддержит традиционная для нашей страны мощная система социального обеспечения, включающая воспитание детей, образование, здравоохранение и перераспределяющая часть высоких доходов.

Экономическая структура такого типа породит благоприятные условия для того, чтобы в перспективе средние слои «вбирали» в себя основную массу населения, формируя постепенно все более массовую социальную опору и делая необратимой перестройку нашего общества.

...Итак, экономика и хозяйственная система производства ради производства, порожденная классическим капитализмом, волею судеб задержалась на этом свете. Перед своим окончательным уходом в небытие ей все-таки удалось урвать время у будущего, воплотившись «по ту сторону» товарного производства в системе государственно-монополистического социализма, называемой еще административно-командной, что привело к главной трагедии страны — к трагедии мужика. Того самого мужика, крестьянина-середняка, который немыслим без рынка и который исчез, как сон, как утренний туман. Вместе с ним в черную дыру коллективизации провалились надежды на социализм как строй цивилизованных кооператоров. Не марксизм как теория, не социализм как идея, а конкретная экономика и политика государственно-монополистического социализма предопределили трагедию партии большевиков — сталинщину. Так же как Фридрих Ницше и уж тем более Федор Михайлович Достоевский не имеют отношения к нацизму, корни которого в экономике и политике государственно-монополистического капитализма. Наоборот, именно государственная монополия привела к тому, что германская и советская деспотии в своих базовых принципиальных чертах становились подобны друг другу. Вождизм и самовластие вождя, партийное государство и диктатура, репрессивный аппарат и командная экономика. Точно так же, попав в одинаковые условия, постепенно сближаются в конвергирующем развитии, становясь очень похожими друг на друга, совершенно разные по своему происхождению виды растений. Сталинизм в условиях государственно-монополистического социализма является квинтэссенцией и естественной формой политической надстройки, порывает полностью с ленинской идеей кооперативного социализма. Более того, сама эта идея возникла как результат осознания трагических последствий введения в экономику и политику системы государственной монополии сразу после революции.

Элементы государственно-монополистического социализма вводились в указе о продовольственной диктатуре весной 1918-го — в виде государственной монополии на торговлю хлебом. Эту политику проводили, заменяя Советы комбедами. С помощью продотрядов изъяли у крестьян продовольствие. Ввели заградотряды, которые препятствовали свободному товарообмену между городом и деревней (запрет на «спекуляцию» хлебом). Изъятие части помещичьей земли, предназначенной крестьянам,— для того, чтобы организовать государственные хозяйства,— укрепило позиции государственной монополии в деревне. Все эти события, связанные с процессом становления государственно-монополистического социализма стали, начиная с весны 1918-го, причиной разрыва коммунистов и левых эсеров, привели к тому, что средний крестьянин отвернулся от Советской власти. К концу 1918 года именно средние слои деревни составили основу белых армий. Обратное движение возникло, как известно, лишь под влиянием шомполов Деникина... В 1920 и 1921 годах политика продовольственной диктатуры, получившая название продразверстки, привела к резкому уменьшению запашки, массовому голоду, а затем и к Кронштадтскому мятежу.

Нэп был выстрадан страной, и введение в 30-х годах чрезвычайных мер как политики постоянной, продолженной коллективизацией и форсированной индустриализацией, было возвращением к отвергнутым самой жизнью экономике и политике диктатуры государственной монополии, к государственно-монополистическому социализму на новом этапе. По существу — контрреволюцией по отношению к нэпу и социализму цивилизованных кооператоров.

Сталинизм — это эволюция назад, в глубь истории, к архаичным деспотиям, к обществу и производству, построенным на базе древнейших в истории человечества отношений непосредственного принуждения, вплоть до прямого насилия в системе ГУЛАГ. Эта эволюция, порожденная нисходящим движением государственно-монополистической диктатуры к неизбежному своему небытию, воскрешает архаические типы сознания, типы личности и идеологии. Создается непередаваемое ощущение, что из могил вышли мертвецы, которые разгуливают на свободе, хватая живых... Это нечто большее, чем метафора. Иосиф Сталин, став живым богом, персонификацией государства, предметом религиозного культового поклонения, обрел психику классического тирана, русского самодержца, воскресшего Иоанна Грозного, по правую руку которого — Берия-Скуратов со своим знаменитым мутным вурдалачьим взглядом...

Что-то нечеловеческое, мертвое присуще и «стальным» людям из сталинского окружения. И тем, которые способны и себя, и других послать на смерть, и их палачам. Что же именно? Отстраненность, безнаказанность, потусторонность, как будто бы мир дан им в безраздельное владение. Не одному, а именно всем, каждому по кусочку в зависимости от чина и звания. И вольны они делать с ним то, что требует идея, что прикажут или, в конце концов, что самим потребуется. Чувство этой приобщенности к идее, вынесенность за скобки по отношению к нормальной человеческой жизни, вседозволенность, санкционированная самим «историческим процессом», выступают как основная базовая черта психики и выводят человека из общества в некий мир сверхчеловеков из российского, советского «ордена меченосцев». Мир людей, которые живут вне общества, а в последнем только «пребывают», являя собой лишь внешнюю форму исполнения идеи, приказа, воли вождя — живых мертвецов, зомби. И в том, потустороннем мире, для них более реальном, они живут в системе отношений, где Джугашвили-Сталин не бедный невоспитанный провинциал Сосо, по-человечески ущербный даже в восприятии своих более просвещенных партийных товарищей, а всемогущий Грозный-царь, где Берия — верный его Малюта... Для более молодого поколения, родившегося в 50-х годах, еще 10—15 лет назад мир был заполнен не только очень недобрыми стариками, но и людьми помоложе, от которых тоже в какой-то момент тянуло хладом могильным. В эти моменты, назовем их моментами истины, возникал специфический мертвый взгляд «сквозь». Взгляд представителя «другого мира», внушающий непоколебимую уверенность в том, что они могут сделать с человеком все, что им угодно, во имя каких-то одним им ведомых целей. Ну, а что касается более отдаленных

времен, то, судя по воспоминаниям очевидцев, зомби бегали просто выводками, ибо то была пора их власти — безраздельной и неделимой...

В то время, когда стоящая одной ногой в могиле хозяйственная система вздымала огромную нашу страну на дыбы, по ту сторону океана происходили не менее судьбоносные события.

Американский путь породил новую восходящую ветвь развития товарного хозяйства, связанную со стимулированием потребления и повышением жизненного уровня широких масс населения. Эта ветвь, линия, тенденция, будучи воплощенной в системе американского капитализма (а затем и в других странах), глубочайшим образом трансформировала его экономическую и социальную структуру, превратив в общество, качественно отличное не только от империализма, но и от классического капитализма в целом — неокапитализм.

Настало время задать прямой вопрос об историческом месте неокапитализма. Общества, в котором средние слои, включая крестьянство в его фермерском варианте, занимают столь важное место.

Был ли Ленин не прав, когда говорил, что империализм является последней ступенькой развития капитализма, за которой, как он утверждал, других ступеней нет? Мы постараемся показать, что задавать вопрос в такой форме по многим причинам с научной точки зрения некорректно.

Итак, был ли Ленин не прав?

Если рассуждать прямолинейно, то от этого вывода уйти невозможно. Но нужно ли здесь рассуждать прямолинейно? Ведь это противоречит самой сути диалектики, как ее понимал еще Сократ. Человек не всесильный бог, чьи утверждения истинны во все времена. Человеку принадлежат лишь право и возможность рассуждать в пределах, и, может быть, лишь до некоторой степени за пределами тех предпосылок, которые диктует ему время. Но кто знает эти пределы? Суть того диалектического опыта, который оставил Ленин, состоит, может быть, не только и не столько в умении рассуждать, исходя из тех или иных предпосылок, сколько, непрерывно изменять их, сообразуясь с реальной, изменяющейся действительностью. Поэтому, следуя законам диалектики, попытаемся понять, насколько изменились предпосылки, чтобы сделать соответствующие выводы.

Отметим: утверждение о том, что за империализмом других ступеней нет, для Ленина весьма существенно. Речь идет не о более или менее формальном моменте, который состоит в том, что у капитализма появляется еще одна, постимпериалистическая стадия, хотя и это Ленин отрицал достаточно определенно. Дело значительно серьезней: Ленин категорически, принципиальным образом отрицал возможность такой перестройки капиталистического хозяйства, в результате которой оно будет передавать прибавочный продукт трудящимся, поскольку получение прибыли лежит в основании этого способа производства.

В наше время господства прямолинейного мышления, триумфально воплощенного в абсолюте чиновничьей мудрости, как-то исчез, растворился, улетучился из сознания один в общем-то очевидный факт: история по своей природе парадоксальна. Хотя бы потому, что будущее именно постольку является будущим, поскольку несет в себе неопределенность как свое принципиальное качество. Иначе в лучшем случае оно повторит настоящее или даже прошлое. Исчезло то, что связано с неординарностью, нелинейностью мышления, с представлениями о «хитрости» истории или, как говорил Гегель, о «хитрости идеи». История «работает» с тем материалом, который есть, и использует парадоксальные, может быть, на чей-то вкус, слишком парадоксальные ходы... В этом состоит ее ирония.

Ленин был абсолютно прав, утверждая, что капиталистическая система хозяйства не может существовать, отдавая прибыль производителю этой прибыли. И тем не менее капитализм существует по сей день, как мы уже выяснили, за счет того, что производство прибыли растет только в состоянии непрерывного развития. Но из этого следует, что Ленин и даже Маркс в своих рассуждениях не учитывали возможность использования развития как рычага, позволяющего сохранить капиталистическую систему хозяйства. Или это не так?

В этом пункте мы, наконец, подходим к разрешению парадокса. Использование развития как фактора выживания капитализма требует определенной формы контроля, овладения, регулирования всей системы капиталистического хозяйства. Словом, для того чтобы ради целей выживания привести ее в состояние перманентного развития, необходимы рычаги, знание и опыт регулирования анархии классического капитализма.

Но, собственно, не о том ли самом (если снять налет исторических обстоятельств) говорили классики марксизма, доказывая, что за классическим капитализмом, построенным на эксплуатации, идут исторически более прогрессивные общества, связанные с выработкой форм контроля и регулирования той же самой анархии капиталистического воспроизводства? Другое дело, что они именовали их социализмом, а затем и коммунизмом, имея в виду социальную природу субъекта этого контроля и регулирования, которым, как они считали, будет классический рабочий класс, а не буржуазия.

Желающих отрицать факты в настоящее время становится все меньше и меньше. И один из этих фактов бесспорен: средства контроля и регулирования, связанные с общественным богатством, общественным капиталом, были использованы прежде всего для стабилизации капитализма. Превращая его тем самым в переходное общество, которое мы условно назвали «неокапитализмом». Вопрос о том, переходным этапом к чему оно является, не очень ясен. В конце концов каждое общество является переходным этапом к чему-нибудь. Разумеется, это не социализм, а нечто ему противоположное в смысле социального идеала и его реализации в сфере распределения. То, что современный капитализм способен снимать противоречия своего развития, следует трактовать вполне определенным образом; в том, например, смысле, что возможно непрерывное дальнейшее развитие общества, основанного на доминировании идеалов, отличных от социальной справедливости. Например, на доминировании классической англосаксонской, индивидуалистически понятой свободы. Разумеется, мы не задаемся в данный момент вопросом, насколько такое общество будет стабильно в будущем, но нельзя отвергать очевидный факт, что это общество эффективно существует и развивается в настоящем.

Найдем в себе мужество если не принять, то понять и по достоинству оценить иронию истории. Есть историческая справедливость в том, что, уверовав в свою непогрешимость, в свое право на монопольное владение истиной, мы не сделали после Ленина ни новых шагов, ни необходимых усилий для понимания быстротекущего времени, вечно меняющейся действительности. Истина начала ускользать от нас. Можно сказать, что история использует нас как фактор давления на капитализм только для того, чтобы дать ход его развитию в иной, более совершенной форме. И эта система начинает возрождаться, оживать, восставая, как Феникс из пепла, из кризисов именно потому, что уловила историческую тенденцию, связанную с использованием средств и методов регулирования экономики. Как говорится, если кошка не того цвета, этот недостаток вполне искупается ее способностью хорошо ловить мышей...

К сожалению, ирония истории не только в этом. Социализм в нашей стране — как бы в издевку и насмешку — унаследовал чиновничью систему и давние традиции управления с помощью внеэкономического административно-законодательного принуждения. В условиях слабости и даже практического отсутствия других традиций, возобладал государственно-монополистический тип социализма, превратившийся в процессе «антиэволюции» в архаическую, докапиталистическую систему производственных отношений. Способность реально оценивать существующее положение, столь характерная для Ленина, была в этой ситуации, очевидно, утеряна его наследниками. В известной степени из-за примитивизации культуры и самооглупления интеллектуальной элиты общества, оторванной в годы сталинизма от процесса мирового развития. То, что связывалось с особенностью исторического пути России, отождествили с представлениями о социализме...

В результате, если капитализм для своего укрепления и стабилизации использовал современные формы процессов обобществления (госрегулирование, на-

пример), с социализмом дело обстояло по-другому. Монополистическая модель, являясь в течение десятилетий магистральной линией развития мирового социализма, поставила его перед лицом кризиса, затрагивающего самое существование социалистической системы. Этапы развития стран социализма, часто не имеющих друг с другом ничего общего, логикой монополистической модели зачастую до удивления сходны. Само становление госсоцмонополии, диктатура Вождей, попытки обновления, которые, если не перерастают в длительный хаос (как в Китае), то быстро заканчиваются еще более длительным застойным периодом. Нащупывание новой модели, внедрение тех или иных форм кооперативного социализма, удивительно сходные краски времени, фразеология, даже анекдоты...— от Средиземного моря и до Тихого океана.

И, наконец, крах... Где раньше, где позже, с гражданскими ли войнами или без оных, до или после застойного периода — гибель, запрограммированная еще на рубеже века, неотвратимо настигает обреченную хозяйственную систему государственной монополии. Система отношений производства ради производства, выполнив свою историческую задачу, подобно тому, как, породив потомство, в силу одному Богу ведомой генетической программы, гибнут в живой природе рыбы, насекомые, тоже гибнет — в форме государственно-монополистического социализма, и гибель эта, «вынимая» экономическую основу у общества, ставит его перед лицом надвигающегося кризиса. Везде, где бы ни побывал этот гость с того света, слишком длительный его визит обнаруживает в конечном итоге одну и ту же разрушительную работу, один и тот же почерк... И даже в Африке он внес свою существенную лепту в сегодняшнее бедствие, подсунув модели развития, связанные с командной экономикой и столь привычными нам социальными утопиями. Везде одна и та же знакомая унылая картина. Национализация, индустриализация, упор на крупные экономические объекты, расширение госсектора, «психоз переустройства мира» и — неизбежные последствия...

Остаются ли теперь вопросы относительно того, что именно перестраивает перестройка или почему перестройка — это революция? Надо ли объяснять теперь, что предметом перестройки является демонтаж государственно-монополистического социализма с вытекающими отсюда последствиями — с политической борьбой социальных групп, с экономическими пертурбациями, и — проблемами, проблемами... По-иному не бывает и быть не может. И чем быстрее наша революция отойдет от плоских сентенций о всеобщей перестройке и самоуверений о всеобщей поддержке, тем осознанней и четче реализует она свою основополагающую, созидательную функцию — построение социализма цивилизованных кооператоров.

Хочется надеяться, что на этом ирония истории исчерпывается. Но если взглянуть правде в глаза, то единственной гарантией перемен является лишь наша собственная способность трезво оценивать и себя, и окружающую действительность в ее нелицеприятном, неприглядном и недвусмысленно неловком для нас положении. Только так можно почувствовать, ухватить нерв уходящего, быстротекущего времени, которое дает нам всем, быть может, последний шанс выжить.

В истории все взаимосвязано и взаимообусловлено. В ней нет и не может быть малозначительных деталей. В том, что на определенный уровень обобщения мы вышли, начав с полузабытой дискуссии начала века, тоже есть своя логика, с которой мы долгие десятилетия были не в ладу.

Г. П. Федотов

РОССИЯ И СВОБОДА

Историк, философ культуры, богослов, активист движения по сближению христианских церквей, наконец, крупнейший публицист, Георгий Петрович Федотов родился в 1886 г. в Саратове, умер в 1951-м в Бэконе, шт. Нью-Джерси, США. Его духовная биография в опорных своих моментах совпадает с эволюцией взглядов определенной части российской интеллигенции до- и пореволюционного периода—это, выражаясь привычным языком, путь «от марксизма к идеализму». В молодые годы Федотов увлекался социал-демократическими идеями, состоял в РСДРП и даже высылался за ведение революционной пропаганды за границу. Там, в Берлинском и Иенском университетах, он прослушал курс лекций по истории и, вернувшись в Россию, не стал продолжать учение в Технологическом институте, а поступил на историческое отделение Петербургского университета. Будучи затем приват-доцентом Петербургского (1914—1918) и профессором Саратовского (1920—1922) университетов, Г. П. Федотов специализировался на истории западноевропейского средневековья. После революции, оказавшись в так называемом христианском подполье, он сотрудничал в издании «Свободные голоса», участвовал в религиозно-философских собраниях. В 1922 г., не чувствуя более для себя возможным преподавание, Федотов оставил Саратовский университет и переехал в Петроград, где занялся переводами французских и немецких романов. В 1925 г. Федотов эмигрировал и возобновил преподавательскую деятельность уже за границей (1926—1940 — профессор Православного Богословского института в Париже; 1943—1951 — профессор Православной академии в Нью-Йорке).

Вместе с издателем И. И. Бунаковым-Фондаминским и философом Ф. А. Степуном с 1931 по 1940 год, до оккупации Парижа немцами, Г. П. Федотов выпускал журнал «Новый Град». В первом номере журнала была помещена статья с таким же названием — в ней Федотов с позиций христианского социализма развивал свои представления о будущем общеустройстве, о Новом Граде, «который должен быть построен нашими руками, из старых камней, но по новым зодческим планам». Воспринимая историю России как живую действительность, Федотов искал продуктивного синтеза идей западничества и славянофильства, гармонии и взаимодействия общечеловеческих и национальных начал. Его отношение к Советской России определяется той мировоззренческой традицией, которая, в лице Бердяева, С. Булгакова, Франка и других, рассматривала русскую революцию и коммунизм прежде всего как реализацию безрелигиозного эсхатологического сознания. Понимая, сколь неприемлемы некоторые формулировки Г. П. Федотова,

редакция тем не менее не делает купюр. Мы убеждены, что знакомство с этим интереснейшим, своеобразным русским мыслителем поможет восполнить пробелы в нашей, пока еще очень неполной «картине мира», в наших представлениях о прошлом, настоящем и — будущем.

Одна из поздних работ Г. П. Федотова — статья «Россия и свобода» появилась впервые в 1945 г. в «Новом Журнале» (№ 10, Нью-Йорк). Настоящий текст печатается по сборнику: Г. П. Федотов. Новый Град (Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1952).

1

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР,— об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но о том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных Союзах Русского Народа, чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры — вчерашние социалисты и либералы — убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный — и какой хилый! — режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия — и то скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления — каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть не добровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев, или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм — или фашистскую «демотию» — из своего национального духа, или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание.

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утверждениями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда после революционного полета в неизвестность, Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

2

В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта, возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового Журнала»[1] я старался показать, что лишь один из них — христианский, западноевропейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова — в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятия этой культуры и свободы совпадают в своем объеме. Если не Запад, то, значит, Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противополагают Западу, есть преемство переднеазиатских культур, идущих непрерывно от Сумеро-Аккадской древности до современного Ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно, пока в эпоху Византии не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с (тюркскими) татарскими окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала Восток в двух обличиях: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад — Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в древней Руси, в России и в СССР.

3

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побеги свободы. Ее церковь была независима от государства, и государство полуфеодального типа — иного, чем на Западе — было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

[1] Имеется в виду статья «Рождение свободы» («Новый Журнал», 1944, VIII. Нью-Йорк). *(Прим. ред.).*

Христианство пришло к нам из Византии, и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византинизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах.

К счастью, византинизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира — не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь — император — один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митр. Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода церкви была возможна прежде всего потому, что русская церковь не была еще национальной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, недоступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древнерусский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде православной демократии. С точки зрения свободы существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече, ничуть не более князя, обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью, и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и «владыкой», давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам сквозь дымку столетий жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя скоро и разделенная религиозно с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, Скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей — особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, не культурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедовать необходимость общей борьбы против «поганых», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси по сравнению с Западом мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси — факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное объединение — политически столь слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины восточной Руси. В удельных княжествах церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический имморализм, результат чужеземного корыстного владычества, не успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век — золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее — сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва благодаря ей обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословление церкви, теперь национализирующейся, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты из русских людей и подданных московского князя начинают отождествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство, в лице митрополита Алексия (наш Ришелье) управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким сердцем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не-

похожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, заменяясь пришлыми и чужими людьми. Без остатка выкорчевывались все местные особенности и традиции — с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унизительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становилась сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Бо́льшая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжое боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская церковь раскололась между служителями царства Божия и строителями московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление эксплуатации трудового населения. Побежденные принадлежали, несомненно, к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция — совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого достаточно, чтобы прельстить гегельянцев — Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни и спросить себя: что было бы, если бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, удалось начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И уж, наверное, он был заворожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

> А наш белый царь над царями царь,
> Ему орды все поклонилися.

4

Московское самодержавие при всей своей видимой цельности было явлением очень сложного происхождения. Московский государь как князь Московский был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров Византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм, если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим

собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немыслимым в Москве — если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство. Есть основания думать, что народ в XVI—XVII вв. лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в XVIII—XIX. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу.

В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Это тип, психологически, представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми XIX века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа—в Москве угасла киевская поэзия военной доблести,— одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата — до последних дней империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость — идеа-

лом женской прелести. Христианство, с искоренением мистических течений «Заволжья», превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна — и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к падшим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В XVII веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В ту пору и на Западе уголовное право достигло пределов бесчеловечия. Но там это было обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси — бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского общества. Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распущенности, «ненаказанности», безобразия.

Ну, а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского liberté. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный — идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти,— разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве XVII в. Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти царя. И в то же время, начиная от смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что крестьянство не примирилось — и никогда не примирялось— с крепостной неволей. Когда терпеть становится невмочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям — пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Нетрудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя с переменой династии. Ведь и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь, и испытывал как лишнее бремя участие в земских соборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство — дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом ненавистном боярстве. Невзирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках конституционных ограничений власти царя Василия, Владислава, Михаила. Боярство стремилось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины — habeas corpus. И цари присягали, целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту — или месть,— и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории, окончившейся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что и купечество, и духовенство жили и в XIX веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только количественные. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между Западной и Византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции.

5

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком дифференцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительствовали в России XVIII в. Одна представляла варваризированный пере-

житок Византии, другая — ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и народом, не срытая до самого конца. Некогда могло казаться, что этот дуализм или даже самое существование интеллигенции как особой культурной категории есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Китая мы видим, что то же явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока, или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Воронихиным; через полтораста лет после петровского переворота — срок небольшой — блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем, то же и в музыке) Россия дала всю свою меру лишь в XIX веке. Погибни она, как нация, еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из галлицизмов XVIII в. вырос Пушкин; из варварства 60-х годов — Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты киево-новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом с Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях устанавливался новый светский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем, — абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и без вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался — даже самый деспотический из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел он при Иване IV и Петре I — может быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но Петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его сапоги, ему это, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей и убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежа к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписаному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его и от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они действительно становятся свободными профессиями — и тогда, когда пополняются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция — до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней и даже полусредней школы превращало человека из мужика в барина, — т. е. в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особо редкие дни — бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в XVIII в., миллионы в начале XX. В сущности, эта бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», т. е. старой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в XVIII, особенно в начале XIX в. Потом она стала отдаляться и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно; когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудной перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме не буржуазия была застрельщицей освобождения: оставшись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления в конце XIX века нового типа, европейски образованного фабриканта и банковского деятеля. Но дворянство, если не в массе своей, косной и малокультурной, то в европейски образованных верхушках долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего XVIII века и в начале XIX русские конституционалисты — почти исключительно вельможи: члены Верховного Тайного Совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре — Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в XVIII веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы ее вместе с остальным реквизитом культуры. После фран-

цузской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты всходить на эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических учреждений — конечно, возможная (ср. Турцию и Японию), гораздо труднее и опаснее, чем заимствование наук и искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство бесправия. Таков смысл событий 1740 года, и он весьма пахнет Московией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и потом бороться за ее расширение на все сословие, в пределе на всю нацию — единственно возможный исторический путь,— предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы даже в сознании культурных или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян само по себе не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан, не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик и т. п.) и к возвращению в Москву: то есть теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 г. делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае I.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми, оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русский либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии — теперь уже Франции 40-х годов — или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, но остается европейским по основам своего миросозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с действительностью. Неудивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило свое либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Победоносцевым), оно оказалось реакционным тупиком, в явно московском направлении.

В 60-х годах одно довольно широкое, но политически не оформленное течение (не-нигилисты) носит определенную национальную окраску. Я имею в виду молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством историков типа Костомарова, Пыпина, Щапова, Аристова; к ним примыкает кружок национальных композиторов, прежде всего, конечно, Мусоргский и передвижники в живописи Репин и Суриков. Одни из них, как Костомаров, правильно ищут русских корней свободы в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории она вслед за Соловьевым и Ключевским приняла как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма) московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увлекались стихией бунта, открывая ее в косной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины, несомненно, воодушевляли революционную армию. Однако, если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер.

60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную и самую энергичную часть его — все революционное движение — по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начинают вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привлекательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма — даже реального социализма Герцена — они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60—70-х годов считает даже вредной конституцию в России как укрепляющую позицию буржуазных классов. Многое можно привести в объяснение этой поразительной аберрации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие...

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм принимал свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обессмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок или сквозняк, который дул от утопического коммунизма сороковых годов в еще неведомое и негаданное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь лик России. Интеллигенция выросла в десятки, в сотни

раз. Уже ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена русской культуры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение воспитывало общественно-трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения, быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще 50 лет, и окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в XVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым объектом дерзких шуток, интеллигенция как класс — объектом ненависти. После крушения революции 1905 года и слишком поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры намечается новая рознь. В своих, почти пророческих, статьях Блок слушал нарастающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой народной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, как слились (или почти слились) Горький или Шаляпин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и сметет молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко различаются две основные тенденции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. д., и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику — ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «Черная Сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового, беднейшего торгового класса; для московского уха он должен был звучать, как для Токвиля «демократия». Словом, черная сотня есть русское издание или первый русский вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливали его — но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицыне показывает, как легко черносотенный демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда недаром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

6

Русская революция, за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия, пережила огромную эволюцию, проделала немало зигзагов, сменила немало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: постоянное из года в год умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше ленинской тоталитарной диктатуры идти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в советах, существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом XIX в., хотя и в меньшей степени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписаные границы деспотизма: хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор, в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечали сгущение неволи в последних убежищах вольного творчества — в театре, в музыке, в синематографе. В то время как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы замученных жертв отмечают новый поворот диктаторского руля. На последнем «национальном» этапе — а, казалось бы, он должен был вдохновлять художника — русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы.

Второе и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений, пока эти движения еще существовали. Немало советских людей повидали мы за границей — студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира, как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» — такова реакция советского инженера при знакомстве с беспорядками на американских заводах; а ведь он сам от станка — сын рабочего или крестьянина. В России ценят дисциплину и принуждение и не верят в значение личного почина, не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого антилиберального человека; хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская ре-

волюция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во Французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений, или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась — одна влилась в ряды Коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть Родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как», поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры... В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за 200 лет Империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека, конечно, того, который строит жизнь, не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или Родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применение к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение

идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем духовным странничеством, а французы — inquiétitude. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением — внутренний невозмутимый покой.

Мы здесь со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевицкого робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может быть — и это даже вероятнее,— что то была скорее эволюция цензуры, или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно, и тогда, когда они считались запретными, и дружба, и любовь к женщине, и даже любовь к Родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные. И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы Че-Ка, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, апологию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет, если религия действительно составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, дает отрицательный ответ. Свобода в общественно-политическом смысле не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что, если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем идти так далеко; она уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколениях. Думать так — значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное я. Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, по-видимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбию учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархии, Пушкин примирился с монархией Николая. Как читают классиков в Советской России? В дни Лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины» как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей

плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий — личное общение — сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении России — факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая путем проверки на полях битв его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия, в сущности сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человечного решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем новом товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает или переживал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой тирании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляют к Сталину Европа и Америка, им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Льстецы Сталина и Советской России сейчас главные враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому, освобождению России.

Игорь Шайтанов

«...В СССР ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПЕЧАТАЛСЯ»

Только не будем делать вид, что мы это знаем и уже поняли. Среди того, что узнается впервые, сегодняшняя литература эмиграции, так называемой «третьей волны», наименее доступна, наименее нам известна.

Еще раз я в этом убедился, отыскивая по знакомым что-нибудь для статьи о современной эмигрантской поэзии: на руках почти ничего. У всех — Бродский плюс что-нибудь еще, разрозненное, случайное.

С этого предупреждения и хочу начать, ибо статья не **о них**. Не только о них: о них и о нас, о встрече, о первых впечатлениях, неизбежно поверхностных, но от которых потом так трудно бывает освобождаться. Есть опасность, что все недоступное прежде сохранит прелесть запретного плода, и сквозь нее не почувствуем истинный вкус. Но не будем преувеличивать ее, эту опасность,— подобное преувеличение тоже способно увести от истины.

Всегда при таких обстоятельствах лучше взять что-то в качестве исходного материала, что-то устанавливающее хотя бы формальную цельность. Для этого годится антология «Русские поэты на Западе. Антология современной русской поэзии третьей волны эмиграции», вышедшая в издательстве «Третья волна» (Париж — Нью-Йорк, 1986).

Выпуск такого рода антологий — в эмиграции давняя традиция, с довоенных времен. Попытка собирания сил, попытка представить всех как бы едино, вместе существующими. Новый сборник включает тридцать семь имен, в основном живых поэтов. Он претендует на полноту с двумя исключениями: Иосиф Бродский и Эдуард Лимонов участвовать в нем отказались.

Подборкам предшествуют краткие биографические справки — бывший москвич, бывший ленинградец, бывший свердловчанин... Именно так — с эпитетом как устойчивой биографической формулой, крупным шрифтом рядом с фамилией.

А в тексте справки — формула литературной судьбы: в СССР не печатался, практически не печатался. Исключений мало: Наум Коржавин, пожалуй, единственный, кто уехал отсюда известным поэтом, Лев Друскин, Александр Глезер, печатавшийся, переводивший здесь, а там основавший издательство «Третья волна» и альманах того же названия...

Некоторые напечатаны теперь, в последние два года: Иосиф Бродский, Юрий Кублановский. Александр Галич — один из немногих, к чьим и ненапечатанным текстам слово «известные» куда как слабо:

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

С этого и можно было бы начать, облегченно выяснив, что хоть малое, но нам знакомо. Однако открывается антология другим стихотворением или другим песенным текстом, не специально для этого выбранным, а просто фамилия автора — Юз Алешковский, принцип же расположения в антологии — алфавитный:

Товарищ Сталин, вы большой
ученый,
в языкознаньи знаете вы толк,
а я простой советский
заключенный,
и мне товарищ серый
брянский волк.

Не это ли первая «авторская песня», во всяком случае, первая, спетая всей страной (и лишь недавно опубликованная — в «Новом мире»)? Это и хронологически — начало, истоки «третьей волны», восходящей к событиям «оттепели» пятидесятых и к ее быстрому промерзанию. Это и напоминание о том, что узнаваемое нами сейчас оттуда — начиналось здесь и имеет к нам самое непосредственное отношение.

«Третья волна» интересна не только в силу нашей родовой отзывчивости всему и желания все знать, в том числе — что же они, уехавшие, там пописывают

и о чем? Интереснее другое — что унесла с собой «третья волна», что выплеснулось там, не имея возможности прозвучать здесь?

Первое, что приходит на ум, особенно после приведенных цитат,— политическая позиция. Она ушла в песню. Песня — для магнитофона, не для бумаги и печати. Автор в ней позволяет высказывание слишком вольное, судит слишком свободно (да судим будет). Этот пласт песенного свободомыслия известен лучше стихов любого поэта-лауреата и даже лучше стихов любимых поэтов последних поколений. Все это было на слуху, расходилось широко, хотя пелось украдкой и обнаруживало себя — на пластинках, сборниками, там, на Западе, вынесенное «третьей волной».

Пелось многое и из того, что не писалось как песенный текст, но становилось таковым в фольклорном бытовании. Такое тоже есть в антологии, но есть в ней и просто стихи, важность и острота которых иногда узнается по датам написания под ними. Наум Коржавин — 1944:

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна...
Звонок урчал... И дети просыпались,
И вскрикивали женщины от сна.

Во исполнение последней строки стихотворения: «И мне тогда хотелось быть врагом»,— в 1947 году двадцатидвухлетний поэт был арестован и сослан. Стихи же — свидетельство никогда не исчезавшего, как бы ни подавляли его, политического мнения о происходящем.

Что еще звучит в поэзии «третьей волны»?

Мы часто сетуем на свою забывчивость, короткую память. Для культуры это гибельно, для человека бывает и спасительно: способность забыть плохое, освободиться от непомерной тяжести. Ведь мы уже почти не помним, как четыре-пять лет тому назад из-за запрета или из-за редакторского страха не проходило многое, далекое от политики. Иронизировать не полагалось (или только в особо отведенной рубрике). Знания, выходящие за рамки школьной программы, подозревались в элитарности, а то и в идеологической невыдержанности: да нужно ли упоминать Мандельштама? Ведь вы его уже один раз упомянули, или даже так — он уже упоминается в другой статье. Имя Бога — одно из самых нежелательных, упаси Бог. О смерти — не надо: пессимизм.

В общем, об одном не надо, ибо слишком далеко от жизни, о другом — ибо слишком к ней близко. Запреты не задевали лишь тех, кто писал для себя и практически не печатался (но решил печататься, унесенный «третьей волной»).

По антологии, однако, остается впечатление, что среди ее участников не так уж много людей, уехавших специально для того, чтобы стать поэтом, чтобы осуществить нереализованное призвание, сказать то, о чем невмоготу молчать. Нет, для многих стихи — это часть потребности быть собой: читать тех, кого любишь, писать то, что хочешь. Пишется не на продажу, а для себя.

Значительная часть стихов читается как личное свидетельство, естественно, во многое не претендующее и многого не достигающее. Авторы — люди читающие, размышляющие и при этом пишущие, хотя не все из них поэты. Таков общий фон, достаточно привлекательный, хотя и не поражающий воображения. Фон, на котором кое-что резко выделяется и резко ему противостоит.

Что же касается того, о чем пишут, то многое, во-первых, печатается не там написанное, а отсюда привезенное; а во-вторых, многое дописывается по памяти, договаривается невысказанное. Хотя, разумеется, появляется и новое. Прежде всего сакраментальное сомнение — возможна ли поэзия в эмиграции. Этот вопрос и сейчас, как и семьдесят лет назад, звучит особенно остро потому, что прежде чем ответить — возможна ли, практически все (высказанно или невысказанно) убеждены — необходима. Необходима хотя бы и потому, что проза, лишенная бытовой основы, еще более проблематична; потому, что именно поэзия владеет словом, последней ощутимой связью с национальной культурой.

О возможности поэзии вне родины постоянно толковали и в первой эмиграции, высказывая немало пессимистических прогнозов, но в конечном итоге приходя к бунинской формуле ответа — можно ли быть поэтом в эмиграции: «...иные не могут — если нет глубочайшей и ничем не рушимой связи с прошлым, кровной связи с Русью. А иные могут».

В общем, можно, но трудно. Или, как сказал во время одного из интервью недавно приезжавший Н. Коржавин: «Эмиграция для поэта вообще минус. Но... приходится — живешь».

Поэтическая ностальгия — тоска по звуку, слову, имени:

Лебединые ветры уплыли,
Дружбы вновь заводить недосуг.
Люба-Любушка, Лиличка-Лиля,
Имена моих русских подруг...

(Р. Левинзон. «Имена»).

Простые строчки. Искреннее признание в жгучей потребности — удержать слово, отдалившееся, грозящее утратой. К нему постоянно и напряженно обращены, как обращены и собственно к поэтической традиции, окликаемой именами поэтов: Державин, Пушкин, Мандельштам, Ахматова... И совсем близких: Володя Высоцкий, Булат... Выстраивается своя линия родства. По датам под стихами видно, что началось это не сегодня, а по крайней мере в шестидесятых, когда находили учителей и единомышленников среди подлинных и непризнанных:

Ваша правда — не Ваша сила.
Потому-то и слаще нет,
как над матушкой, над Россией
комаром соленым звенеть.

Вот и все. Стою, балаганю:
— Не хотели, а влипли в ад!
Между Вашими берегами
Мне кружиться и выплывать.

Автор — Юрий Милославский («бывший харьковчанин»). Название — «Борису Чичибабину». Дата — 1967.

Устанавливается родство по опальности, предполагающее отделение подлинных ценностей от мнимых. Критерий — русская поэзия, неделимая границами, хотя биографическое сходство — родство по эмиграции — никогда не проходит незамеченным. Поздравляя И. Бродского с Нобелевской премией, вспоминали, как он удостоился признания последних корифеев:

«То, что Бродский представляет собой мощное возрождение лучшей традиции, которую только знала русская поэзия, было ясно проницательным читателям с первых шагов. Около двадцати лет назад покойный Вейдле писал: «Я знаю: он родился в сороковом году; он помнить не может. И все-таки, читая его, я каждый раз думаю: нет, он помнит, он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург 21-го года, 1921-го лета Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить».

Владимир Вейдле — один из признанных критиков поэзии «первой волны» русской эмиграции, которой фактически тогда — в 1921 году — положено начало. А спустя еще год высылкой из страны около двухсот деятелей культуры завершилось первоначальное формирование русского зарубежья.

В какой мере литература эмиграции сознает свою преемственность и единство? Мы задаем себе этот вопрос, но едва ли нам отвечать. Ответ, видимо, будет не более простым, чем при встрече — после второй мировой волны — первых ее волн: «Внешнее слияние новоэмигрантских и староэмигрантских писателей произошло довольно быстро...— писал Глеб Струве в известной книге «Русская литература в изгнании» (1956).— Что касается внутреннего слияния, то это вопрос более сложный. Обсуждать его здесь подробно мы не можем, да и процесс этот все еще не завершившийся».

Не завершившийся и десять лет спустя после своего начала!

Судя по характеру поэзии «третьей волны», многие в ней естественно воспринимают свое родство с началом века: и с той его частью, которая оказалась в эмиграции, и с той, которая осталась, в большинстве своем — на трудную жизненную и даже посмертную судьбу. «Серебряный век» многократно, под разными ярлыками подвергался запретам, и любовь к нему, осужденному, трудно издаваемому, сделалась — на десятилетия — в нашей культуре знаком духовной независимости.

Каждой перекличкой с ним, каждым связующим звеном привыкли дорожить. То, что Бродского здесь оценила Ахматова, там — Вейдле (только ли он?), не случайно. Как не случайным мне кажется и некоторое созвучие со стихами «третьей волны» у Нины Берберовой, еще в тридцатых годах числившейся самой большой надеждой эмиграции в прозе, затем завоевавшей славу мемуаристки и только в 1984 году в Нью-Йорке опубликовавшей свою первую стихотворную книгу. Вероятно, это последний поэтический дебют «первой волны», вливающейся в «третью».

Нейтральное название — «Стихи». Значащее посвящение — «Памяти Владислава Ходасевича». И, быть может, самое значащее — хронологический подзаголовок: 1921—1983. Границы творчества, начало которого обозначено все той же для всей эмиграции изначальной датой — годом смерти Блока, Гумилева...

Прочтя книгу, не удивляешься тому, что она первая. Это естественно, хотя стихи пишутся всю жизнь. Естественно для человека, требовательного к себе, литературно не только одаренного, но чуткого настолько, чтобы знать меру собственных возможностей и достижений. Книга сложилась во времени как рассказ о жизни, отзывающейся в слове, запечатлевающей себя в нем. Именно как показатель меняющейся во времени жизни, личности, поэтического вкуса интересен сборник. Только с годами он обрел сюжет.

Нет сильного поэтического голоса, но есть восприимчивость, а к тому же с годами все более острый и остраненный слух, различающий в слове его способность — выразить и свою — сказать.

Первые стихи — по течению тем и стиля той эпохи. Ищешь в них руку Ходасевича и отчасти, только отчасти, находишь — в строфической простоте выражения, в лаконичной открытости смысла, хотя то, что открывается, иное — иногда по-дамски, иногда по-северянински изысканное:

Я помню пышную прическу,
Веселый взгляд, спокойный лик,
Я помню холеных до лоску
Ногтей невозмутимый блик...

И все время — память, сходящаяся в одну фразу: «Скажи, ты помнишь ли Россию?..».

Наиболее поэтически интересные стихи у Н. Берберовой — не от первого лица, или, во всяком случае, в них есть какое-то перевоплощение, различно достигаемое. Это может быть и неожиданное для человека, сорок лет не бывавшего в

России, стихотворение 1961 года; как будто пережиты все запреты на самое, казалось бы, невинное — на лирику:

Ни о вазе. Ни о розе в вазе:
Запретили. Нельзя!
Постановили единогласно,
И я сама голосовала «за».

А что ж о черепках? Забыли?
Разбили вазу,
Цветок сломали,
А черепок?
О нем-то есть постановленье?
— Конечно, запретили тоже,
И я сама голосовала «за».
(Читатель, я тогда моложе...)

В последней строке — оборванное цитатное слово, которое все чаще всплывает, как бы даже предвосхищая ироническое цитирование в поэзии более молодых. У Н. Берберовой на этом приеме целый цикл — тютчевский, «Ветреная Геба»,— наиболее запоминающийся и оригинальный в сборнике. Тютчевские строки вкраплены в текст, без них непонятный, во всяком случае, много теряющий.

Чужое, к тому же классическое слово — повод увеличить дистанцию между говорящим и тем, о чем идет речь. Это прием отчуждения, иногда иронического, иногда трагического:

На роковой стою очереди.
— Товарищ, становись иль проходи!
— А что дают: муку аль бумазею?
— На это я ответить не умею,
Но слышала, что керосин дают...

Первая строчка — из позднего тютчевского стихотворения, написанного на смерть брата; смерть, по поводу которой им сказано: «На роковой стою очереди». У Н. Берберовой эта строчка вплетается в воспоминание не из 1919-го ли, голого, голодного года? Не из того ли времени, сказавшегося знаменитыми тогда стихами — о керосине, об очередях, о том, что дают и что на что меняют:

— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?

— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял...

(В. Зоргенфрей. «Над Невой»
Дом Искусств, 1921, № 2).

И сегодня воспоминание облекается Н. Берберовой в тютчевскую цитату не только ради шутки, не ради нее, а ради вопроса, который не перестаем себе задавать: выстояла культура или — опять на роковой очереди?

Прежде вспоминали, чтобы сохранить. А теперь — чтобы посмеяться? То, что было пережито как трагедия, начинает вдруг изображаться фарсом. И Берберова, сама все пережившая, в этой смене тональности едва ли не предшествует молодым. Не секрет, что история знает — не такой уж редкий — ход событий от трагедии к фарсу, после которого, вероятно, и трагедия видится иначе. Все тогда травестируется, кружится в шутовском хороводе, в котором все современники — соучастники:

А эсер глядел деловито,
как босая танцорка скакала,
и витал запашок динамита
над прелестной чашкой какао.
(Л. Лосев).

Босая танцорка — Дункан. Чашка какао — от Пастернака?

В «третьей волне» есть неисправимые ироники, неисправимые, ибо не бывающие серьезными. Или, точнее, так: не бывающие серьезными, кроме как в своей иронии. «Третья волна» откатывается с ощущением: можно все, что было нельзя. И, естественно, с особой неприязнью к тому, что предписано, возведено в официальный ранг, как глазурью, облито торжественностью. Официоз любит регламент и иерархию. В речи — штамп и лозунг. В опровержение, по закону смеховой культуры, все ставится с ног на голову: чем выше вознесено, тем ниже следует сбросить. В ответ на языковой пуризм — лексическая вседозволенность.

Возвращаясь к антологии, отвечу на естественно (сегодня) возникающий вопрос: а что если в каком-нибудь нашем издательстве переиздать ее, эту антологию, целиком? Для знакомства неплохо бы, но невозможно. Целиком невозможно из-за нескольких вещей, прежде всего по причинам нравственно-лингвистическим. Половые эскапады Константина Кузьминского («Студентка по обмену») у нас не пройдут. Здесь-то бы и указать на «растленное влияние Запада», но в запретном слове, со смаком произносимом, мне, честно говоря, видится традиция вполне отечественная, вся соль которой «заключается в том, что всякая вещь называется по имени». Так еще в прошлом веке ее закон сформулировал почтенный профессор С. А. Венгеров, составляя биографическую заметку об И. Баркове: «Порнография его есть прямое отражение той невоспитанности русской, которая и поныне остается одной из самых характерных черт нашей общественной жизни. Ведь даже современный русский интеллигент, самого добродетельного и скромного образа жизни, сплошь да рядом отпускает такие шутки и выражается такими словами, которые привели бы в краску немецкого сапожника».

Так что еще один запрет снимается в литературе эмиграции. Пуризм всегда порождает крайности, которые себя обнаружат при первой возможности. В пределах антологии К. Кузьминский соседствует с поэтами, большинство которых по нашей критической терминологии проходили бы как «книжные», т. е. слишком часто обнаруживающие свою начи-

танность. Не знаю, как «книжные» относятся к этому соседству, наверное, по-разному: спокойно, иронически, возмущенно,— весь тот спектр мнений, который, естественно, возбуждает эпатаж, также естественный в нормально развивающейся культуре. Нормально, ибо уверенной в себе и, следовательно, в том, что она не проживет запретом и бдительной охраной своих границ.

Эзотеричная культура, замкнутая внутри себя, обречена. Она не спасется сама и не спасет тех, кто в ней, как за каменной стеной, ищет убежища. Об этом в антологии — стихотворение Л. Лосева. Оно о событиях доотъездной поры, когда автор работал в журнале «Костер», куда к нему и захаживали молодые люди:

Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немыслимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили, как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.

Речь в данном случае не об известной филологической школе, не о ее достоинствах или просчетах. Речь о том, что для сотен молодых интеллигентов замыкание в текст стало не позицией в науке, а жизненной позицией, сулящей надежду оградить себя от воздействия извне. Не удалось оградить — ни бытие, ни сознание:

Те в лагерном бараке чифирят,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют
и с обшлага сгоняют чертенят.

В поэзии «третьей волны» высокое — культура, вера, искусство — почти всегда обнаруживает себя в соседстве с низким или даже нарочито сниженным — в грубость, жестокость, в жизненную прозу, ибо к заповедной духовной области мы подходим такими, каковы мы есть, какими живем или вынуждены жить. Между этими полюсами и перебрасывается мост трагической иронии.

Можно было бы предположить и попытаться доказать, что такого рода поляризация сознания — следствие эмигрантского бытия, начавшегося не с переезда границы, а с отчуждения неприятия, как раз и ставшего причиной отъезда. Причем отчуждение распространяется и на то, что не перестает быть необходимым, разрыв ощущается вынужденным, навязанным, становится трагическим, когда оставлять приходится то, что наиболее дорого, для поэта — слово, захватанное, опошленное.

Но если мы, глядя со стороны, и можем счесть эту черту особенностью эмигрантского мышления, то сами представители «третьей волны», в этом оставаясь верными себе, ищут прецедент в русской культурной традиции, в которой всегда слово — духовная ипостась и в которой всегда происходило отторжение, неприятие культа чистой красоты, обособленной от окружающей жизни. Об этом недавно говорил в статье для «Книжного обозрения» Юрий Кублановский: «Вот в такой амплитуде: от высшего до сиюминутного, земного, злободневного и даже попросту визуального — и рождается, и творится непрофанированный лирический текст, все это — его компоненты».

Что же, за поэзией самого Ю. Кублановского уже признано право существовать в этом поляризованном пространстве, быть для него связующей силой. Признание это особенно запомнилось, ибо исходило от И. Бродского, написавшего послесловие к сборнику «С последним солнцем» (Париж, 1983). Поэтические достоинства автора оценены очень высоко: «Его техническая оснащенность изумительна, даже избыточна. Кублановский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарем после Пастернака».

Принимая к сведению это авторитетное мнение, хочется предположить (хотя, естественно, забегая вперед, ибо чем как не забеганием будет приглашение к подробному разговору о стихах лишь единичными недавними публикациями представленного нам поэта), что мы еще сможем оценить и богатство словаря Ю. Кублановского и продолжающие это достоинство некоторые стилистические трудности, сбои. Ю. Кублановский действительно умеет вызывать к жизни слова редкие, ушедшие из нашего повседневного языка, а то и из памяти. Но он умеет не только припомнить слово, а сделать его уместным, вновь привить современной речи, соотнести с нашей сиюминутностью. Это — редкое умение. И все-таки даже оно не всегда побеждает те стилистические трудности, на которые поэт идет сознательно и которые не всегда оказываются разрешимыми. Особенно же там, в эмиграции, где, по признанию поэта, остывает текст, где это остывающее русское слово не срастается с реалиями нового быта: «Ночью в лаковом логове чарку // исчерпав на глубоком хлебке...»

Если слово у Ю. Кублановского не всегда находит силу поднять до поэзии сиюминутное (от которого оно не отстраняется), то «именно мерой вкуса в трактовке чисто духовного материала,— считает И. Бродский,— Кублановский столь выгодно отличается от большинства своих современников, поголовно страдающих, мягко говоря, комплексом неофита, комплексом внезапно обретенной полноценности. Вера лирического героя Кублановского — вера унаследованная, а не вдруг обретенная; она — в порядке вещей, а не личное достижение, по поводу которого достигший ее ежеминутно впадает в экстаз, распускает сопли или озирается с чувством безграничного превосходства над окружающими».

И. Бродский предупреждает не против возможных поэтических промахов,

а против провалов духовных, против того, что сейчас стало реальностью, в том числе и в нашей публикуемой поэзии. «Комплекс неофита» в отношении веры, долгое время запретной, теперь модной, становится пропуском в печать для значительного количества рифмованной продукции, которая держится только одним — темой. Обычное наше колебание между крайностями: если раньше о Боге «ни-ни», то теперь «давай-давай», не считаясь с тем, что поспешное, слабое слово звучит профанирующе, кощунственно.

Однако хочется верить, что все это не более чем издержки, главное же — в ином.

В XX столетии не раз высказывалась мысль, что с насильственным разрушением традиционной религиозности ее функцию хотя бы в какой-то мере примет на себя поэзия, ибо она поддержит духовную традицию, ради которой не побоится опровергать здравый смысл, общественный предрассудок, соображения немедленной выгоды. И, как бы подтверждая это предположение, наша поэзия последних двух десятилетий, насколько она печатно могла, стремилась припомнить свое родство с верой то библейской аллюзией, то порывом к постижению «таинственной» или «неназванной силы», некоего духовного первоисточника и всеобщей связи.

Это было, хотя на литературной поверхности звучало достаточно глухо. Как все насильственно приглушенное здесь, это было многократно усилено там — в поэзии «третьей волны». Юрий Кублановский быстро сделался заметной фигурой в поэзии «третьей волны», дебютировав двумя томами избранных стихотворений в 1981 и в 1983 годах. Тот, кто подойдет к его стихам, буквально приняв определение И. Бродского — «религиозный поэт», будет обманут в ожиданиях, ибо обнаружит прежде всего поэта лирического. И в этом качестве являющего противоположность самому Бродскому — сегодняшнему Бродскому, который, издав в 1983 году «Новые стансы к Августе», прекрасную книгу любовной лирики за двадцать лет, как будто запретил себе: ничего лирического, лично, узнаваемо сегодняшнего. Он перевел изображение в план пространства, в котором ощущается не течение времени, а неподвижность вечности. Отсюда и выбор им названия для последнего на нынешний день сборника — «Урания», по имени музы астрономии. В этой вневременной и внепредельной безграничности голос звучит издалека, потерянно, но стоически бесстрастно.

Так теперь у Бродского. Иначе у Кублановского, всегда взволнованного, переживающего отчуждение — не скрывая, а обнаруживая боль:

Да, мы видели пинии Рима,
гребни сосен в альпийском огне.
... По весне в абрикосовом дыме
удавалось беспамятство мне,

но чем выше наводят границу,
тем бессоннее тянет опять,
обратясь пепелищною птицей,
над чащобным пределом летать,

где еще не остыли могилы
победителей-узников и
до родин подытожены силы,
слабокрылые силы мои.

(«Письма с родины — страшное дело... »)

В равной мере никогда не скрывал он ни своей любви, ни своего неприятия, ставя одно рядом с другим и в стихотворной строке:

Легко ли туда, торопясь,
вернуться теперь бестелесным
и верящим во Ипостась
с Ее одиночеством крестным?
Не может быть дольше красна
и страшно с исподу червива
земля, чья растрата ясна
и мга не в пример долгогрива.

(«Все тридцать пять прожитых зим... »)

Оба стихотворения — из сборника «Оттиск», вышедшего в Париже в 1985 году и составленного из стихов за три года эмиграции.

Таковы колебания амплитуды, отмеряющие пространство мысли. Понять мысль поэта — значит охватить все пространство, не группируя его высказывания вокруг какого-то одного полюса. Тематические подборки и у Кублановского и во всей поэзии «третьей волны» не составило бы труда сделать: вот вам ностальгия, вот — очернительство, ненависть к Отечеству... Резкого говорится немало, и проницательно и обиженно говорится. Но не будем заходить только с одной какой-то стороны и представлять дело проще, чем оно есть.

А тем не менее уже упрощают — сознательно и целенаправленно. Так, во всяком случае, заставляет думать статья А. Казинцева «Новая мифология» («Наш современник», 1989, № 5).

Автор, с которым менее всего хочется спорить. Об этом и буду говорить — почему не хочется. И еще о том, почему все-таки нельзя сделать вид, что статьи этой — одной из первых по поводу сегодняшней эмиграции и нашего к ней отношения — не существует или будто позиция ее автора только лишь его личное мнение. Далеко не только личное. А быть может, и совсем не личное.

А. Казинцев один из тех недавно пришедших критиков, чьи статьи оставляют впечатление, что он сам и его «критический герой» (по аналогии с «лирическим героем») — не одно и то же, что полного единомыслия между ними не существует. Читаешь и сомневаешься, так ли уж действительно дорог автору Петр Проскурин и не притаились ли во втором ряду его книжного шкафа Пастернак с Мандельштамом. Уж очень критик в

похвалах неубедителен — что-то дежурное, обязательное. Зато ненавидит с удовольствием, со вкусом, с любовью. «Элитарность», «успех» разоблачает с упоением, взахлеб — что, очень хочется?

Это необходимая фантазия-предисловие о «критическом герое» статьи, которая, думаю, для кого-то — манифест, кредо. Для кого-то — раздражающий полемический повод. Опровергать хочется едва ли не каждое утверждение, а именно поэтому не нужно — каждое. Требуется рассуждение о методе.

В статье — широкий круг фактов, отсылки к разнообразным труднодоступным источникам. Но как ведется работа с источниками, с отдельно взятым фактом, цитатой?

Приводится мнение, к примеру Г. Померанца, подлежащее дискредитации: «Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои». С этим можно спорить. А. Казинцев спорит, но как? Сначала он сноской к слову «диаспора» «проясняет» позицию оппонента: «Понятие, как правило, употребляющееся для характеристики еврейского «рассеяния».

В свете сноски перечитываете цитату и понимаете теперь, чему обязана принадлежать вся современная интеллигенция. Однако понимание вам навязано — сноской: от незнания? от намерения? У слова «диаспора» более широкое значение, в котором оно и было употреблено.

Откройте труд действительно классический (и, к сожалению, у нас почти недоступный, так что приглашение открыть его не более чем фигура речи) П. Е. Ковалевского — «Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека (1920—1970)» (Париж, 1971). На первой странице основного текста говорится, что мировая история знает три великих исхода: один — русская эмиграция, второй — «диаспора еврейского народа», третий — «диаспора кальвинистов, принужденных покинуть Францию в связи с отменой Нантского эдикта Людовиком XIV в 1685 году...» И далее во всей книге слова «диаспора» и «рассеяние» употребляются как взаимозаменяемые, конкретно-исторического или национального оттенка не имеющие.

Мы в последнее время уже привыкли, что и куда более простые слова дают повод к идеологической полемике, основанной, как оказывается, на простом незнании употребляемых слов. В данном случае дело обстоит иначе. Уж слишком хорошо лексический сдвиг подпирает возводимую концепцию. Она проста: «первая волна» эмиграции — трагедия, раскол нации; «третья» — очищение от инородцев, исход спасавших шкуру и искавших приложения своей торгашеской деловитости. В первой эмиграции — боль о России, в сегодняшней — ненависть к ней.

Давайте сначала о первой эмиграции, которую нам тоже еще предстоит узнать и понять. Еще совсем недавно мы даже не принимали к рассмотрению мысль о единстве русской литературы XX века: «Надо ли всерьез опровергать этот тезис? Всему миру ясно: есть великая советская литература, давшая миру непреходящие эстетические ценности. И есть некий свод книг, созданных эмигрантами (в том числе и весьма талантливыми), который они сами, однако, не решаются назвать литературой как чем-то единым, целостным» (В. Баранов, «Литературная газета», 22 августа 1984 г.).

Это было не индивидуальное, а общепринятое, обязательное мнение. И это было не только мнение, а реальный смысл ситуации, каковой она сложилась к концу двадцатых годов, окончательно оформившись в августе — сентябре 1929 г. после кампании осуждения Е. Замятина и Б. Пильняка, опубликовавших свои произведения за границей. До этого там свободно печатались многие, после — любая несанкционированная публикация становилась криминалом. Тогда же наши журналы перестают печатать обзоры эмигрантской литературы, даже информацию об эмигрантских изданиях.

Контакты надолго прерываются, а вопрос о существовании внутренних связей, единства литературы, объединенной главным — языком, ставится лишь сейчас, не предполагая заведомого ответа.

Еще недавно последним деятелям первой эмиграции приходилось убеждать нас, что не на «прежние привилегии, имения, банковские счета, особняки» ориентировалась мысль деятелей культуры; что не исключительно воспоминания о том, «какие были вкусные пирожки у Филиппова», владели их памятью (Беседы о русской зарубежной литературе. Париж, 1967, с. 14).

Теперь мы им склонны поверить. Только из них почти никого не осталось, чтобы нас за это поблагодарить. Да и не стали бы они возносить благодарственные гимны, не слились бы с нами в патриотическом экстазе. Другое у них было понимание патриотизма, России, народа, чем обнаруживает А. Казинцев, принудительно вербуя себе в единомышленники И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова: «Перечитайте бунинские «Темные аллеи», только что изданное «Лето Господне» И. Шмелева. Какая любовь к России! Воскрешающая каждую невидимую из Парижа лесную тропку, каждый извив с детства дорогой реки, смолкший на Родине, но все еще отдающийся в сердце колокольный гуд и трезвон, шумный говор былых базаров».

Перечитать нас приглашают, давайте перечитаем. Только почему начинать с конца, с «Темных аллей»? Перечитаем и классическое, в России и о России писанное — с натуры, хотя бы бунинскую «Деревню». Это — изображение одно-

временно той самой Руси, которую теперь так любят вспоминать кормящей весь мир хлебом, стоящей по колено в черноземе (образец которого сохранился лишь в парижском музее), исполненной благости и лада.

У Бунина и о черноземе есть: «Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода».

Есть у Бунина и о базарах, запомнившихся не только говором — и смрадом, грязью. Вспоминать так вспоминать. Есть у него и о ладе русской деревенской жизни, точнее, об отсутствии в ней лада, что и повергает в скорбь что-то пытающегося понять делового мужика, мироеда Тихона Красова:

«Да неужели так и в других странах? Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей — например, купец Рукавишников — рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели — и не только по пьяному делу,— все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными,— вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники...»

И так далее. Есть, разумеется, и «Темные аллеи», и «лесные тропинки», и «извивы реки», но если есть и то и другое, зачем же опять-таки лишать мысль пространства? Зачем низводить ее до жиденькой олеографии?

Не дав пространства бунинской мысли, не понять его любви к России, как не понять и русского лада, который тоже был, но не на виду, не так, как на сегодняшних этнографических иллюстрациях, которые печатаем, к сожалению, на типографской загранбазе. Лад был, но трудно был, трудно пробивалось его звучание сквозь тяжко давящие и давние проблемы русской истории, которые разрешат впоследствии самым страшным образом: их просто сметут с лица земли вместе с прежней деревней, с ее так и не зазвучавшим в полной мере ладом, с ее черноземом по колено, который, впрочем, и тогда — как свидетельствует Бунин — от голода не спасал.

Любить — хорошо. Но как любить? Слепо, обманывая себя и других, или с открытыми глазами, с полным пониманием несовершенств предмета своей любви и желанием помочь ему? Тогда это мучительная, странная любовь, какой, по лермонтовскому слову, и была любовь к России. Теперь это определение кого-то коробит, само стихотворение пытаются переатрибутировать: не мог-де Михаил Юрьевич такого сказать.

Мог, и не было в России ни в какие времена серьезного писателя, мыслителя, просто умного, честного человека, чья любовь не была бы странной. Впрочем, почему только в России? «Странная любовь» — это, наверное, единственно возможное патриотическое чувство, в котором менее всего превосходства и кичливой гордости. Это прекрасно понимали и лучшие, умнейшие из тех, кого мы знаем как славянофилов:

«Гордись! — тебе льстецы сказали —
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера...»
Не верь, не слушай, не гордись!..

Стихи написаны в 1839 году в связи с бородинской годовщиной. Они печатались еще и под названием «Гордость и смиренномудрие». Автор — один из столпов и праведников раннего славянофильства, А. С. Хомяков, у кого мысль о великом призвании России всегда неотделима от требования очистительного покаяния (над которым, к слову сказать, так глумятся сегодняшние ревнители национальной гордости).

Конечно, покаяние — это лишь один из символов, которыми и без того уж обременено наше историческое сознание, давно принявшие на веру, что «умом Россию не понять», так пусть поймем хоть так — метафорически, символически, иносказательно. Не о том речь, чтобы очередью потянуться к исповедальням, а о том, чтобы осознать: вина на каждом. Вольно или невольно каждый соучаствовал в том, что было: винтик, пресловутый винтик,— тоже часть механизма. Сказанное впрямую относится не только к отдельному человеку, но к каждой нации, народу: не было среди них сознательных злодеев, тайных или явных, никто не выиграл, но участвовали и пострадали все. Если же что безнравственно, то как раз вот это — мериться страданием: кто больше, кто меньше.

Национальное чувство обострено, натянуто, и найдется еще немало охотников поиграть на этой струне, да что поиграть — одним пальцем на одной ноте за нее подергать, а больше и не надо. Под этот аккомпанемент и происходит встреча с культурой русского зарубежья, отчего эта встреча не облегчается взаимным пониманием.

По старому обыкновению начинают кадить умершим, не столько чтобы им воздать, а чтобы «живых задеть кадилом». Но и мертвые писатели не лишены голоса — осталось их слово, которое упрямо сопротивляется тому, что им сегодня приписывают. Ни ностальгия по оставленному и в прежнем своем виде уже не существующему Отечеству, ни патриотическое чувство первой эмиграции не заставили ее лучших, культурнейших представителей отступить от русской традиции этого чувства — от «странной любви». Все с большим удивлением и сожалением оттуда следили, как здесь возрастала мысль о превосходстве, в том числе и национальном. Сама идея казалась не возвышающей, а унизительной для нации, избравшей ее своим убеждением. Об этом не раз писал, например, Г. Адамович, кого многие (Бунин также) называли лучшим критиком эмиграции:

«Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней, надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная, глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее прибежище негодяя — патриотизм» — сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому» (Г. Адамович. Комментарии. Вашингтон, 1967, с. 70).

Это то, что касается первой эмиграции: патриотизма, как его понимала и как считала допустимым о нем говорить старая русская интеллигенция.

Теперь о недавнем, о том, что мы слышим по поводу России в поэзии «третьей волны». У А. Казинцева она представлена цитатой из стихотворения И. Бродского, после которой критик задает вопросы: «Длинно (я еще сократил раза в три стихотворение)? Занудно? Да».

Действительно: сократил и дал стихотворный текст в строку, так что прочесть трудно, ибо теряется главное — интонация. Хороший или дурной поэт Бродский, не будем спорить, но представить его надо так, как он пишет. Те, кто его ценит, знают, что И. Бродский абсолютно узнаваем в русской поэзии интонационно. Чем далее, тем более он начинает

ценить крупную форму: для нее выработал свою строфику, медлительность, даже монотонность которой подчеркивается многократными повторами рифмующихся созвучий.

Медлительно, как будто нехотя развертывается строфа; вслед этому движению зрительно завоевывается пространство, оставленное, отчужденное, вспоминается Россия:

Там при словах «я за» течет со щек
известка.
Там в церкви образа коптит свеча из
воска.
Порой дает раза соседним странам
войско.

Там пышная сирень бушует в
палисаде.
Пивная целый день лежит в густой
осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех,
кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых
арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в
гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных
тварей.

«Скучающая ненависть»? Еще раз: не будем спорить, как оценивать взгляд И. Бродского на Россию, но прежде чем его оценивать, добросовестный критик должен был бы сказать, что это за стихотворение и почему называется оно «Пятая годовщина (4 июня 1977)». Дата вынужденного отъезда Иосифа Бродского из СССР (о фальсифицированном по его делу процессе уже много написано, опубликованы материалы и был запрос на съезде народных депутатов). А. Казинцев об этом не говорит, а если бы сказал, то странным бы выглядело его программное утверждение на первой странице, будто все уехавшие за последние полтора десятилетия литераторы уезжали добровольно, только один писатель, А. Солженицын, «против собственной воли».

В нашей прессе уже появилось не одно свидетельство, подобное признанию Ю. Кублановского о том, что предшествовало отъезду. Обыск, вызов, альтернатива: «или арест по 70-й статье, или немедленная эмиграция» (Книжное обозрение, 9 июня, 1989). Правда, А. Казинцевым такая дилемма предусмотрена, и он мужественно рекомендует: лагерь. И все-таки уезжавших в виду этой дилеммы можно ли считать теми, кто «без всяких осложнений уехали на Запад» или даже «уезжали в той или иной мере добровольно»?

Мера добровольности в этом контексте звучит как мера пресечения, мера наказания, а все это вместе взятое приводит на память стихотворение поэта-эмигранта «второй волны», недавно умершего Ивана Елагина:

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер,—
Наверное, жив человек,
Что перед самым расстрелом
Толстой
Проволокой
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.

Верно, тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень
хорошую пенсию вышел.

Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.
Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

(«Амнистия»)

Впрочем, этим стихотворением я едва ли имею право отвечать А. Казинцеву: он не из тех, кто простил. Но хватит возвращать значительную тему к ее незначительному поводу, к тому же не споря с ним. А как спорить? Можно спорить даже с тем, кому не верите,— ни вкусу, ни суждению. Но невозможно с тем, кому не доверяете: не стоять же со справочником при каждом факте и с оригинальным текстом при каждой цитате.

И еще более бессмысленная цель — править по канве недостоверных сведений. Узор же этой канвы не сегодня начали вышивать, и, как говорится, продолжение следует. Ответ может быть только один: дать голос тем, о ком мы начали говорить. Они должны быть услышаны неукрашенные, неотредактированные, не выглядящие лучше, чем они есть, любящие Россию не больше (и не меньше), чем они ее любят.

Давайте развернем все пространство их мысли, узнаем, как и зачем они уезжали. Тогда нас, быть может, остановят и по-человечески удивят не злые и горькие слова, а такие строки:

Что сказать мне о жизни? Что оказалась
длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь
благодарность.

(«Я входил вместо дикого зверя
в клетку...»)

Эти знаменитые уже строки И. Бродского — из стихотворения накануне восьмой годовщины вынужденного отъезда.

Давайте упрекать друг друга. Мы их за то, что они уехали. Они нас за то, что остались. Мы их за то, что они слишком многое отрицают. Они нас за то, что мы слишком многое приняли, о слишком многом промолчали.

Пусть у них — негатив. У нас — позитив, но одного снимка. Снимок сделан с одной исторической реальности, увиденной глазами одной культуры. Может быть, имея перед глазами и то и другое, мы лучше поймем изображенное?

В мире журналов и книг

Что сделало нас такими

Старый, забытый, никому уже не нужный «смит-и-вессон», в свое время служивший делу святого возмездия — с его помощью был, согласно грозному приговору Исполнительного Комитета Народной воли, казнен предатель и провокатор, платный агент Третьего отделения Николай Рейнштейн,— спустя десятилетия несет гибель мальчишке — пусть и не самому лучшему представителю рода человеческого, но все же не успевшему заслужить столь суровой кары.

Это — из повести «Приговор Исполнительного Комитета». Если бы в книге Геннадия Головина произведения располагались в хронологическом порядке, то ею, этой повестью, написанной в 1971 году, следовало бы ее открывать.

...Вышибленное посредством кирпича оконное стекло — таким нехитрым способом «юные тамерлановцы, то бишь тимуровцы» решили удовлетворить свою жажду социальной справедливости — укорачивает дни ни в чем не повинной и прожившей во всех отношениях достойную жизнь старухе.

А это — из повести «Анна Петровна». Согласно все той же хронологии она должна была бы стоять в книге последней: 1984—1985 годы...

Смерти, смерти... Наверное, разговор о первой книге прозаика можно было бы начать и с чего-нибудь менее печального. Ну, хотя бы таким образом: «Написанные в разной манере, произведения Геннадия Головина объединены...» — и дальше путем неторопливого перечисления объединяющих моментов мало-помалу раскрыть перед читателем, что же представляет собой творческий облик многолетне не печатавшегося автора.

Увы, не выходит. Этих самых «объединяющих моментов» на редкость мало — может, какой-нибудь средненький компьютер и без труда вычислил бы, что, например, та же «Анна Петровна» и «День рождения покойника» писаны одной рукою,— мне же наверняка не хватило бы сноровки догадаться. Если бы, понятно, не общая обложка — факт неопровержимый. И не этот вот упорный мотив: смерти, даже точнее было бы сказать, гибели. Причем гибель здесь именно такая — глупая, нелепая, как бы незаслуженная. Будто бы карающая десница опускается всякий раз мимо: не на того, не за то, не так...

«Мементо мори»,— выгравировано на черной граненой рукояти револьвера, казнившего и негодяя-провокатора, и мальчишку, случайно откопавшего «смит-и-вессон» на дачном чердаке. «Мементо мори» — «помни о смерти»...

Чем-то очень знакомым веет от этой ранней повести Головина. Сотрудники сыска, с помощью платного агента вышедшие на след народовольцев... Народовольцы, сложным путем устанавливающие личность провокатора... И та и другая «команды», преследуя разные цели, по сути, пользуются одними и теми же средствами; человек и человеческое в нем — безразлично, злое ли, доброе — интересны лишь в качестве карты, которую можно или нельзя разыграть. Измены, предательства, кровь... И — параллельно, как бы пунктиром из будущего — какая-то невнятная склока вокруг мусорной кучи в дачном поселке, где живут бывшие революционеры, дряхлый старичок-народоволец, вынужденный из-за этих дрязг отрываться от своих мемуаров, его то ли внук, то ли правнук, все что-то вынюхивающий, высматривающий, учиняющий деду мелкие пакости...

Ба, да ведь это же Трифонов! Это же его, трифоновское, родное: сопряжение времен, мысль о крови, проливаемой во имя... Но — 1971 год! Еще не написан не только «Старик» — даже «Нетерпению» осталось ждать почти два года. Так что же, выходит, молодой, никому не известный прозаик как бы предвосхитил будущего Трифонова?

Выходит, так. Это открытие, я думаю, вряд ли способно унизить Трифонова (в конце-то концов и того и другого «предвосхитил» еще Достоевский), зато оно немало говорит о художественной интуиции и смелости начинающего в ту пору автора.

Конечно, в сравнении с тем же «Ста-

Геннадий Головин. Терпение и надежда. Повести. М., Советский писатель, 1988.

риком» «Приговор...» проигрывает. Это как бы эскиз, набросок к будущим полотнам Трифонова.

Как, впрочем, и к будущему Головину.

Сегодня отчетливей видны слабости этой вещи. Это относится, например, к трактовке Рейнштейна — нынешний Головин, полагаю, уже не удовлетворился бы образом отпетого, «зоологического» негодяя. А, главное, сам ход с гибелью мальчика, который тогда, в начале 70-х, лично я бы наверняка воспринял как восхитительную художественную дерзость, сегодня мне уже кажется чересчур условным, искусственным, неточным.

В смерти Анны Петровны этой неточности нет. Прекрасно помню то щемящее чувство узнавания, с каким полтора года назад впервые читал эту повесть (кстати, в «Знамени» же). Вызвано оно было той высшей, подлинно художественной достоверностью, которую улавливаешь безошибочно. И вот сейчас, уже, так сказать, целенаправленно вчитываясь в мельчайшие бытовые подробности последних дней старухи, героини Головина, погружаясь вместе с ней в омут ее видений-воспоминаний, как бы заново испытал то же самое чувство.

«Секрет» тут, я думаю, не только в возросшем — в смысле владения писательской техникой — мастерстве Головина. Он и в «Приговоре» ею неплохо владел. Дело, как мне кажется, в качественно ином уровне постижения темы.

Гибель мальчика, потомка того самого Антона Петровича, который некогда участвовал в убийстве Рейнштейна,— это, как ни крути, все-таки случайность. А если бы мальчик не нашел револьвера? Или нашел кто-нибудь другой?.. В действительности, как мы знаем, обходилось без «револьверов с биографией»: хватало простой бумажки, ордера на арест. И жертвами исторического возмездия за дела революционных дедов и отцов становились отнюдь не только их прямые потомки.

Одинокая, «девятиметровая» (такую комнату она занимает) старость, смерть, подгоняемая людской завистью и озлоблением,— это возмездие Анне Петровне за чужие грехи. Кто она такая, Анна Петровна? Не вершитель судеб — частный человек, песчинка истории. Это ею «вершат». Ее бросают — то в кровавую сутолочь гражданской войны, то в бурлящий котел ускоренной индустриализации. А «сама по себе» — кто же она такая? Женщина. Исполняющая свое высшее предназначение — быть женщиной. Любить, сострадать, помогать, быть верной и ветреной, растить дочь, захлебываться от счастья и дарить его другим. Себя — раздаривать...

Помните одно из ее видений? Гражданская война, санный обоз, белое поле, по снегу бежит человек — пленный. «Пить... Он же просто пить хотел»,— то ли тогда, то ли теперь понимает Анна Петровна, вспомнив, что недалеко был ручей. Но кому охота разбираться — война, люди вооружены, его уже подстрелили. Так проще.

Как и в «Приговоре» — выстрел, смерть. Только здесь не охотятся за предателем, да он и вовсе не предатель. Так, неизвестно кто. Человек. И стреляет в него не дед, не отец Анны Петровны — кто-то совсем посторонний. И стреляет не за что-то, а просто так: лень, недосуг чикаться.

Гнусный скандал, который учинила Анне Петровне ее остервеневшая от ярости внучка,— продолжение того же «сюжета». И «тимуровский» кирпич — тоже. Агрессивное нежелание разбираться, в костях осевшее сознание собственной правоты, нетерпение и нетерпимость...

За что расплачивается старая женщина? Только за то, что жила. И что жизнь ее не сломала. В последнем, предсмертном уже видении она все-таки отбивает мяч (трансформация кирпича?), с бешеной, убийственной скоростью летящий ей прямо в лицо. В реальной жизни ей уже не хватает на это сил.

Чужая кровь падает на непричастных... Все так, ибо цепная реакция зла не знает пределов, растлению подлежат не личности — общество, его мораль и нравы. И возмездие — так или иначе — настигает всякого.

В свете этой мысли задуманная служить символом гибель мальчика оказывается частным случаем, а бескровная смерть старухи обретает подлинно символические черты.

Мне кажется, именно мотив исторического возмездия объединяет столь непохожие друг на друга произведения Головина. Отчетливо звучащий в одних вещах, он как бы окрашивает, подспудно питает собой другие.

...Дачный поселок под Москвой. На попечении рассказчика и его жены, волею обстоятельств вынужденных остаться здесь на всю зиму, оказались собаки Джек, Братишка и маленький щенок Федя. Несколько месяцев, проведенных молодыми супругами в опустевшем поселке в обществе этих псов,— вот, собственно, весь сюжет повести «Джек, Братишка и другие». Похоже, автор и не ставил перед собой иной задачи, кроме как просто и бесхитростно рассказать о том, что было.

А было то, что к весне из собак остался один лишь Братишка. Первым пропал Федька. Его, по-видимому, постигла та же участь, что Джека. А Джек... Щадя восприятие читателей, прозаик не описывает, что именно сделали с этим жизнелюбивым псом люди. У Братишки, когда он разыскал то, что осталось от Джека, попавшего в руки шкуродеров, на несколько дней отнялись лапы. «Мне кажется,— пишет Головин,— что после гибели Джека, он (Братишка.— Л. Б.) по-настоящему стал жалеть нас — людей, живущих среди людей».

Снова, как видим, гибель — тупая,

бессмысленная, жестокая... Не помню, кому принадлежит эта мысль: по тому, как относятся люди к животным, можно судить о состоянии общественного здоровья. Какой, однако, диагноз следует поставить обществу, если девочка, играя с любимым щенком, радостно сообщает, что назвала его в честь знаменитого крокодила Геной и что папа обещал ей, когда Гена вырастет, сделать из него красивую шапку (эпизод из повести)?

Нет, писатель не произносит гневных филиппик. Он — вместе с Братишкой — жалеет нас, «людей, живущих среди людей».

Сугубой современности посвящена и повесть «День рождения покойника». В аннотации к книге она названа «остросатирической». Не отрицая сатиричности, я бы, пожалуй, ее жанр обозначил как-нибудь по-другому. Вроде, скажем, «черной фантасмагории» или, еще точнее, «фантасмагорической чернухи». Мне кажется, этот жанр определился уже довольно четко. Если не идти далеко вглубь, то его родоначальниками можно назвать Венидикта Ерофеева (повесть «Москва — Петушки») и Владимира Высоцкого. Впрочем, эту линию, наверное, можно протянуть и к Шукшину, родственному им обоим. «Черные» стороны действительности здесь как бы сгущены, утрированы, доведены до крайности или близко к тому. Но это — на трезвый взгляд. Для героя же, чье сознание, как правило, насквозь проспиртовано, весь этот абсурд выглядит нормальной жизнью. Вот отсюда, от этой привычной нормальности анормального — тот эффект, который я бы назвал «слезы сквозь смех». Ибо не на «очищающий смех» рассчитаны вещи такого рода, а на горькую задумчивость: как же мы дошли до жизни такой? Чем с большим блеском написано (а повесть Головина написана именно «с блеском»), тем горше вопросы...

И в повести «Джек, Братишка и другие», и в «Дне рождения покойника» нет прямых выходов на историю. Вопрос, что сделало нас такими, как бы и не ставится. Но именно — «как бы». На самом деле мысль Головина постоянно разомкнута на наше прошлое, на историю. И хронологически завершающая книгу «Анна Петровна» — лучшее тому подтверждение.

Возможно, у читателя этой рецензии создалось впечатление, будто мировосприятие Головина носит мрачный и пессимистический характер. Но я бы не решился сказать так. Да, предмет его мыслей — наша история — не из самых веселых. Но он все-таки верит в торжество положительных начал. Выражается это не в сюжетах и не в расстановке сил. А, например, в лиризме, каким проникнута повесть «Джек, Братишка и другие». Или в том, что в высшем, бытийственном смысле Анне Петровне удалось отбить этот убийственный мяч, что всю жизнь летел ей в лицо и требовал: измени, предай, отрекись! Не изменила и не предала.

Приходится расплачиваться за чужие грехи. Не мои, но — наши. Что ж, это закономерно, историю не перехитришь. Что остается? Достоинство. А еще — «терпение и надежда».

В книге есть еще одна повесть — «Миллионы с большими нулями». Написанная в 1980-м году, она как бы выпадает из общего контекста. Это чисто детективная, сработанная крепким профессиональным пером история, действие которой происходит во времена гражданской войны. По сути, она вполне могла бы стать основной какого-нибудь благополучного телесериала. Не знаю, что подвигло писателя на это произведение. Наверное, жизненные обстоятельства: сколько же можно не печататься? Я ни в коей мере не осуждаю писателя за этот шаг, напротив, мне даже кажется правильным, что он включил ее в книгу. Потому что, читая ее, думаешь: хорошо, что у него хватило мужества отказаться от этой дороги. Достало терпения и надежды.

Леонид Бахнов

В свой край, в свой век, в свой час...

У русских поэтов трагическая судьба при жизни и счастливая посмертная: их долго помнят соотечественники, и чем дальше от трагического конца, тем преданнее собираются крупицы правды для составления летописи их страдальческой жизни.

Вот и о Марине Цветаевой на ее родине вышла в свет уже третья книга. Сначала — приобретшие большую известность «Воспоминания» Анастасии Цветаевой, младшей сестры Марины Ивановны, видевшей ее в последний раз в 1927 году. В воспоминаниях Анастасии Цветаевой подробно предстали в первую очередь московское, тарусское и заграничное детство сестер, их юность, портреты родителей и родственников, рассказ о смерти матери в 1906 году. Затем в 1986 году появилось исследование Анны Саакянц «Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества», посвященное доэмигрантскому периоду, то есть 1910—1922

Мария Белкина. Скрещение судеб. М., Книга. 1988.

годам. И — книга Марии Белкиной «Скрещение судеб», определенная автором предисловия Даниилом Даниным как «хроника самого трагического двухлетия в финале жизненного пути Марины Цветаевой», то есть 1939 — 1941 годов.

Таким образом, в биографии поэта для нас остался лишь один пробел в последовательном изложении событий эмиграции — годы 1922—1939. И, конечно, не случайно в коллективной биографии поэта сохранился именно этот пробел: до последних лет он был труден для советских исследователей и в смысле сбора фактического материала, да и во многих других смыслах. Это с одной стороны. А с другой — он более других заполнен самой Цветаевой, ее стихами, поэмами, прозой, письмами.

У меня, во всяком случае, нет ощущения, что мы не представляем жизни Цветаевой эмигрантских лет (в тех, конечно, пределах, в каких человек может знать жизнь другого человека, это-то соображение всегда надо иметь в виду, предъявляя требования к биографии): Чехия и Франция, тоска по России и наступление на Европу фашизма, Пушкин и диалог с поэтами-современниками, Рильке и Пастернак, муж и дети — поток прекрасных, теперь широко известных стихов. Какие вспомнить? Трудно выбрать.

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели,
По двум разным концам земли.
. . . .
Всяк дом мне чужд, всяк храм
мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно рябина...

Но приходилось слышать, что Цветаева после отъезда из России ничего существенного больше не написала. Ну, конечно, зачем брать в руки книги, когда тобою владеет априорная патриотическая идея: поэт вне родины не может писать? Тут уж не поможет опыт ни Данте, ни Вольтера, ни тем паче более близкие примеры. Я не спорила со столь удивительным утверждением. Бесполезно спорить с глухими.

Что́ для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!
. . . .
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.
. . . .
Сквозь равнодушья серые мхи —
Так восклицаю! — Будут стихи!

А вот последние два года жизни Цветаева замолчала. «Я свое написала»,— скажет она в августе 1940 года. И как только иссяк неостановимый стих, образовалась тайна. Тайна ее конца всегда мучает, как страшная загадка. И не потому, что у Марины Цветаевой были арестованы только что вернувшиеся из Франции в Россию муж и дочь — какая для нас теперь тут загадка? И не потому, что эмигрантка на родине (или это называется «репатриантка»?) оказалась без постоянного жилья и денег — были ли они у большинства из тех, кто никуда не трогался? А вот одиночество в Чистополе и Елабуге, когда совсем рядом находились многие из тех, кто лучше других, казалось бы, должны понимать ранимость поэта и цену поэзии? А вот решимость женщины оставить в незнакомой стране один на один с войной сына-подростка? А понимала ли Марина Цветаева, какую школу равнодушия к чужой беде уже прошли все они, ласкавшие ее за чайными столами в Москве, но в глубине души заледенелые великим страхом? А может быть, только в августе 1941 года она и поняла, стала наконец понимать духовную пропасть, отъединившую ее от соплеменников, в том числе от русских писателей за годы разлуки с ними? На кого же она тогда оставляла сына, этого юного парижского Печорина? Вот это все тайны, вот это — загадки. Мария Белкина пытается их объяснить. Насколько это возможно, когда речь идет о самоубийстве. О самоубийстве поэта.

Успех книги «Скрещение судеб» — а книга эта безусловно большой успех ее автора — во многом обусловлен оригинальным жанром или, вернее, смелым авторским пренебрежением всеми жанрами, как это часто бывает с самобытными книгами. К фактографической «хронике», задача которой тщательно собрать все доступные письменные и устные свидетельства о двух последних годах жизни поэта, автор присоединил некоторые приемы или методы — назовите, как хотите,— современной (в самом широком смысле слова) художественной прозы. Здесь рассказчик — с его крайне почтительным отношением к герою, с его бережным обращением со всеми узнанными им фактами жизни и угаданными чертами психологии героя,— сохраняя достаточно большую дистанцию между ним и собою, в то же время не отстраняется и от личных ощущений, от обстоятельств собственной жизни, не закрывает рта своему лирическому «я». Кто родоначальник подобного жанра? Достоевский в «Бесах» с его хроникером? Томас Манн в «Докторе Фаустусе» с биографом композитора Леверкюна Цейтбломом? Рецензия не место для теоретических построений. И, конечно, полной аналогии у книги Марии Белкиной с известными нам романами и романом вообще нет и быть не может. Хотя бы уже потому, что речь идет не о высоком вымысле, а прежде всего о стремлении к строгой достоверности. Но, видимо, в XX веке есть темы и события, не постижимые простым объективным изложением хода вещей, не измеряемые «линейным» способом. Мы приближаемся к их постижению сопряжением

множества противоречивых свидетельств, многоликим опытом современников.

Название книги Марии Белкиной в этом смысле принципиально. И ее построение тоже отражает этот глубоко содержательный принцип: скрещение судеб. Книга состоит из трех разновеликих частей: «Марина Ивановна», «Мур», «Алины университеты». Мур — домашнее имя сына Цветаевой Георгия Сергеевича Эфрона, погибшего на фронте в девятнадцать лет в 1944 году. Аля — дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон, впервые арестованная в 1939 году и освобожденная из ссылки в Туруханске в 1955 году. Три жития, мученический триптих. А за ним стоит тень четвертого мученика — беспамятно сгинувшего в лагерях (или расстрелянного?) мужа Цветаевой Сергея Яковлевича Эфрона. Это он, бывший белый офицер, вернулся и вернул на родину свою семью. «В свой час»...

Но «высокий стиль» точного определения судьбы семьи Цветаевой как «мученичества» ни в коей мере не отражает стиля книги Марии Белкиной, чуждого патетики и подчиненного стремлению к максимальной психологической правде. Что значило для русского человека — во всех аспектах, от отношений с властью до проблемы жилья — вернуться на родину в конце 30-х годов XX столетия? Что значило в то время быть женой, матерью и сестрой арестованных (ведь Анастасия Ивановна Цветаева тоже тогда была в лагере)? Что значило для поэта-эмигранта в тех условиях оказаться единственным кормильцем семьи? Что значило быть одновременно матерью избалованного, изломанного мальчика, перед которым была (мать знала это, каждая мать знала тогда это) одна дорога — война? А что значило быть детьми столь необычной, столь фантастической женщины, как поэт Цветаева? «Мама, вечная моя боль!..» — воскликнет однажды дочь Марины Ивановны, а Мария Белкина запомнит, обозначит многослойность этой боли и деликатно даст нам понять возможное из необъятного.

Автор, объясняя историю создания книги, рассказывает, как трижды жизнь сталкивала ее с судьбой Цветаевой: с самой Мариной Ивановной и ее сыном в 1940—1941 годах; с ее дочерью — начиная с середины 50-х годов; с архивом семьи — в 70-х. Эти «встречи» обязали Марию Белкину к написанию столь личной, насыщенной редкими документами книги: «Хотя и долго сопротивлялась и не хотела писать эту книгу, понимая, сколь сложна эта работа и какую ответственность я беру на себя. Но выхода не было — мне так много было уже известно доподлинного, а вокруг столько говорилось и столько появлялось в печати всякой небыли о Марине Ивановне и о ее семье, что я не имела права, не смела все то, что знала, унести с собой в небытие... Книга эта не могла не быть написана».

В поисках истины о личности Марины Цветаевой автор «Скрещения судеб», кроме трех главных ее узлов — мать, сын, дочь,— обнажает попутно еще многие и многие узлы и узелочки, связавшие Марину Ивановну с ее вновь обретенной родиной: портреты ее знакомых, эпизоды случайных встреч, запомнившиеся реплики людей, соприкоснувшихся с поэтом в последние два года ее жизни на разных уровнях быта, психологии, истории. Нет в книге Марии Белкиной лишь одного голоса — голоса далекой в тот час сестры Марины Ивановны — Анастасии Цветаевой. И отсутствие его — это уже тайна самого автора книги: почему так начисто глух он к этому голосу? Но может ли состояться книга о поэте без тайны? Такого еще не бывало.

В «Скрещение судеб» широко входят собственные воспоминания автора: и восприятие личности Марины Цветаевой молоденькой и наивной Машей Белкиной, только что познакомившейся с ней и Муром; и более поздние ее отношения с дочерью поэта, замечательным человеком, художником, переводчицей, о немалом литературном даровании которой мы могли судить по недавно опубликованной ее переписке с Б. Л. Пастернаком; и впечатления Марии Белкиной от поездки в Тарусу на могилу Ариадны Сергеевны; и попытка понять характер и чувства такого необычного и несчастного мальчика, каким был сын Цветаевой; и осмысление трагедии семьи в целом человеком нашего времени, уже пишущим книгу о поэте и сопоставляющим сегодняшний свой взгляд на события полувековой давности с тогдашним их восприятием; и, наконец, последний аккорд — описание автобусной экскурсии по «цветаевским местам» Москвы — мы и до этого дожили! — может быть, наименее удачные страницы книги. Неудачны они, на мой вкус, тем, что здесь личное и конкретное потеснено общим и назидательным. «Вам жить в двадцать первом веке! Так научитесь хоть вы беречь своих поэтов. Поэт — редкий гость на земле». В чем гарантии стерильности от наших бед, от микробов двадцатого века, века двадцать первого? Он ведь так близко! К счастью, прямолинейная плакатность — лишь один грубоватый штрих в книге тонких оттенков, написанной человеком, показавшим весьма точно, каково приходится на земле, особенно на нашей земле, ее редким гостям.

Сопричастность многих и многих людей драме Марины Цветаевой, переданная Марией Белкиной, дает возможность читателю ощутить глубину исторического фона судьбы «редкого гостя». Исключительная личность, исключительная жизнь, исключительный конец, а судьба — наша общая.

Сколько, оказывается, знакомых имен и образов в этой книге! Знакомых по литературе — и вот открытие! — знакомых по твоей собственной жизни. И ты жила в этом городе, куда вернулась Марина

Ивановна, и ты ходила по тем же улицам (и как близко!) в те же самые мгновения, когда поэт делал последнюю попытку слить свою дорогу с нашим общим путем («Попытка Цветаевой... Попытка детей ее... Попытка времени» — такой многозначительный подзаголовок, перефразируя название одного стихотворения Цветаевой, дала Мария Белкина своей книге).

Образ города — предвоенной Москвы — встает в этой книге еще одним живым ее действующим лицом. Автор старается восстановить адреса, гостевые и прогулочные маршруты последних лет Марины Цветаевой. За этими описаниями и возникает облик того, почти совсем ушедшего с лица земли — но еще не из людской памяти! — города: в чем-то на наш сегодняшний взгляд патриархального, но уже научившегося днем скрывать свои ночные трагедии. В этом городе мало телефонов, в его зеленых двориках и извилистых переулках много одноэтажных и двухэтажных домов, и гость о своем приходе может предупредить, просто постучав пальцем в окно. Вот почему еще не иссяк милый обычай запросто заглядывать друг к другу! А это ли не источник обилия зрительных и психологических впечатлений о людях, живших тогда и там? Мария Белкина бережно и с любовью воспроизводит живописные бедные декорации, среди которых разыгрался предпоследний акт трагедии Марины Цветаевой. Ведь и автор книги о ней жил в одном из таких старых домов, в нем хранился архив поэта до лета 1941 года, когда Мария Белкина уговорит Цветаеву унести заветный чемодан с рукописями из ненадежного при еженощных бомбежках убежища: «И она пришла, пришла с Муром... Мне казалось, что Марина Ивановна не очень-то охотно забирала свой чемодан». Запутанная история архива Цветаевой входит отдельным сюжетом в многосюжетную книгу Марии Белкиной.

О последнем же акте трагедии жизни поэта автор книги рассказывает скупо, сдержанно: немногие документы, три предсмертных письма Цветаевой, письма и дневники ее сына, который скажет о самоубийстве матери: «Марина Ивановна поступила логично». Пронзительна почти неестественная сдержанность этого необычного, осужденного людьми за непонятную черствость, этого, казалось, бесследно сгинувшего мальчика. Удивительно и то, что его письма сохранились, в то время когда так мало хранилось и так много уничтожалось всяких бумаг личного свойства. Книга Марии Белкиной — свидетельство не только о жизни Марины Цветаевой, но и о трагических годах нашей общей истории.

«Скрещение судеб» хорошо издано. Это именно «книга» в полном смысле слова, предмет, который хочется бережно взять в руки, долго рассматривать, внимательно читать и перечитывать. Хорошая бумага, интереснейшие, щемящие душу фотографии (о них можно написать отдельную статью), выразительные иллюстрации художника В. Я. Черниевского, зрительно воплотившего главное свойство книги — соединение подлинности фактов и документов с личным чувством. Такая публикация и должна была быть осуществлена издательством «Книга». Жаль, конечно, что в выходных данных перепутано отчество автора, в латинском эпиграфе опечатка, есть и другие... Мария Белкина вспоминает слова, некогда сказанные Цветаевой: «Писать обо мне... не отчаялся бы только немец»... Нет, эту книгу создавали не немцы: сделать громадное и не сделать ерунды... «Скрещение судеб» во всех смыслах — очень русская книга.

Е. Старикова

Не был, не состоял, не участвовал...

В одной из журнальных полемик вычитал недавно успокоительную мысль. Оказывается, пресловутая травля космополитов вовсе и не была никакой организованной кампанией, а так, мелкой литературно-театральной сварой. И все бы о ней давно думать позабыли, если бы не активность определенных лиц и кругов, раздувающих значение и последствия этого ничтожного эпизода.

А тут как назло журнал «Театр» разражается скандальным сериалом, печатая на протяжении полугода мемуары А. Борщаговского. Но как тут не пустить слезу о молодежи, которую что ни день обращают к новым ликам «непредсказуемого прошлого»! Я уже не принадлежу к молодежи, но и для моих сверстников, родившихся как раз в годы описываемых мемуаристом событий, последние подернуты дымкой исторической ирреальности. Особенно для тех, кто по происхождению с «безродными космополитами» не связан, семейных легенд и преданий про «время оно» не слыхивал.

Конечно, занимаясь критикой (преимущественно критикой кино), сталкивался с людьми, по которым это время так или иначе прошлось. Но в разговорах со мной в воспоминания они не вдавались, старые раны если и затрагивали, то слегка, мимоходом.

Это не значит, что жупел космополитизма — уже спустя десятилетия после кампании — не витал зловеще над нашей общественно-культурной жизнью. Еще как! Человеку, со стороны вошедшему в сферу официальной печати, не мог не броситься в глаза ряд установленных табу. Негласных, передаваемых пусть даже из уст в уста, скорее намеками, чем прямыми указаниями. Вам давали понять, например, что состав авторов, которых вы привлекли для работы, не совсем, что ли, чист, что в нем фигурируют «не те» фамилии. Даже если каждая в отдельности приемлема, сочетание их на газетно-журнальной полосе звучит нехорошо, ведь в процентном отношении... И вы сбивались с ног в поисках других мастеров пера, чей профессионализм, хотелось думать, столь же высок, но у которых вдобавок «те» фамилии.

Возможно, читатель понял мои слова как камешек в огород антисемитов, которых всюду хватает, разумеется, и в редакциях. Этой теме отводит существенное место в своих воспоминаниях и А. Борщаговский. Однако не думаю, что здесь замыкается основная проблема «Записок баловня судьбы».

Вновь обращаюсь к собственным впечатлениям столь еще недавних застойных времен. Мне как начинающему критику не так-то просто было уразуметь явную непропорциональность, с какой распределились профессиональные интересы моих старших коллег. Почему большинство самых галантливых из них — М. Туровская и И. Соловьева, В. Шитова и Н. Зоркая, В. Божович и Я. Березницкий — лучшие свои книги и статьи посвятили западному кино, анализу творчества Антониони, Висконти, Трюффо, Бергмана, Казана, а не, предположим, Бондарчука и Рязанова? (В данном случае я сопоставляю не объекты, а субъекты интереса.) Правда, одни из перечисленных авторов начинали, а другие в более поздние годы вернулись на стезю отечественного искусства, но и у них был в жизни фундаментальный период, когда приоритет в критической работе принадлежал западной культуре.

Объяснение — скорее парадоксальную версию его — довелось как-то услышать от человека того самого поколения, которое вошло в жизнь в разгар борьбы с космополитизмом. Проявлять пиетет к чему бы то ни было заграничному, буржуазному считалось заведомым пороком. Страх не только имеет долгую память, но и входит в подсознание. И реакция на много лет вперед воспоследовала вполне адекватная. Все, для кого было не так уж важно в конце концов, чем и как заниматься, кто искал путей и тропинок полегче, пустились прославлять доморощенные шедевры. Западное кино конца 50-х — середины 60-х осталось на долю тех исследователей и критиков, кто н е м о г пройти мимо открывшегося там высочайшего культурного взлета.

Впрочем, довольно скоро, на исходе шестидесятых, все снова переменилось. После критики в софроновском «Огоньке» из журналов «Театр» и «Искусство кино» были изгнаны последыши «безродных космополитов». Нет, западная тематика не ушла, но она — по крайней мере в кинематографе — была отдана на откуп людям надежным, поднаторевшим в искусстве оголтелых проработок. Им опять-таки было все равно, где бряцать своим идеологическим оружием — в кинематографе или в мясо-молочной промышленности,— но устои их были крепки. Под их эгидой выросло целое поколение послушных псевдоученых-киноведов, знающих в отличие от них иностранные языки, но еще лучше знающих, где и как «поставить на место» Пазолини, Поланского или Фассбиндера, «воткнув» им за философские и политические противоречия.

И вот уже (идет 73-й год) среди абитуриентов, поступающих на киноведческий факультет ВГИКа, катится пугающий слушок. На вопрос комиссии, какие фильмы Бергмана смотрел, отвечать: не видел и видеть не хочу, избави меня бог от лукавого!

Что же за странное существование это в одной отдельно взятой стране, напрочь отгородившейся от процессов мировой культуры? Нет, не будем столь категоричны: ведь там, за кордоном, сосуществуют две культуры, и по крайней мере к одной из них мы достаточно лояльны. А если насчет кого-нибудь возникло сомнение, к какой именно культуре он принадлежит, всегда лучше «перебдеть», чем «недобдеть». Сначала охáем, а там разберемся.

Самое удивительное, однако, что как минимум две культуры распространились и в нашей богом данной стране. Есть культура со всеми признаками литературной плодовитости, сиюминутного спроса, миллионного тиражирования. И вдруг реальной конкуренткой ей выступила культура другая — в лице... еще недавно труднодоступных и элитарных, а ныне все более массовых изданий Булгакова, Платонова, Набокова. За исключением, быть может, последнего, космополитами их никак не назовешь. Да ведь за словом в карман не лезут, когда налицо угроза издательскому благополучию. Теперь вот «некрофилию» пустили в ход — новый жупел в «литературной борьбе».

Еще хуже обстоит дело применительно к критике, которой по традиции уготована роль козла отпущения всякий раз, когда идеологические догматы приходят в противоречие с подспудным движением культуры. Больше всего доставалось «формалистам», «западникам» и «космополитам», но, бывало, грозили пальцем и «почвенникам». Слов нет, они «народнее», но слишком далеко порой заходили в метафизическом восторге перед «русской идеей». Единственно, кто был всегда на коне,— это столпы апробированного официоза, певцы волшебных зако-

---

А. Борщаговский. Баловень судьбы. Театр, №№ 10—12, 1988; №№ 1—3, 1989.

номерностей соцреализма и ретивые обличители западного духовного разложения.

Здесь-то и залегает корень проблемы, которую А. Борщаговский преподносит с позиций человека глубоко советского, патриотичного и партийного, к тому же человека своего поколения, прошедшего через гипноз сталинской мифологии. Ну, допустим, Бояджиев или Аникст — «западники» по самому характеру своей исследовательской работы. Но как попал в космополиты Борщаговский? Уж его-то, посвятившего раннее творчество анализу новых советских пьес, позднее написавшего патриотический роман «Русский флаг», просто-напросто нелепо даже и заподозрить в очернительстве всего русского и преклонении перед Западом.

Но механика идеологических репрессий не так проста. В сущности, никакого значения не имеет, кто ты есть на самом деле и что в своих тайных мыслях носишь. Важно одно: верно служить «судьбоносным» мифическим принципам, которые материализуются в очень конкретном обслуживании сильных мира сего.

Критик, который позволяет себе выражать собственный взгляд на вещи, всегда рискует. Но вина космополитов была не только в этом. А. Борщаговский, И. Юзовский, И. Альтман, А. Гурвич и иже с ними нарушили правила великосветской игры в литературно-театральном салоне, приближенном к верховному Олимпу. И поплатились за свою самонадеянную наивность.

При чем же тут патриотизм — космополитизм, еврей — не еврей, западник — почвенник и даже талант — бездарность? В каждом данном случае эти антитезы, разумеется, срабатывали, причем в нужную сторону. Сегодня можно обвинить в космополитизме, а завтра, глядишь, в украинском национализме и даже антисемитизме (я знал такой случай во Львове; что интересно, обрушились на еврея). Можно пожертвовать пошлой бездарностью, зато приручить и развратить талант. Когда в финале мемуаров мы становимся свидетелями того, как кончается хождение по мукам и печатается-таки «Русский флаг», это лишь начало конца. Не успел роман выйти, как В. Кожевников обвинил Борщаговского... в проповеди культа личности.

«К этой поре,— резюмирует автор,— я хорошо знал, что обвинить можно любого и в любых грехах, было бы желание и хотя бы небольшая власть...» Да, число вариантов поистине неограниченно. Это подтверждает и практика застоя. Вот А. Борщаговский рассказывает злополучную историю публикации романа. А я вспоминаю первую свою попытку (перед вами, читатель, вторая) сотрудничества с журналом «Знамя». Сюжет, как говорится, не стоит выеденного яйца. Но при всей своей несоразмерности с драмами прошлого, при отсутствии жестоких карательных мер и последствий сюжет этот движется все тем же, слегка подновленным механизмом.

Итак, была написана статья о патриотической теме в советском кино, вполне соответствующая профилю и направлению журнала. Только в качестве примеров приводились далекие от официозных клише военного фильма картины Л. Шепитько, А. Германа, В. Рубинчика (дело было лет десять назад). Сочувствовавшие мне сотрудницы отдела критики с самого начала посоветовали оснастить текст заклинаниями в честь партийности, народности, соцреализма и роли комсомола. Скажем, требовалось писать не «Сотников», а «комсомолец Сотников». Но и этого оказалось недостаточно. Редколлегия пришла к выводу о невозможности публикации статьи ввиду содержавшегося в ней абстрактного гуманизма и пацифизма.

Между тем патриотизм, пацифизм, космополитизм — все это вопросы совести, мироощущения, личностного менталитета. Как только эта сфера человеческого сознания политизируется, она уже не оставляет места для внутренней духовной работы, полностью оказывается в плену мифа — либо слепой веры, либо сознательной спекуляции.

Воспоминания Борщаговского замечательны тем, что их автор не накладывает на пережитое оптики сегодняшнего дня с его трезвыми уроками. Он сосредоточивает внимание как раз на той духовной работе, которую ему довелось проделать благодаря поистине счастливому стечению обстоятельств судьбы. Его не уничтожили, как Михоэлса, не сгноили в лагерях, как Мандельштама, не упрятали в психбольницу, как Григоренко. «Баловня судьбы» просто-напросто не издавали, не печатали, просто выселили из квартиры вместе с двумя детьми, одной из них была Светлана Кармалита, которую я часто встречаю в коридорах «Ленфильма» и Союза кинематографистов. Мне никогда не приходило в голову, что она дитя «той» эпохи.

Встречаю и Якова Львовича Варшавского, знаю его по книгам и статьям. Мы привыкли к талантам суровым и непреклонным. Но сколько талантов не реализовалось в полную силу только потому, что природа создала их иными. Они не были призваны бороться с враждебными обстоятельствами. Они были способны цвести и плодоносить только в поле культуры. А оказались подмяты сорняками.

Вообще автор мемуаров не склонен мазать беспросветной черной краской даже тех, чья роль в «деле космополитов» была особенно неприглядной. Он не противопоставляет героев и злодеев, понимая слишком жесткую зависимость каждого от «климата» эпохи. «Но в самые черные дни,— пишет Борщаговский,— мы с Валей благословляли судьбу за то, что беда *не обошла нас*, что я не оказался в числе спасенных «счастливчиков» и в благодарность за пощаду, за милость *не поставлен перед*

необходимостью «встать под ружье». Отсидеться, отмолчаться удавалось немногим... Смог ли бы я отмолчаться, исчезнуть на время, ослепнуть, уложить руку в гипс? Или, страдая, покорно, малодушно распаляя себя рабьей благодарностью за «доверие», за позволение «причастности», побрел бы на психологическое и нравственное заклание?.. И потому говорю по старинке: *бог меня уберег*, я не встал перед трудным, ужасным даже выбором, он под силу самым лучшим, сложившимся в высокой нравственности людям, а во мне тогда, увы, соображения политики пересиливали требования нравственности. И все могло горько кончиться».

Читая документы и мемуары о временах не столь отдаленных, люди моего поколения мысленно заполняют графы знакомой анкеты: «не был, не состоял, не участвовал...» Да, судьба уберегла нас от дикостей сталинского времени. И однако же, думая о себе и своей жизни, не спешу заполнить утешительную анкету. Был — в этой стране и в этом обществе, состоял — в партии, устав которой ведь не исключает известную степень самовыражения. Участвовал — в культурном процессе.

Не был — баловнем судьбы, которая избавила бы от тени соучастия в том, что делалось именем партии и государства по отношению к инакомыслящим. А ведь это слово уже существовало, и сегодня ясно, что без него немыслим сам процесс.

Во времена Борщаговского такого слова еще не было, а когда хотели выразить это и близкие ему понятия, они заменялись терминами из полуматерного политического жаргона. И остается только поражаться тому, как выжила простая человеческая нравственность в мясорубке тотального единомыслия.

Андрей Плахов

Генетика: необходимость разнообразия

История советской генетики, ее блистательные и драматические страницы привлекали и привлекают внимание писателей, социологов, политологов, историков науки.

Как случилось, что в стране, где в 20-е годы сформировались блестящие научные школы мирового уровня, возглавлявшиеся Н. И. Вавиловым, Н. К. Кольцовым, С. С. Четвериковым, Ю. А. Филипченко, А. С. Серебровским, смогла победить лысенковщина? Как случилось, что советская философия 20-х годов от пропаганды идей диалектического материализма перешла в конце 30-х годов к пропаганде лженаучных идеологических воззрений Т. Д. Лысенко?

Ответ на этот вопрос не дан и до сих пор. У многих биологов моего поколения существует четко выраженный «импринтинг» (устойчивый образ) врага науки в лице философии. Конечно, было бы в высшей степени наивным отождествлять философию диалектического материализма с такими вульгаризаторами ее, как М. Б. Митин, И. И. Презент и Г. В. Платонов. Однако не будем забывать и той поистине пагубной роли, которую играли в истории советской биологии эти вульгаризаторы (на определенном этапе олицетворявшие всю философию) — причем не год, не два, а по меньшей мере с 1929 по 1966 год.

С именем автора рецензируемой книги И. Т. Фролова я впервые познакомился в конце 50-х годов в работе опального в ту пору классика отечественной эволюционной биологии академика И. И. Шмальгаузена. Я посетил его на даче в Мозжинке в 1959 году, где он практически в полном одиночестве трудился над проблемой происхождения наземных позвоночных. Заниматься общими вопросами теории эволюции он не мог: эта тематика не включалась в план. Однако мышление нельзя остановить, и в те самые годы Шмальгаузен начал разрабатывать (впервые в мире) кибернетические модели эволюционного процесса. На этой почве у него возникли контакты с основателем советской кибернетики А. А. Ляпуновым. Часть этих контактов с А. А. Ляпуновым осуществлялась при моем посредничестве.

В одну из встреч Шмальгаузен обратил мое внимание на критическое выступление молодого и неизвестного в ту пору философа И. Т. Фролова. Тон выступления резко отличался от характерного для той поры «взаимодействия» между горе-философами и биологами. Это была уважительная критика некоторых концепций И. И. Шмальгаузена. Тон этой критики настолько отличался от всего того, к чему привык почтенный ученый за последние два десятка лет, что И. И. Шмальгаузен счел для себя возможным впервые вступить в дискуссию с представителем нового, неизвестного для биологов поколения философов.

И. И. Шмальгаузен подарил мне оттиск своего полемического ответа И. Т. Фролову, опубликованного в «Ботаническом журнале», и с большим интересом говорил о том, что в среде наших философов появляются новые люди, которые готовы

И. Т. Фролов. Философия и история генетики. Поиски и дискуссии. М., Наука, 1988 г.

отказаться от схем, навязанных М. Б. Митиным и И. И. Презентом.

Прошло несколько лет, генетика постепенно начала получать права гражданства в нашей стране, однако разрыв между философией и биологией сохранился. Существование этого разрыва в равной степени было выгодным как отечественным вульгаризаторам марксистской философии, так и тем исследователям на Западе, которые хотели видеть в трагедии советской генетики результат воздействия диалектического материализма на науку в стране.

В этих условиях внимание не только биологов, но и всех естествоиспытателей привлек выход серьезной и взвешенной книги И. Т. Фролова «Генетика и диалектика» (1966 г.). Были и более поздние работы того же автора, написанные вместе с С. А. Пастушным: «Мендель, менделизм и диалектика» (1972 г.) и «Менделизм и философские проблемы современной генетики» (1976 г.).

И вот перед нами новая книга И. Т. Фролова, вышедшая через двадцать два года после первой. В ней сконцентрированы результаты научных исследований философа, чей интерес к генетике оставался постоянным все эти годы.

В первую очередь следует сказать о том, что в книге прослежена история развития методологических основ генетики, дан краткий очерк истории этой науки — ее непростой судьбы в нашей стране.

Автор справедливо пишет о многолетней — с 20-х до начала 50-х годов — подмене диалектики лжедиалектикой и рассматривает попытки «синтеза направлений» — классически генетического и неоламаркистского, который попытался осуществить Г. В. Платонов. В результате этих попыток стало ясно, что такой «синтез» ни к чему иному, как к философской эклектике, не ведет.

Я думаю, что многих читателей, интересующихся методологическими аспектами естествознания, привлекут в книге разделы, посвященные проблемам целостности генетических структур, проблемам детерминизации в генетике.

В отличие от предыдущих работ И. Т. Фролова здесь подробно анализируются мировоззренческие и социально-этические проблемы генетики человека.

В самом деле, вопрос о соотношении позитивной и негативной евгеники, антропогенетики и медицинской генетики совсем не прост.

Одним и тем же термином «евгеника» пользовались и основатели этой науки, в том числе двоюродный брат Чарлза Дарвина — Фрэнсис Гальтон, и крупнейшие советские генетики Н. К. Кольцов, Ю. А. Филипченко, А. С. Серебровский, с одной стороны; а с другой стороны, в нацистской Германии были сделаны попытки использовать термин «евгеника» для так называемой «расовой гигиены». Термин «евгеника» помимо воли его создателей оказался скомпрометирован, в послевоенный период от него практически отказались. Мы пользуемся терминами «генетика человека» или антропогенетика. Но если бы термин «евгеника» и не был скомпрометирован в нацистской Германии, все равно он наполнился с середины 30-х годов и особенно в послевоенное время совершенно новым содержанием.

Теория позитивной евгеники времен Гальтона, Пирсона, Кольцова, Филипченко стремилась к расширенному воспроизведению особенно выдающихся генотипов. На заре генетики как науки казалось крайне соблазнительным репродуцировать в обществе генотипы гениев. Эта идея привлекала и М. Горького, и Дж. Г. Мёллера. Но стал бы Пушкин Пушкиным, если бы он воспитывался не в условиях общественного подъема, последовавшего за победой России над Наполеоном, если бы его не окружала творческая среда Царскосельского лицея?

Ученик и соратник Н. К. Кольцова — С. С. Четвериков основал в 1926 году экспериментальную генетику популяций. Ее основной теоретический вывод применительно к человеку (сделанный уже не самим Четвериковым, а его учениками и учениками его учеников) состоит в том, что наибольшую ценность представляют не столько сами выдающиеся генотипы, сколько генотипическое разнообразие популяций.

Я не думаю, что общество было бы счастливо или несчастно, если бы состояло только из Пушкиных, равно как и из одних Бенкендорфов.

Лишь после работ Четверикова мы стали понимать, что генетическое разнообразие представляет особую ценность и эволюция человечества как целого, так и его отдельных популяций связана именно с сохранением и поддержанием этого наследственного разнообразия.

В какой степени осознают необходимость поддержания разнообразия наши социальные институты?

Если взять среднюю школу, то она в значительной степени рассчитана на подготовку «десятиборцев», т. е. детей в равной степени успевающих по всем предметам, но ни в одном из них не достигших выдающихся результатов. Подобно тому, как для спорта нужны и десятиборцы, и чемпионы в отдельных видах спорта, так и человеческому обществу нужны люди и с быстрой реакцией, но и «тугодумы», способные одолевать фундаментальные проблемы, люди универсальных способностей и люди с резко дифференцированными узкими интересами.

Вопрос о том, какова роль социального и биологического факторов в формировании человека, остро обсуждался в советской литературе в 70—80-е годы. В этих дискуссиях принимали участие как философы, так и биологи. Споры эти шли и на страницах популярных журналов, и в зале Дома ученых, где проходило Всесоюзное совещание по философским проблемам естествознания. Сейчас, по прошествии нескольких лет, И. Т. Фролов

предлагает нам в последней главе своей книги осмысление этой дискуссии и пути решения мировоззренческих проблем генетики человека.

Безусловно, интересны и те страницы книги, которые посвящены дискуссиям с философскими взглядами лауреата Нобелевской премии Жака Моно, выступившего в 70-е годы с очень специфической книгой «Случайность и необходимость», спорам с выдающимся американским философом и историком науки Лореном Грэхемом.

Мне кажется, однако, что этими двумя именами не исчерпывается разнообразие точек зрения на взаимоотношения философии и биологии. Хотелось бы видеть дискуссии и с другими зарубежными авторами.

Генетика является ныне одной из важнейших сфер научной деятельности человека, и значение предпринятого И. Т. Фроловым масштабного анализа ее философских основ трудно переоценить.

На авантитуле книги помещен рисунок Золотой медали лауреата Кимберовской премии с изображением Ч. Дарвина, Г. Менделя, В. Бэтсона, Т. Г. Моргана. Этой высшей международной премии в области генетики был удостоен в 1967 году ученик Н. К. Кольцова и С. С. Четверикова — Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Его фотография, портреты основателей генетики и ее лидеров украшают это издание.

Н. Н. Воронцов,
доктор биологических наук,
профессор

Советуем прочитать

Марк Алданов. Ключ. Роман. Дружба народов, №№ 3, 4, 1989.

К советскому читателю приходят произведения писателя русского зарубежья Марка Александровича Алданова (1886—1957), всемирно признанного мастера исторической прозы (его роман «Девятое термидора» был удостоен во Франции премии как лучшее произведение о Великой французской революции). Роман «Ключ» (1929) — о последних месяцах перед Февральской революцией. Через криминальную историю — убийство банкира Фишера, через сплетение судеб частных лиц показан глубокий кризис старого режима, его обреченность. Но и саму революцию писатель воспринимает как событие катастрофическое. Символично, что в финале романа революционная толпа сжигает здание суда — пожар этот предвещает грядущие беззакония. Авторская концепция, философское осмысление феномена революции преломляются в двух полярных персонажах: начальнике политической полиции Федосьеве (это образ собирательный) и ученом-химике Брауне — герое, наделенном некоторыми автобиографическими чертами (Алданов по первой профессии был химиком, и ученые — традиционные герои его произведений).

И. Кассирский. Воспоминания о профессоре В. Ф. Войно-Ясенецком. Наука и жизнь, № 5, 1989.

Очерк известного терапевта и гематолога академика АМН СССР посвящен Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому (1877—1961) (он же — архиепископ Лука), выдающемуся ученому-хирургу, автору ряда фундаментальных трудов по гнойной хирургии и анестезиологии и видному православному деятелю, написавшему одиннадцать томов богословских работ, в том числе книгу «О духе, душе и теле». Почти шестьдесят лет из своей долгой жизни он посвятил помощи страждущим, начав работу земским врачом, а впоследствии возглавив кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии Туркестанского университета. Судьба Войно-Ясенецкого знала крутые повороты. Подвергаясь преследованиям и репрессиям за религиозную деятельность и убеждения, он, однако, после Великой Отечественной войны был удостоен Сталинской премии I степени за капитальные труды в области хирургии огнестрельных ранений. Вот как сам архиепископ соотносил свои научные и религиозные убеждения: «Верующие никогда не отрицают материальных фактов, но считают, что ими руководит высшее начало — всемогущий Бог, и само материальное переходит в дух, а дух — в материальное. Вот почему тело бессмертно». Ученый «верил в религиозный гуманизм и был убежден, что этот гуманизм способен победить трагические противоречия и социальные катаклизмы, свидетелем которых являлся». Ждет своего часа издание и религиозно-философских трудов Войно-Ясенецкого, оригинального мыслителя, стоящего в одном ряду с такими учеными и православными философами, как Флоренский и Бердяев.

В поисках звезды заветной. Китайская поэзия первой половины XX века. Составитель Л. Е. Черкасский. М., Художественная литература, 1988.

Китайская поэзия за полвека — тридцать семь наиболее известных поэтов — впервые подобная книга вышла в нашей стране. Представлены разные школы, направления, движения — «4 мая», «Китайское поэтическое общество», «Поэзия национальной обороны», «Всекитайская ассоциация деятелей литературы и искусства по отпору врагу», «Движение за декламацию», за «цзетоуши» (стихи для улицы) и так далее. Среди представителей этих школ — реалисты и романтики, символисты и революционные пролетарские поэты, мастера короткого лирического стихотворения и эпических поэм.

«Заголовок сборника,— пишет в предисловии составитель,— вместил в себя идею прорыва, устремленности вперед, мысль о мучительной отдаленности социальной мечты от действительности и веру в будущую гармонию между людьми. Но сборник отразил также и трагическую судьбу народа, пережившего за полвека войны, интервенции, гнет власть имущих, «культурную революцию»...

Игорь Северянин. Стихотворения, поэмы. Архангельск. Северо-западное книжное издательство, 1988.

В феврале 1918 года в Москве в здании Политехнического музея состоялся большой праздник поэзии, на котором И. Северянина выбрали «королем поэтов». (Второе место занял Владимир Маяковский, третье — Константин Бальмонт). А потом свыше полувека это имя было в тени. Сказать, что забыли, нельзя. Поэта знали, помнили, читали старые сборники. А новых почти не было. И только к 100-летию со дня рождения Игоря Северянина в периодике появились подборки его стихов, статьи о жизни и творчестве. К новому читателю пришли строки, пережившие время... «Это было у моря, где ажурная пена, Где встречается редко городской экипаж...». Закономерно возвращение поэта в нашу жизнь. Не случайно в начале века Валерий Брюсов писал: «Не думаем, чтобы надобно было доказывать, что Игорь Северянин — истинный поэт. Это почувствует каждый, способный понимать поэзию...».

Содержание журнала «Знамя» за 1989 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

Советуем прочитать

Марк Алданов. Ключ. Роман. Дружба народов, №№ 3, 4, 1989.

К советскому читателю приходят произведения писателя русского зарубежья Марка Александровича Алданова (1886—1957), всемирно признанного мастера исторической прозы (его роман «Девятое термидора» был удостоен во Франции премии как лучшее произведение о Великой французской революции). Роман «Ключ» (1929) — о последних месяцах перед Февральской революцией. Через криминальную историю — убийство банкира Фишера, через сплетение судеб частных лиц показан глубокий кризис старого режима, его обреченность. Но и саму революцию писатель воспринимает как событие катастрофическое. Символично, что в финале романа революционная толпа сжигает здание суда — пожар этот предвещает грядущие беззакония. Авторская концепция, философское осмысление феномена революции преломляются в двух полярных персонажах: начальнике политической полиции Федосьеве (это образ собирательный) и ученом-химике Брауне — герое, наделенном некоторыми автобиографическими чертами (Алданов по первой профессии был химиком, и ученые — традиционные герои его произведений).

И. Кассирский. Воспоминания о профессоре В. Ф. Войно-Ясенецком. Наука и жизнь, № 5, 1989.

Очерк известного терапевта и гематолога академика АМН СССР посвящен Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому (1877—1961) (он же — архиепископ Лука), выдающемуся ученому-хирургу, автору ряда фундаментальных трудов по гнойной хирургии и анестезиологии и видному православному деятелю, написавшему одиннадцать томов богословских работ, в том числе книгу «О духе, душе и теле». Почти шестьдесят лет из своей долгой жизни он посвятил помощи страждущим, начав работу земским врачом, а впоследствии возглавив кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии Туркестанского университета. Судьба Войно-Ясенецкого знала крутые повороты. Подвергаясь преследованиям и репрессиям за религиозную деятельность и убеждения, он, однако, после Великой Отечественной войны был удостоен Сталинской премии I степени за капитальные труды в области хирургии огнестрельных ранений. Вот как сам архиепископ соотносил свои научные и религиозные убеждения: «Верующие никогда не отрицают материальных фактов, но считают, что ими руководит высшее начало — всемогущий Бог, и само материальное переходит в дух, а дух — в материальное. Вот почему тело бессмертно». Ученый «верил в религиозный гуманизм и был убежден, что этот гуманизм способен победить трагические противоречия и социальные катаклизмы, свидетелем которых являлся». Ждет своего часа издание и религиозно-философских трудов Войно-Ясенецкого, оригинального мыслителя, стоящего в одном ряду с такими учеными и православными философами, как Флоренский и Бердяев.

В поисках звезды заветной. Китайская поэзия первой половины XX века. Составитель Л. Е. Черкасский. М., Художественная литература, 1988.

Китайская поэзия за полвека — тридцать семь наиболее известных поэтов — впервые подобная книга вышла в нашей стране. Представлены разные школы, направления, движения — «4 мая», «Китайское поэтическое общество», «Поэзия национальной обороны», «Всекитайская ассоциация деятелей литературы и искусства по отпору врагу», «Движение за декламацию», за «цзетоуши» (стихи для улицы) и так далее. Среди представителей этих школ — реалисты и романтики, символисты и революционные пролетарские поэты, мастера короткого лирического стихотворения и эпических поэм.

«Заголовок сборника,— пишет в предисловии составитель,— вместил в себя идею прорыва, устремленности вперед, мысль о мучительной отдаленности социальной мечты от действительности и веру в будущую гармонию между людьми. Но сборник отразил также и трагическую судьбу народа, пережившего за полвека вóйны, интервенции, гнет власть имущих, «культурную революцию»..

Игорь Северянин. Стихотворения, поэмы. Архангельск. Северо-западное книжное издательство, 1988.

В феврале 1918 года в Москве в здании Политехнического музея состоялся большой праздник поэзии, на котором И. Северянина выбрали «королем поэтов». (Второе место занял Владимир Маяковский, третье — Константин Бальмонт). А потом свыше полувека это имя было в тени. Сказать, что забыли, нельзя. Поэта знали, помнили, читали старые сборники. А новых почти не было. И только к 100-летию со дня рождения Игоря Северянина в периодике появились подборки его стихов, статьи о жизни и творчестве. К новому читателю пришли строки, пережившие время... «Это было у моря, где ажурная пена, Где встречается редко городской экипаж...». Закономерно возвращение поэта в нашу жизнь. Не случайно в начале века Валерий Брюсов писал: «Не думаем, чтобы надобно было доказывать, что Игорь Северянин — истинный поэт. Это почувствует каждый, способный понимать поэзию...».

Содержание журнала «Знамя» за 1989 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

Мемуары. Архивы. Свидетельства

КРИТИКА

Статьи

Рецензии

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-84, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-56-67, для справок — 921-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 05.10.89. Подписано к печати 02.11.89. А 04302. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27
Тираж 980 000 экз. (1-й завод 1—629 671 экз.). Заказ № 1369. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.